И(Фр)
Б 21

БАЛЬЗАК

ОНОРЕ БАЛЬЗАК

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 24 ТОМАХ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
МОСКВА • 1960

СЦЕНЫ ПАРИЖСКОЙ ЖИЗНИ

БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ

КУЗЕН ПОНС

В октябре 1844 года в третьем часу дня по Итальянскому бульвару шел господин примерно лет шестидесяти, хотя всякий дал бы ему больше. Он шел, задрав нос, сложив губы в сладенькую улыбочку, словно коммерсант, заключивший выгодную сделку, или тщеславный юнец, только что покинувший гостеприимный будуар,— для парижанина такое выражение самый характерный признак довольства собой. При виде старика на лицах зевак, просиживающих целыми днями на бульварах ради удовольствия позлословить насчет ближних, появлялась улыбка, весьма свойственная жителям Парижа и весьма выразительная в своей иронии, подчас язвительной, подчас сочувствующей, но неизменно оживляющая лица парижан (ведь им приелось все на свете) при виде особо любопытных экземпляров человеческого рода. Одна ставшая знаменитой острота объяснит читателю и то, какую археологическую ценность представлял из себя этот чудак, и те улыбки, которые вспыхивали во всех глазах и как эхо передавались от соседа к соседу. Когда у прославившегося своими шутками актера Гиацинта спросили, где он заказывает себе цилиндры, от одного вида которых весь зал покатывается со смеху, он ответил: «А я их не заказываю, я донашиваю старые». Так вот, в миллионной театральной труппе, играющей на подмостках огромного театра, именуемого Парижем, водятся такие Гиацинты, которые, сами того не ведая, олицетворяют для нас целую эпоху, в них доживают

свой век смешные старомодные черты, и, увидев их, вы невольно развеселитесь, даже если вы вышли пройтись, чтобы разогнать горькую обиду от измены друга.

Как бы там ни было, наш прохожий напоминал эпоху Империи, ибо, не впадая в излишнюю карикатурность, в отдельных деталях своего наряда сохранял верность кое-каким модам начала века. Именно такого рода штрихи, по мнению наблюдателя, придают этим образчикам прошлого особую ценность. Но оценить всю совокупность подобных мелочей может только наметанный взгляд людей, которые возвели в искусство праздношатание по улицам; если же появление прохожего сразу возбуждает веселость, значит, он, как принято говорить, бросается в глаза своей необычайной курьезностью, за которую много бы дали актеры, любители эффектного *выхода*. Этот сухой, худощавый старик был в спенсере орехового цвета, надетом поверх зеленоватого фрака со светлыми металлическими пуговицами... Человек в спенсере в 1844 году — это, пожалуй, не менее занятно, чем если бы Наполеон соблаговолил часика на два восстать из мертвых!

Спенсер, как указывает само название, был изобретен неким лордом, гордившимся своей тонкой талией. Сей англичанин еще до Амьенского мира разрешил немаловажную проблему — он сумел прикрыть торс, не обременяя тела тяжелым противным карриком, который доживает теперь свой век на плечах старых кучеров; но тонких талий не так уж много, и мода на мужские спенсеры во Франции продержалась недолго, хотя и пришла из Англии. При виде спенсера мужчины от сорока до пятидесяти лет мысленно облачали его владельца в казимировые фисташкового цвета штаны с бантами, в сапоги с отворотами и вспоминали собственную молодость. Старушки вздыхали о былых победах. А молодежь недоумевала, чего ради этот престарелый Алкивиад обкорнал хвост у своего пальто. Все прочее столь гармонировало со спенсером, что вы, не задумываясь, назвали бы этого прохожего *человек-ампир*, как говорят — мебель-ампир; но олицетворял он Империю лишь для тех, кто знал эту великолепную и величественную эпоху хотя бы de visu [1],

---

[1] Воочию *(лат.)*.

ибо только при острой памяти можно восстановить прошлые моды. Империя уже так далека от нас, что мало кто может себе реально представить ее греко-галльское обличье.

Цилиндр, не закрывавший лба, был лихо сдвинут на затылок, как у чиновников и цивильных, которые в ту пору старались ни в чем не отстать от бравых военных. Впрочем, цилиндр был жалкий, из дешевого четырнадцатифранкового шелка, на полях с внутренней стороны белели пятна от огромных ушей, не отчищавшиеся никакой щеткой. А шелк, по обыкновению плохо натянутый на картонную форму, в нескольких местах сморщился, словно тронутый проказой, хотя каждое утро хозяин старательно его разглаживал.

Из-под цилиндра, который, казалось, вот-вот свалится, глядела преуморительная физиономия, как у китайских болванчиков. Широкое щербатое лицо с темными впадинами, как на римской театральной маске, опровергало все законы анатомии. В нем не чувствовался костяк. Там, где по структуре лица полагалось выдаваться костям, висели дряблые мешки, а там, где обычно бывают впадины, выступали бесформенные бугры. Серые глаза с двумя красными полосками вместо бровей не украшали этой сплюснутой наподобие тыквы нелепой физиономии, на которой, словно валун среди гладкого поля, выделялся чисто донкихотовский нос. Такой нос свидетельствует о природной склонности к самопожертвованию ради великих деяний, которое у иных вырождается в борьбу с ветряными мельницами, что, вероятно, и привлекло внимание Сервантеса. Однако над стариком, до смешного уродливым, никто не глумился. Бесконечная печаль, глядевшая из его тусклых глаз, трогала даже насмешника, и злая шутка не срывалась с языка. Невольно приходило на мысль, что этому человеку самой природой заказаны нежные излияния чувств, ибо женщину они могли бы в лучшем случае рассмешить или расстроить. Не иметь никакой надежды на успех у женщин! Перед таким несчастьем из несчастий француз замолкает.

Этот обиженный природой старик был одет так, как обычно одеваются хорошо воспитанные, но обедневшие люди, которым, кстати сказать, нередко пытаются

подражать богачи. На нем были башмаки, а поверх них гетры такого же фасона, как на императорских гвардейцах, что, по-видимому, позволяло реже менять носки; черные, но уже порыжевшие суконные панталоны, белесые и лоснящиеся на швах, что, так же как и фасон, указывало по крайней мере на трехгодичную давность. Даже просторная одежда не скрывала худобы старика, которая объяснялась скорей его конституцией, чем спартанским образом жизни, ибо у него был чувственный рот с толстыми губами, а при улыбке обнажались белые зубы, которым могла бы позавидовать и акула. При виде суконного жилета шалью, тоже черного, надетого поверх другого — белого, из-под которого, в свою очередь, алел край вязаного жилета, невольно вспоминались пять жилетов Гара. Не только подбородок, но все лицо утопало, как в пучине, в пышном галстуке из белого муслина, завязанном замысловатым бантом, над которым, верно, немало потрудился в 1809 году какой-нибудь щеголь, собираясь прельщать *юных прелестниц*. Плетеный шелковый шнурок, которому надлежало изображать шнурок волосяной, вился по сорочке и предохранял часы от маловероятной кражи. Чрезвычайно опрятный бутылочно-зеленый фрак был года на три старше панталон, но новый черный бархатный воротник и светлые металлические пуговицы свидетельствовали о немалых заботах, положенных на то, чтобы привести его в порядок домашними средствами.

Манера сдвигать цилиндр на затылок, тройной жилет, пышный галстук, в котором утопал подбородок, гетры, металлические пуговицы на бутылочно-зеленом фраке, все эти отголоски моды эпохи Империи как нельзя более гармонировали с ныне устаревшим ароматом кокетства щеголей времен Директории, с чем-то неуловимым в покрое одежды, с сухостью и чрезвычайной сдержанностью всей фигуры, напоминавшей своим обликом школу Давида, изящную мебель Жакоб. С первого же взгляда в нем можно было признать человека из общества, но втайне снедаемого пагубной страстью, или мелкого рантье, все расходы которого настолько точно определены скудным достатком, что ему приходится целый месяц отказывать себе в самых скромных удовольствиях из-за разбитого окна, порванного костюма

или филантропического бедствия — сборов на неимущих. Будь вы тут, вы бы обязательно призадумались, почему улыбка оживляет сейчас это курьезное лицо, которое, казалось бы, должно быть грустным и замкнутым, как и полагается тем, кто вынужден вести повседневную прозаическую борьбу за существование. Но если бы вы заметили, с какой материнской заботливостью старик поддерживал правой рукой какой-то, по всей вероятности, ценный предмет, как прикрывал его обеими левыми фалдами своего двойного фрака, чтобы уберечь от случайного толчка, а особенно, если бы вы обратили внимание на хлопотливый вид, который обычно напускают на себя досужие люди, выполняя чье-нибудь поручение, вы бы решили, что он отыскал сокровище по меньшей мере такой же ценности, как болонка маркизы, и теперь с учтивостью *человека-ампира* спешит торжественно преподнести сей дар шестидесятилетней прелестнице, еще не отказавшейся от ежедневного визита своего чичисбея. Только в Париже можно увидеть подобные зрелища, для которых подмостками служат Бульвары, где французы бесплатно разыгрывают драмы на пользу искусству.

По внешнему облику вы едва ли причислили бы этого костлявого старика к парижскому актерскому миру, несмотря даже на своеобразный спенсер, ибо принято считать, что актеры наряду с уличными мальчишками пользуются особой привилегией пробуждать веселость в умах буржуа занятными *чудачествами* (если мне будет позволено употребить это забавное устаревшее слово, которое опять входит в почет). А между тем наш прохожий получил в свое время большую золотую медаль, был автором первой кантаты, удостоенной академической премии в пору восстановления Римской Академии, короче говоря,— это был господин Сильвен Понс, сочинитель излюбленных романсов, которые ворковали наши матери, и двух-трех опер, поставленных в 1815—1816 годах, а кроме того, ряда не увидевших света партитур. Теперь, уже на склоне лет, этот почтенный человек занимал должность капельмейстера в одном из театров на Бульварах. Благодаря своей наружности он стал учителем музыки в нескольких пансионах для девиц, и все его доходы сводились к жалованью и плате за частные уроки. Но бегать по частным урокам в его-то возрасте?..

Сколько тайн скрывалось, должно быть, в этом не слишком романтическом положении!

Итак, глядя на последнего приверженца спенсеров, можно было не только изучать моды Империи; его тройной жилет был поучителен и в другом отношении: он бесплатно демонстрировал одну из многочисленных жертв роковой и пагубной системы, именуемой конкурсом, которая все еще господствует во Франции, хотя уже больше ста лет не дает никаких результатов. Такое машинное производство талантов было придумано Пуассоном де Мариньи, братом мадам де Помпадур, назначенным в 1746 году директором Академии изящных искусств. Ну, а сколько гениев выросло за сто лет из увенчанных лаврами? Раз-два, и обчелся. Прежде всего никакие административные или академические меры не могут заменить чудодейственный случай, который рождает великих людей. Из всех тайн зарождения это самая недоступная нашему современному анализу, хотя мы и мним его всесильным. Что бы вы сказали, например, об египтянах, по преданию изобретших печи для выводки цыплят, если бы они, выведя птенцов, не позаботились о корме для них? А ведь именно так и практикуется во Франции, где пытаются выводить таланты в теплицах конкурса; но стоит только получить таким механическим путем скульптора, живописца, музыканта, и кончено, о них забывают, подобно тому, как забывает денди к вечеру о цветке, который он воткнул себе в петлицу. И гением-то оказывается Грёз или Ватто, Фелисьен Давид или Панье, Жерико или Декан, Обер или Давид (Анжерский), Эжен Делакруа или Мейсонье, то есть люди, не гонявшиеся за первыми премиями и выросшие не в теплице, а на воле под лучами невидимого солнца, именуемого дарованием.

Посланный на казенный кошт в Рим, чтобы стать знаменитым музыкантом, Сильвен Понс вывез оттуда вкус к предметам старины и искусства. Он стал знатоком шедевров, созданных рукой и гением человека и вошедших за последнее время в обиход под названием «антиквариата». Итак, сей сын Эвтерпы в 1810 году вернулся в Париж неистовым коллекционером с целой грудой приобретенных за годы ученичества в Риме картин, статуэток, рам, резных изделий из слоновой кости

и дерева, эмалей, фарфора и прочих предметов искусства, покупка и перевозка которых поглотила добрую половину отцовского наследства. Точно так же распорядился он и состоянием, доставшимся ему от матери, истратив его во время путешествия по Италии после положенных трех лет пребывания в Риме. Ему захотелось посетить на свободе Венецию, Милан, Флоренцию, Болонью, Неаполь, пожить во всех этих городах в свое удовольствие, предаваясь мечтам и размышлениям с беспечностью художника, который рассчитывает, что его прокормит талант, точно так же как веселые девицы рассчитывают на свои прелести. В течение этого чудесного путешествия Понс был счастлив, как только может быть счастлив человек с нежной, чувствительной душой, который из-за уродливой наружности не смеет надеяться *попасть в фавор к дамам*, по стереотипному выражению 1809 года, и неизменно находит жизнь ниже созданного себе идеала; но Понс примирился с тем, что его душа не звучит в унисон с окружающим миром. Вероятно, чувство прекрасного, сохранившееся чистым и нетронутым в его сердце, вдохновляло музыканта на замысловатые мелодии, изящные и пленительные, благодаря чему он пользовался известностью с 1810 по 1814 год.

Во Франции всякая слава, основанная на моде, на временной популярности, на мимолетных парижских увлечениях, порождает Понсов. Нет другой страны, где были бы так строги к подлинно великому и так пренебрежительно-терпимы к мелочам. Понса вскоре захлестнули волны немецкой гармонии и россиниевских мелодий, и если в 1824 году нашего музыканта еще любили за приятность и исполняли кое-какие из его последних романсов, то предоставляю вам самим судить, как обстояли его дела в 1831 году! Итак, в 1844 году, к которому относится единственная драма, всколыхнувшая тусклую жизнь Сильвена Понса, он играл уже такую же незначительную роль, как какая-нибудь восьмая ноты, да и то в допотопной мелодии. Нотные торговцы забыли даже о его существовании, хотя он и сочинял по сходной цене музыку для театральных пьес, шедших в том театре, где он служил, и в некоторых соседних.

Надо сказать, что он отдавал должное знаменитым музыкантам нашей эпохи; мастерское исполнение пре-

красного музыкального произведения трогало его до слез; но поклонение таланту он не доводил до безумия, как гофмановский Крейслер, у Понса внешне оно не проявлялось, он наслаждался талантом втайне, как териакии и курильщики гашиша. Необходимо отметить, что Понс заслуживает уважения, ибо понимание и восхищение, через посредство которых обыкновенный человек становится равным великому поэту,— редкое явление в Париже, где все мысли похожи на путешественников, проездом остановившихся на постоялом дворе. Тот факт, что наш музыкант был так скоро позабыт, может показаться невероятным, но он сам в простоте душевной признавался, что ему не далась гармония. Он пренебрегал контрапунктом, и современная оркестровка, сделавшая огромный шаг вперед по сравнению с прежней, показалась ему недоступной, хотя, если бы он снова принялся за учение, он, вероятно, удержался бы в рядах современных композиторов. Разумеется, Понс не стал бы Россини, но мог бы сравняться с Герольдом. Впрочем, радости, приносимые коллекционерством, сторицей вознаграждали его за неудавшуюся карьеру, и если бы ему пришлось выбирать между своим собранием редкостей и славой Россини, Понс, как это ни покажется невероятным, предпочел бы дорогой его сердцу музей. Старый музыкант придерживался истины, высказанной Шенаваром, знатоком и собирателем ценных гравюр, который утверждал, будто только тогда получаешь удовольствие от Рейсдаля, Гоббема, Гольбейна, Рафаэля, Мурильо, Грёза, Себастьяна дель Пьомбо, Джорджоне, Альбрехта Дюрера, когда их картины обошлись тебе не дороже пятидесяти франков за штуку: Понс не признавал покупок дороже ста франков, и когда он платил за что-нибудь пятьдесят,—значит, настоящая цена вещи была три тысячи. Он не отдал бы трехсот франков даже за шедевр. Конечно, удачные случаи представляются не часто, но он обладал тремя свойствами, обеспечивающими успех: ногами оленя, досугом праздного человека и терпением еврея.

Систематическое коллекционирование в течение сорока лет, сначала в Риме, а затем в Париже, принесло свои плоды. Возвратясь из Рима, Понс приобретал ежегодно тысячи на две франков и теперь ревниво охранял от по-

сторонних взоров собрание разнообразных шедевров, каталог которых доходил до баснословного номера *1907*. С 1811 по 1816 год, рыская по Парижу, Понс платил не более десяти франков за вещь, которая теперь стоила от тысячи до тысячи двухсот. У него были полотна, отобранные из тех сорока пяти тысяч картин, которые ежегодно выставляются на продажу в Париже, севрский, мягкий фарфор, которым торговали оверцы — подручные скупщиков крупных имений, привозившие в Париж на своих тележках чудесные французские изделия времен мадам де Помпадур. Словом, он собрал много вещей, уцелевших от XVII и XVIII веков, ценя умных и талантливых представителей французской школы живописи, вроде Лепотра, Лавалле-Пуссена и других крупных, но малопопулярных мастеров, творцов стилей Людовика XV и Людовика XVI; за счет их произведений живут в наши дни многие художники, которые притязают на оригинальность и, целыми днями изучая сокровища Музея эстампов, чтоб придумать что-то новое, ограничиваются искусными подражаниями. Многие вещи Понс приобрел путем обменов, особенно любезных сердцу коллекционера. Удовольствие от покупки редкостных вещиц не сравнится с удовольствием от их обмена. Он первый начал собирать табакерки и миниатюры. Понс, неизвестный в мире антикваров, так как он не посещал распродаж и не ходил по знаменитым торговцам, не знал рыночной цены своих сокровищ.

Покойный Дюсоммерар пытался завести знакомство с музыкантом; но королю антикваров так до самой смерти и не удалось проникнуть в музей Понса, единственный музей, который мог бы выдержать сравнение с знаменитым собранием Соважо. Между Понсом и г-ном Соважо существовало некоторое сходство. Г-н Соважо, тоже музыкант и тоже не очень состоятельный, тем же способом, что и Понс, пополнял свою коллекцию, так же, как и он, страстно любил искусство и ненавидел прославленных богачей, которые собирают шедевры, а затем составляют конкуренцию торговцам. Понс, так же как и г-н Соважо, его соперник, противник и конкурент во всем, что касалось произведений искусства, с ненасытной жадностью собирал редкостные изделия прославленных мастеров, любил их с той же страстью, с ка-

кой обожают красивых любовниц; распродажи с молотка в аукционных залах на улице де Женер он воспринимал как святотатство, оскорбительное для антикварного дела. Понс собирал свои коллекции, чтобы постоянно на них радоваться, ибо возвышенные души, созданные для наслаждения великими творениями, подобны истинным любовникам, обладающим бесценным даром: сегодня они испытывают тот же восторг, что и вчера, им неведомо пресыщение, а произведения искусства, к счастью, сохраняют вечную молодость. И надо думать, что предмет, который Понс так бережно охранял от толчков, был одним из тех приобретений, которые берут в руки с любовью, вполне понятной вам, любители старины!

Судя по первым штрихам этого биографического очерка, всякий скажет: «При всем своем уродстве Понс самый счастливый человек на земле!» И правда, нет такой неприятности, нет такого огорчения, которых не излечила бы припарка, врачующая душу,— целительная страсть! Если вы уже не можете пить из чаши, которую во все времена называли *чашей наслаждения*, пристраститесь к коллекционированию, все равно чего (ведь существовали же коллекционеры объявлений), и вы вновь обретете золотой слиток счастья, правда, разменянный на мелкую монету. Столь яростно предаваться страсти — все равно, что мысленно вкушать наслаждение. И все же не завидуйте чудаку Понсу, ваша зависть, как и все подобные чувства, была бы основана на ложной предпосылке.

Этот старик с нежной душой, пребывавший в непрестанном восторге перед величием человеческого труда, вступающего в благородное единоборство с труженицей-природой, был рабом того из семи смертных грехов, к которому господь бог относится, вероятно, всего снисходительней: Понс был чревоугодником. Из-за скудного достатка и пристрастия к коллекционированию ему приходилось соблюдать строгую умеренность в пище, с чем никак не мог примириться такой тонкий гурман, и наш холостяк, не долго думая, рассудил, что можно каждый день обедать в гостях. Во времена Империи знаменитости пользовались бóльшим почетом, чем в наши дни, возможно потому, что знаменитостей тогда было мало и политические их притязания были весьма скромны.

Так немного требовалось тогда, чтобы прослыть поэтом, писателем, музыкантом! Понс, в котором видели будущего соперника Николо, Паэра и Бертона, получал тогда столько приглашений, что ему приходилось записывать их в памятную книжку, как адвокатам свои процессы. Правда, в благодарность он, как и полагается артисту, посвящал романсы всем своим амфитрионам, играл у них на фортепьянах, преподносил ложи в театр Фэйдо, для которого он работал, устраивал у своих родственников домашние концерты, импровизированные балы, где иногда даже сам брался за смычок. В то время первые красавцы Франции рубились на поле брани с первыми красавцами Коалиции, и потому уродство Понса окрестили *оригинальностью* согласно закону, провозглашенному Мольером в знаменитых куплетах Элианты. Случалось даже, что после какой-нибудь услуги, оказанной одной из красоток, последняя дарила его эпитетом «очаровательный», но на этом слове и кончалось его счастье.

За время, продолжавшееся около шести лет, с 1810 по 1816 год, Понс, себе на горе, пристрастился к вкусным обедам, к ранним овощам, к тонким винам, к изысканному десерту, кофе, ликерам — словом, он привык, чтоб его угощали на славу, как угощали в эпоху Империи, когда многие частные дома старались не отстать в роскоши от королей, королев и принцев, наводнявших тогда Париж. В ту пору было модно играть в королей, как теперь модно играть в парламент, создавая бесчисленные общества с председателями, вице-председателями и секретарями — общества льноводства, виноделия, шелководства, земледелия, промышленности и проч. Дошло даже до того, что стали отыскивать общественные язвы, только бы иметь возможность учредить общество целителей сих язв. Прошедший школу Империи желудок приобретает великие познания в кулинарной науке и, воздействуя на человека морально, развращает его. Чревоугодие, проникшее в каждую щелочку нашей души, заявляет свои права, оно пробивает брешь в твердыне воли и чести и любой ценой домогается удовлетворения. Никто еще не описывал требований чрева, они ускользают от критики писателей, потому что без еды никто не проживет, но даже и представить себе нельзя, скольких

людей разорил стол. В этом отношении стол в Париже соперничает с куртизанками. Впрочем, стол и куртизанки связаны между собой, как статьи прихода со статьями расхода.

Постепенно Понс, талант которого шел на убыль, из желанного гостя превратился в прихлебателя, но он уже не мог отказаться от пышных обедов и перейти к спартанской еде в кухмистерских. Увы, он испугался, когда понял, ценой каких лишений придется ему заплатить за свою независимость, и почувствовал, что способен на любую подлость, лишь бы не отказываться от сладкой жизни, лакомиться ранними овощами, *смаковать* (словечко, хотя и простонародное, но выразительное) тонкости поварского искусства. Понс вел себя, как птичка: наклюется зерен, набьет полный зоб и упорхнет, прощебетав вместо благодарности песенку; ему даже доставляло известное удовольствие вкусно кушать на чужой счет, благо хозяева требовали с него только... да по совести говоря, ничего не требовали. Как многим холостякам, ему опротивел свой собственный угол, полюбились чужие гостиные, где он привык к пустым любезностям и заученным ужимкам, которыми в свете заменяют подлинные чувства, он расплачивался за все комплиментами, а что касается людей, Понс не был любознателен и удовлетворялся этикеткой, не разглядывая товара.

Так он, более или менее сносно, просуществовал еще десять лет. Но что это были за годы! Словно дождливая осень. Все это время Понс кормился на даровщинку за чужим столом, стараясь, чем мог, угодить хозяевам. Вступив на роковую стезю, он оказывал кучу всяких услуг, не раз заменял лакея или привратника. Часто ему поручали те или иные покупки и отряжали из одной семьи в другую в качестве честного и бесхитростного соглядатая; но никто не ценил его хлопот и заискиваний.

— Понс холостяк, ему некуда девать время, для него одно удовольствие потрудиться для нас... Да и что ему делать? — говорили все.

Вскоре от него повеяло тем холодом, который распространяет вокруг себя старость; от леденящего ветра остывают чувства окружающих, температура человеческих симпатий резко падает, особенно если старик некрасив и беден. Такой старик — трижды старик! Итак,

наступила зимняя пора жизни, а с ней красный нос, бледные щеки, озябшие пальцы!

За годы с 1836 по 1843 Понс редко получал приглашения. Старого прихлебателя не только не встречали как гостя, им тяготились, как обременительным налогом. Ему уже не были признательны даже за подлинные услуги. В тех знакомых домах, куда он еще хаживал, хозяева пренебрежительно относились к искусству, преклонялись перед успехом, ценя лишь то, что сами приобрели после 1830 года: богатство или завидное положение. И Понса, не умевшего ни умом, ни обхождением внушить тот почтительный трепет, который буржуа испытывают перед умом или талантом, перестали замечать, хотя и не презирали. Как все застенчивые люди, он молчал, несмотря на то, что испытывал большие страдания. Постепенно он привык подавлять свои чувства, таить их в святая святых своего сердца. Люди поверхностные называют это эгоизмом. Между человеком замкнутым и эгоистом сходство столь велико, что человека с чувствительным сердцем часто порицают в угоду злословию, особенно в парижском обществе, где не любят задумываться, где все быстротечно, словно поток, где все преходяще, словно кабинет министров!

Итак, Понс задним числом был осужден как эгоист, ибо свет в конце концов всегда осуждает тех, кого считает виновным. Но понимают ли эти судьи, как незаслуженная немилость угнетает людей застенчивых? Кто опишет муки застенчивости? Таким положением, день ото дня ухудшавшимся, объясняется грустный вид бедного музыканта, которому ежедневно приходилось поступаться своим достоинством. Но унижения, на которые приходится идти ради страсти, это те же путы: чем больше унижаешься, тем более привязываешься к своей страсти; все жертвы, приносимые ради нее, превращаются как бы в некое умозрительное сокровище, и ценность его, пусть отрицательная, представляется его обладателю неисчислимой. Понс молча сносил вызывающе покровительственные взгляды надутого спесью глупого буржуа, а сам меж тем потягивал портвейн или обсасывал крылышко перепелки, смакуя его как месть, ибо думал:

«Что там ни говори, а я не в накладе!»

Однако в глазах поборника справедливости в дан-

ном случае нашлись бы смягчающие обстоятельства. Действительно, всякому необходимо иметь какое-то удовлетворение в жизни. Человек, лишенный страстей, совершенный праведник — явление противоестественное, это уже не человек, а полуангел, у которого вот-вот вырастут крылья. Согласно католической мифологии, ангелам полагается только голова. В жизни праведник — это наводящий тоску Грандисон, для которого даже служительница Венеры — существо бесполое. Понс ни разу не был осчастливлен улыбкой женщины, если не считать случайных и весьма примитивных приключений во время путешествия по Италии, да и там его успехи можно объяснить только климатом. Многие мужчины осуждены на такую же печальную участь. Понс был уродлив от рождения. Отец с матерью родили его на старости лет, и такое запоздалое появление на свет божий отразилось на цвете его лица — мертвенно-бледном, как у тех эмбрионов-уродцев, что заспиртованы с научными целями. Мечтательный и робкий, одаренный поэтической душой художника, Понс волей-неволей приспособился к своей наружности и отказался от надежды на любовь. Итак, он остался холостяком не столько по собственному желанию, сколько в силу необходимости. Чревоугодие — грех добродетельных монахов — раскрыло ему свои объятия, и он предался чревоугодию с той же страстью, с какой восхищался произведениями искусства и обожал музыку. Вкусный стол и редкие безделушки заменили ему женщину; музыка была для него профессией, а где вы найдете человека, который бы любил свою профессию, раз он занимается ею, чтобы не умереть с голоду. С течением времени в профессии, как и в браке, начинаешь чувствовать только ее тяготы.

Брийя-Саварен имел явное намерение оправдать пристрастие к вкусовым ощущениям; но, пожалуй, он все же недостаточно полно описал непосредственное удовольствие от еды. При пищеварении, на которое уходят физические силы, в организме происходит некая борьба, для чревоугодников равносильная наивысшему любовному наслаждению. Они чувствуют такой прилив жизненных сил, что деятельность мозга прекращается, уступая поле действия другому органу, помещающемуся под диафрагмой, и именно вследствие дремотного состояния

всех прочих человеческих способностей наступает некое опьянение. Удавы, проглотившие быка, пребывают в столь полном опьянении, что их легко убить. Человек старше сорока лет вряд ли захочет работать после обеда. И надо сказать, что великие люди всегда были воздержанны на еду. Больные, поправляющиеся после тяжелого недуга и соблюдающие строгую диету, не раз могли заметить, какое гастрическое опьянение вызывает даже куриное крылышко. Добродетельный Понс, которому были знакомы только желудочные удовольствия, постоянно находился в положении такого выздоравливающего. Он стремился получить от вкусного стола все приятные ощущения, какие только возможны, и до сих пор это ему удавалось. Расстаться с давнишней привычкой так трудно! Самоубийц не раз останавливало на пороге смерти воспоминание о кофейне, где они привыкли по вечерам играть в домино.

В 1835 году счастливый случай вознаградил Понса за равнодушие прекрасного пола,— выражаясь фигурально, он обзавелся опорой на старости лет. Этот старик от рождения обрел в дружбе поддержку на всю жизнь, он заключил тот союз, который ничем не мог оскорбить общество, он соединил свою судьбу с мужчиной, со стариком, с таким же музыкантом, как и сам. Если бы Лафонтен не написал уже своей божественной басни, наш очерк назывался бы «Два друга». Но ведь это равносильно литературной краже, профанации, на которую не решится ни один настоящий писатель. Шедевру нашего баснописца, в который он вложил и признания сердца и свои заветные мечты, принадлежит вечное и неотъемлемое право на это заглавие. Страница, на верху которой поэт начертал слова «Два друга»,— священная собственность, место паломничества всей вселенной до тех пор, пока существует книгопечатание, храм, к которому с трепетом будет приближаться каждое новое поколение.

Друг Понса был преподавателем музыки. И в жизни и в душевных свойствах у обоих было много общего, и Понс жалел, что узнал его слишком поздно, ибо их знакомство, завязавшееся в день раздачи наград в одном пансионе для девиц, началось только с 1834 года. Вряд ли когда-либо еще две столь же родственные ду-

ши встретились в человеческом океане, получившем свое начало в земном раю, хоть на то и не было божьей воли. Прошло немного времени, и оба музыканта уже не могли жить друг без друга. Они делились своими самыми заветными мыслями и через неделю стали неразлучны, как родные братья. Словом, Шмуке не верил, что Понс может существовать отдельно от него, а Понс не допускал мысли, что Шмуке и он не единое целое. Сказанного достаточно для характеристики обоих друзей, но не всех удовлетворит краткое обобщение. Для маловеров требуется некоторая иллюстрация.

Наш пианист, как и все пианисты, был немцем; он был немцем, как великий Лист и великий Мендельсон, немцем, как Штейбель, немцем, как Моцарт и Дуссек, немцем, как Мейер, Дельгер, немцем, как Тальберг, как Дрешок, Гиллер, Леопольд Майер, как Краммер, Циммерман и Калькбреннер, как Герц, Вец, Карр, Вольф, Пиксис, Клара Вик и вообще все немцы. Однако при незаурядном таланте композитора он мог быть только исполнителем, настолько несвойственно было его натуре дерзание, необходимое для одаренного человека, чтоб сказать свое слово в музыке. У большинства немцев наивность не продолжается вечно, с летами она исчезает; в известном возрасте им приходится черпать ее из источника собственной молодости, а затем, успокоив подозрительность окружающих, обильно поливать ею почву, на которой вызревает их успех, все равно в какой области— в науке, искусстве или финансах. Во Франции некоторые хитрецы заменяют эту немецкую наивность простотой парижского бакалейщика. Но Шмуке сохранил в неприкосновенности детскую наивность, так же как Понс, сам того не подозревая, свято сохранял во всем своем облике стиль эпохи Империи. Шмуке, этот истый немец с возвышенной душой, был одновременно и исполнителем и слушателем. Он играл для собственного удовольствия. В Париже он жил, как соловей в лесу; этот единственный в своем роде оригинал уже двадцать лет сам упивался своим пением, пока не встретил Понса, в котором нашел свое второе я (см. «Дочь Евы»).

У Понса и Шмуке одинаково и в сердце и в характере было много сентиментальной ребячливости, что вообще

свойственно немцам. Немцы страстно любят цветы, немцы до того обожают самые простые эффекты, что ставят в садах большие шары, дабы любоваться в миниатюре тем пейзажем, который расстилается у них перед глазами в натуральную величину; немцы чувствуют такую склонность к философическим изысканиям, что немецкий ученый в поисках истины готов исходить всю землю и не замечает, что эта самая истина улыбается ему, сидя на краю колодца у него же во дворе, заросшем кустами жасмина; немцы испытывают вечную потребность одухотворять все сущее вплоть до мелочей, и это порождает туманные произведения Жан-Поль Рихтера, печатные бредни Гофмана и целые ограды из фолиантов вокруг самого простого вопроса, который немцы углубляли до тех пор, пока он не стал глубок, как пропасть, а если заглянешь,— на дне такой пропасти окажется все тот же немец и ничего больше. Оба друга были католиками, они вместе ходили к церковным службам, соблюдали обряды, а на исповеди им, как детям, не в чем было каяться. Они твердо верили, что музыка, этот язык небес, для мыслей и чувств то же, что чувства и мысли для слова, и вели нескончаемые разговоры на эту тему, отвечая друг другу потоками музыки, чтобы по примеру влюбленных доказать себе самим то, в чем они и так убеждены. Шмуке был в той же мере рассеян, в какой Понс— внимателен. Понс был коллекционером, а Шмуке — мечтателем. Один спасал от уничтожения прекрасные проявления материального мира, другой созерцал прекрасные проявления мира идеального. Понс высматривал и покупал фарфоровые чашки, а Шмуке тем временем сморкался и, размышляя о мелодиях Россини, Беллини, Бетховена или Моцарта, старался найти чувства, которые послужили истоком той или иной музыкальной фразы или ее вариации. Немцу Шмуке мешала быть бережливым его рассеянность; Понс стал мотом под влиянием страсти, а в общем к концу года они приходили к одинаковым результатам: 31 декабря и у того и у другого кошелек был пуст.

Не будь у Понса такого друга, он, пожалуй, не выдержал бы столь грустного существования; но теперь, когда ему было с кем поделиться горем, жизнь казалась ему вполне сносной. В первый раз услышав сетования

Понса, простодушный немец дал ему добрый совет кушать по его примеру дома хлеб с сыром и не гоняться за обедами, раз за них приходится платить столь дорогой ценой. Увы! Понс не посмел признаться Шмуке, что желудок и сердце у него не в ладах, что желудок не считается со страданиями сердца и что вкусный обед для Понса та же услада, что для светского волокиты любовные утехи. Шмуке был настоящим немцем и потому не отличался сообразительностью, свойственной французам, но со временем он все же понял Понса и с этой минуты еще больше привязался к нему. Ничто так не укрепляет дружбы, как сознание, что твой друг слабее тебя. Даже ангел не упрекнул бы Шмуке, если бы увидел, как добряк немец потирал от удовольствия руки, постигнув, сколь глубокие корни пустило в душе Понса чревоугодие. Действительно, на следующий же день Шмуке прибавил к завтраку разные лакомые блюда, за которыми сходил сам, и теперь он каждый день старался побаловать еще чем-нибудь своего друга, ибо, с тех пор как они поселились вместе, они всегда завтракали дома вдвоем.

Только тот, кто не знает Парижа, может подумать, что друзей не коснулась насмешка парижан, никого и ничего не щадящих. Шмуке и Понс, решив делить пополам и достатки и нищету, пришли к выводу, что в целях экономии надо поселиться вместе, и теперь они платили поровну за не поровну разделенную квартиру в тихом доме на тихой Нормандской улице в квартале Марэ. Они часто гуляли вместе все по одним и тем же бульварам, и досужие соседи прозвали их *щелкунчиками*. Это прозвище говорит само за себя и избавляет нас от необходимости давать портрет Шмуке, который по сравнению с Понсом был так же хорош собой, как кормилица Ниобеи на знаменитой ватиканской статуе по сравнению с Венерой Медицейской.

Мадам Сибо, привратница дома, где проживали наши щелкунчики, ведала всем их хозяйством. Но она играет такую видную роль в драме, которой закончилось существование обоих друзей, что лучше будет отложить описание ее наружности до момента появления мадам Сибо на сцене.

В сорок седьмом году девятнадцатого столетия, ве-

роятно, вследствие поразительного развития финансов, вызванного появлением железных дорог, девяносто девяти читателям из ста покажется неправдоподобным то, что еще остается сказать для характеристики обоих друзей. Это пустяк, и в то же время это очень важный пустяк. Надо, чтоб читатели поняли чрезмерную душевную чувствительность обоих друзей. Позаимствуем сравнение из той же железнодорожной сферы, чтобы хоть таким образом возместить деньги, которые берут с нас. Под колесами современных быстроходных поездов дробятся на рельсах мельчайшие песчинки, но пусть такие невидимые для глаза песчинки попадут пассажиру в почки, и он почувствует ужасные боли, как при крайне мучительной болезни, известной под названием камни в почках; эта болезнь смертельна. Так вот для нашего общества, со скоростью локомотива несущегося по своему железному пути, многое — только невидимые, неощутимые песчинки; а у обоих музыкантов, в чьи души то и дело по всякому поводу попадали эти песчинки, они вызывали такую же боль в сердце, какую камни вызывают в почках. Оба друга были очень отзывчивы на страдания ближних, и оба мучились от сознания своей беспомощности; в отношении себя лично они были болезненно восприимчивы, отличались чувствительностью мимозы. Ничто не ожесточило их нежные, младенчески чистые души — ни старость, ни непрестанно разыгрывающиеся в Париже драмы. Чем дольше они жили, тем острее становилась их душевная боль. Увы! Такова участь целомудренных натур, безмятежных мыслителей и истинных поэтов, никогда не впадавших в крайности.

Поселившись вместе, старики дружно, как парижские извозчичьи лошади, впряглись в каждодневную лямку, примерно одинаковую у обоих. Они вставали около семи утра и летом и зимою, завтракали и шли в пансионы на уроки, где, в случае надобности, заменяли друг друга. К двенадцати часам дня Понс уходил в театр, если у него была репетиция, а все свободное время бродил по городу. Вечером друзья встречались в театре, куда Понс пристроил и Шмуке. Произошло это так.

Незадолго до того, как Понс повстречался с Шмуке, он, без всяких домогательств со своей стороны, получил

по милости графа Попино, в ту пору министра, палочку капельмейстера — сей маршальский жезл безвестных композиторов. Попино — буржуа, герой Июльской революции, выговорил эту должность для старого музыканта, устроив привилегию на театральную антрепризу одному из тех своих однокашников, при встрече с которыми выскочки обычно краснеют, когда, проезжая по улицам Парижа в собственном экипаже, увидят кого-либо из друзей молодости, обтрепанного, в порыжелом сюртучишке, шагающего пешком с таким независимым видом, будто он вовсе не интересуется преходящими благами, ибо слишком занят высокими материями. Этот друг, бывший коммивояжер по фамилии Годиссар, в свое время весьма способствовал процветанию крупного торгового дома Попино. Попино, сделавшись графом и пэром Франции, после того как он дважды занимал пост министра, не отрекся от *прославленного Годиссара*. Больше того, он пожелал помочь коммивояжеру обновить свой гардероб и наполнить кошелек, ибо сердце бывшего москательщика не очерствело, несмотря на занятие политикой и суетную жизнь при дворе короля-гражданина. Годиссар, по-прежнему страстный обожатель женщин, попросил привилегию на антрепризу одного театра, дела которого шли тогда из рук вон плохо, и министр, исполнив его просьбу, позаботился порекомендовать его театр кое-каким богатым старичкам, любителям прекрасного пола, дабы объединить пожилых волокит, неравнодушных к прелестям танцовщиц, в мощное коммандитное товарищество. Понс, прихлебатель за столом Попино, явился бесплатным приложением к выданной Годиссару привилегии. В 1834 году труппа Годиссара, дела которой поправились под его началом, возымела благородное намерение создать на бульваре народный оперный театр. Для балетов и феерий нужен был приличный капельмейстер, не лишенный дарования композитора. Дела антрепренера, предшественника Годиссара, шли так плохо, что держать специально человека для переписки партитур ему было не по карману. И Понс пристроил в театр своего приятеля Шмуке на должность нотного библиотекаря, должность незаметную, но требующую солидного музыкального образования. Шмуке по совету Понса договорился с библиотекарем Коми-

ческой оперы и таким образом избавился от чисто технических хлопот. Содружество Шмуке и Понса дало замечательные результаты. Шмуке, как и все немцы, был очень силен по части гармонии и взял на себя инструментовку партитур, а Понс сочинял вокальные партии. И знатоки, восторгаясь свежей музыкой к двум-трем полюбившимся зрителям пьесам, толковали о *победах прогресса* и совсем не интересовались авторами. Понс и Шмуке исчезли за своей славой,— так иногда случается, что человек тонет в собственной ванне. В Париже, особенно после 1830 года, нельзя сделать карьеру, не растолкав quibuscumque viis [1], и очень решительно, яростную толпу конкурентов. Для этого надо иметь весьма сильные локти, а обоим друзьям в сердце попало слишком много песчинок, и они заболели тем недугом, который препятствует честолюбивым замыслам.

Обычно Понс шел в театр только к восьми часам, как раз в это время начинались спектакли, любимые публикой, и властная палочка капельмейстера требовалась и для исполнения увертюры и для музыкального сопровождения. Подобные льготы допускаются во многих третьеразрядных театрах, и Понс пользовался данной ему льготой без угрызений совести, тем более что проявлял в своих отношениях с дирекцией чрезвычайное бескорыстие. Кроме того, когда нужно было, Шмуке заменял Понса. Постепенно положение Шмуке в оркестре упрочилось. Прославленный Годиссар понял, хоть и молчал об этом, как ценен и полезен помощник Понса. В оркестр потребовалось ввести фортепьяно, как в больших театрах. Фортепьяно, на котором, не прося прибавки к жалованью, вызвался играть Шмуке, было поставлено около пульта капельмейстера, и сверхштатный доброволец занял свое место. Узнав добряка немца, скромного и непритязательного, музыканты охотно приняли его в свою семью. За весьма умеренное вознаграждение дирекция поручила Шмуке все инструменты, которые не представлены в оркестре театров на Бульварах, но часто бывают очень нужны, как-то: фортепьяно, виола дамур, английский рожок, виолончель, арфа, кастаньеты, колокольчики и изобретения Сакса. Немцы, прав-

---

[1] Какими угодно путями *(лат.)*.

да, не умеют играть на грозных инструментах свободы, зато обладают прекрасным даром играть на каком угодно музыкальном инструменте.

Любимые всем театром старички музыканты, как философы, закрывали глаза на неприятности, неизбежные в труппе, где, кроме актеров и актрис, имеется еще и кордебалет; такое ужасное сочетание, придуманное, чтоб поднять сборы, создано специально для мучительства директоров, авторов и музыкантов. Добрый и деликатный Понс заслужил общее расположение тем, что уважал других и сам держался с достоинством. Впрочем, даже самые закоренелые злодеи преклоняются перед кристально чистой жизнью и безупречной честностью В Париже подлинная добродетель ценится так же высоко, как огромный бриллиант или редкая достопримечательность. Ни одна танцовщица, как бы она ни была дерзка на язык, ни один актер или автор не позволили бы себе подшутить над Понсом или его другом, позлословить на их счет. Понс иногда появлялся в фойе; но Шмуке знал только подземный ход, который вел с улицы в оркестр. В те вечера, когда добродушный старичок немец был занят в спектакле, он робко осматривал во время антрактов зрительный зал и расспрашивал первую флейту — молодого немца, уроженца Страсбурга, семья которого жила раньше в Келе,— об эксцентричных особах, почти всегда украшавших литерные ложи. Понемногу Шмуке, обучать которого жизненному опыту выпало на долю первой флейте, при всей своей детской наивности перестал удивляться сказочной жизни лореток, бракам, заключенным в тринадцатом округе, мотовству *первых сюжетов* и темным делишкам капельдинера. Самые невинные пороки представлялись добродетельному немцу верхом разврата, достойным Вавилона, он только слушал и улыбался, словно перед ним проходили причудливые китайские тени. Люди искушенные поймут, что Понса и Шмуке (пользуясь модным словечком) *эксплуатировали.* Но хотя они и потеряли материально, зато приобрели общее уважение и любовь.

После представления балета, успех которого положил начало быстрому росту благосостояния труппы Годиссара, директора послали Понсу серебряную группу, приписываемую Бенвенуто Челлини. Непомерно высокая

цена группы — подумайте только: тысяча двести франков! — вызвала разговоры в фойе. Честный старик не хотел принимать подарок. Годиссару с трудом удалось его уговорить.

— Ах, как жаль, что не найти актеров той же пробы! — сказал Годиссар своему компаньону.

Только одно вносило расстройство в совместную жизнь Понса и Шмуке, с виду такую спокойную,— порок, ради которого Понс шел на жертвы, неудержимое влечение к званым обедам, и если Шмуке бывал дома, когда Понс собирался в гости, добряк немец всякий раз горько сетовал на это роковое пристрастие.

— *Добро би это ему ширу прибавиль!* — повторял он не раз.

И Шмуке раздумывал, как бы излечить друга от унижающего его порока, ибо подлинные друзья обладают душевной чуткостью, столь же тонкой, как нюх собаки; они чуют огорчения близкого человека, угадывают его причины, тревожатся.

Понс, носивший на мизинце правой руки кольцо с бриллиантом, следуя моде, принятой эпохой Империи, а теперь казавшейся смешной, был истым дамским угодником и истым французом и не отличался той божественной ясностью души, которая скрашивала ужасающее безобразие Шмуке. По грустному выражению лица Понса немец угадал, что роль прихлебателя делается с каждым днем все труднее и все больше тяготит его друга. Действительно, к октябрю 1844 года число домов, где обедал Понс, сильно поубавилось. Бедняга капельмейстер, которому волей-неволей приходилось ограничиваться родственниками, очень расширил, как мы сейчас увидим, значение слова «родственники».

Бывший медалист приходился троюродным братом первой жене г-на Камюзо, богатого торговца шелком с улицы Бурдонне,— некоей девице Понс, единственной наследнице одного из знаменитых «Братьев Понс», придворных золотошвеев, в деле которых, учрежденном до революции 1789 года, отец и мать нашего музыканта состояли пайщиками. Эта фирма была продана в 1815 году г-ну Риве отцом первой жены г-на Камюзо. Г-н Камюзо уже десять лет как отошел от дел, в 1844 году он был членом генерального совета мануфактур, депутатом

и пр. и пр. Понс, к которому в семье Камюзо благоволили, стал почитать себя в родстве с детьми торговца шелком от второго брака, хотя не был им не только родственником, но даже и свойственником.

Вторая жена Камюзо была урожденной Кардо, и на этом основании Понс в качестве родственника семейства Камюзо проник в семью Кардо и во все ее многочисленные ответвления, вместе составлявшие второй крупный буржуазный род, выросший благодаря бракам в целый клан, не менее могущественный, чем клан Камюзо. Брат второй г-жи Камюзо, нотариус Кардо, женился на девице Шифревиль. Шифревили, признанные короли химической промышленности, давно уже породнились с крупными москательщиками, первое место среди которых в течение долгого времени занимал г-н Ансельм Попино, после Июльской революции, как известно, ставший одним из ярых сторонников ультрадинастической политики. И Понс следом за Камюзо и Кардо пробрался к Шифревилям, а оттуда к Попино, на правах родственника родственников.

Из этого несложного обзора последних родственных отношений старичка музыканта уже видно, что в 1844 году он мог бывать запросто: во-первых, у графа Попино, пэра Франции, бывшего министра земледелия и торговли; во-вторых, у г-на Кардо, бывшего нотариуса, мэра и депутата от одного из парижских округов; в-третьих, у старшего г-на Камюзо, депутата, члена парижского муниципалитета и генерального совета мануфактур, тоже метившего в пэры; в-четвертых, у г-на Камюзо де Марвиля, сына от первого брака и, следовательно, единственного настоящего родственника Понса, собственно говоря, его троюродного племянника.

Этот Камюзо, присоединивший к своей фамилии название поместья и, в отличие от отца и брата от второго брака, именовавший себя Камюзо де Марвиль, был в 1844 году председателем судебной палаты в Париже.

Бывший нотариус Кардо выдал дочь за своего преемника, по фамилии Бертье, и за Понсом, доставшимся Бертье в приданое вместе с конторой, и здесь было утверждено право на обед, как он говорил, нотариальным порядком.

Вот те светила буржуазного небосвода, к которым напросился в родственники Понс, с такими мучениями отстаивавший свое место за их столом.

Из десятка домов тот, где Понса, казалось бы, должны были принимать всего радушнее, дом председателя суда Камюзо доставлял ему больше всего хлопот. Увы! Супруга председателя, дочь покойного г-на Тириона, придверника королей Людовика XVIII и Карла X, не жаловала троюродного брата своего мужа. Понс только зря тратил время, стараясь умилостивить свою грозную родственницу, ибо сколько он ни трудился, давая безвозмездно уроки музыки дочери Камюзо, сделать из этой рыжеватой девицы музыкантшу ему так и не удалось.

Итак, Понс, бережно прикрывавший полой некий ценный предмет, направлялся сейчас к своему родственнику, председателю суда, здесь он каждый раз чувствовал себя так, будто попал в Тюильри, ибо торжественные зеленые портьеры, коричневая обивка стен, плюшевые ковры и массивная мебель подавляли его воображение своей суровой, чисто судейской строгостью. Странное дело! Он чувствовал себя очень хорошо в доме у Попино, на улице Басс-дю-Рампар, вероятно потому, что там было много произведений искусства; бывший министр, с тех пор как стал заниматься политикой, пристрастился к коллекционированию красивых вещей, должно быть, в пику политике, которая втайне коллекционирует самые некрасивые дела.

Председатель суда де Марвиль жил на Ганноверской улице, в доме, купленном десять лет тому назад председательшей после смерти ее родителей, почтенных супругов Тирион, от которых она унаследовала скопленный ими капитал в сто пятьдесят тысяч франков. Этот дом, достаточно мрачный с улицы, ибо фасад его выходил на север, глядел на юг со стороны двора, позади которого был довольно красивый сад. Судья с семьей занимал весь бельэтаж, в котором в царствование Людовика XV жил один из самых крупных откупщиков того времени. Верхний этаж снимала богатая старуха, и на всем особняке лежал отпечаток спокойствия и добропорядочности, подобающих судейскому сословию. На личные сбережения за двадцать лет и на материнское наследство

председатель суда приобрел остатки великолепного поместья Марвилей — замок, роскошное здание, какие еще встречаются в Нормандии, и хорошую ферму, дававшую двенадцать тысяч франков дохода. Замок стоял в парке, занимавшем сто гектаров. Эта по нашему времени царская роскошь обходилась председателю суда не меньше чем в тысячу экю, таким образом, поместье приносило всего девять тысяч франков *чистой*, как принято говорить, прибыли. Эти девять тысяч и жалованье составляли капитал, дававший примерно двадцать тысяч доходу, чего, казалось, было бы достаточно, особенно ввиду того, что г-ну Камюзо предстояло унаследовать половину отцовского состояния, ибо он был единственным сыном от первого брака; но жизнь в Париже и занимаемое положение требовали больших расходов, и супруги де Марвиль тратили почти полностью все, что имели. До 1834 года они были стеснены в средствах.

Из данного подсчета ясно, почему мадемуазель де Марвиль засиделась в девицах до двадцати трех лет, хотя за ней и давали сто тысяч франков, да еще приманивали женихов видами на наследство, о котором упоминалось часто и с большим искусством, но безрезультатно. Пять лет подряд кузен Понс выслушивал жалобы председательши, огорчавшейся, что все товарищи прокурора успели переженироваться, все новые судьи успели обзавестись детьми, а она напрасно старалась очаровать видами на будущее девицы де Марвиль молодого виконта Попино, старшего сына москательного короля; если послушать завистников из Ломбардского квартала, так Июльскую революцию только ради того и сделали, чтоб жилось хорошо этому самому москательщику, да еще младшей ветви Бурбонов.

Дойдя до улицы Шуазель и уже собираясь свернуть на Ганноверскую, Понс ощутил необъяснимое волнение, часто охватывающее людей с чистой душой и вызывающее у них то же мучительное чувство, какое испытывают отъявленные мошенники при виде полицейского,— дело в том, что Понс не знал, какой прием окажет ему супруга председателя. Эта песчинка постоянно бередила ему душу, и острые края ее не только не сглаживались, а, напротив, становились все острее, чему немало способствовали обитатели особняка де Марвилей. Дей-

ствительно, в семье Камюзо совсем не считались с кузеном Понсом, можно сказать, ни в грош его не ставили, что отлично понимала прислуга, которая, правда, не дерзила открыто, но смотрела на него вроде как на разновидность нищего.

Главным врагом Понса была некая Мадлена Виве, сухая, как жердь, старая дева, камеристка г-жи де Марвиль и ее дочери. Эта самая Мадлена, несмотря на красное прыщавое лицо, а может быть, как раз потому, что была прыщавой да еще длинной, как ехидна, вбила себе в голову стать мадам Понс. Мадлена тщетно пыталась соблазнить старого холостяка скопленными ею двадцатью тысячами франков. Понс отказался от такого слишком ехидного счастья. И теперь эта Дидона в образе горничной, мечтавшая породниться со своими хозяевами, всячески пакостила бедному музыканту. Заслышав его шаги на лестнице, она говорила, стараясь, чтоб он ее услышал: «А, блюдолиз, опять пожаловал!» Когда лакея почему-либо не было и за столом подавала Мадлена, она наливала своей жертве побольше воды и поменьше вина, да еще наполняла стакан вровень с краями, а потом злорадствовала, глядя, как Понс, стараясь не пролить ни капли, подносил ко рту полный доверху стакан. Она обносила его блюдом и подавала ему только после того, как ей напоминала хозяйка (и каким тоном!.. Понс сгорал от стыда), или же ухитрялась опрокинуть на него соусник. Словом, эта была война человека холуйской души, чувствующего свою полную безнаказанность против впавшего в ничтожество родственника своих хозяев. Мадлена жила у супругов Камюзо с тех пор, как они поженились, и выполняла обязанности экономки и горничной. Она знала, как ее хозяева перебивались вначале, в провинции, когда г-н Камюзо служил в Алансонском суде; она не оставила их, когда они перебрались в Париж в 1828 году, куда г-н Камюзо получил назначение на должность судебного следователя, после того как был председателем суда в Манте. Вообще она так долго прослужила в их семье, что у нее накопилось немало причин для мести. За желанием насолить своей заносчивой и кичливой хозяйке, породнившись с ее супругом, несомненно скрывалась глухая ненависть, нараставшая как лавина

— Сударыня, там пришел ваш господин Понс в своем вечном спенсере! — доложила Мадлена супруге председателя.— Хоть бы уж открыл мне секрет, как это он ухитряется носить один и тот же спенсер двадцать пять лет подряд!

Услышав мужские шаги в маленькой гостиной, отделявшей залу от спальни, г-жа Камюзо взглянула на дочь и пожала плечами.

— Почему вы не предупредили заранее, теперь уже ничего не поделаешь,— сказала г-жа Камюзо Мадлене.

— Жан вышел, я была одна дома. Господин Понс позвонил, я отворила, ведь он у нас в доме свой человек, не могла же я просить его обождать: он уже здесь, снимает свой спенсер.

— Ну, кисонька,— обратилась г-жа Камюзо к дочери,— теперь мы попались! Придется сегодня обедать дома. Послушай, может быть, нам избавиться от него раз и навсегда? — прибавила она, заметив, какую кислую физиономию скорчила ее кисонька.

— Ах, бедняга, ну как можно лишать его очередного обеда! — ответила мадемуазель Камюзо.

В маленькой гостиной кто-то нарочито кашлянул, словно желал сказать: «Мне все слышно».

— Ну, что же делать, просите! — сказала г-жа Камюзо Мадлене, пожимая плечами.

— Мы не ждали вас так рано, кузен,— произнесла Сесиль Камюзо с жеманной улыбкой,— маменька как раз собиралась одеваться.

Кузен Понс, заметивший, как супруга председателя пожала плечами, почувствовал такую горькую обиду, что даже позабыл все свои комплименты и ограничился глубокомысленным замечанием:

— Вы, кузиночка, всегда очаровательны!

Затем он поклонился матери.

— Дорогая сестрица,— сказал он,— не гневайтесь, что я пришел немножко раньше обычного. Я принес вам то, о чем вы меня просили, доставив мне своей просьбой истинное удовольствие...

И бедный Понс, который вонзал нож в сердце председателю суда, его супруге и Сесиль, каждый раз, как называл их *братцем* или *сестрицей*, вытащил из бокового

кармана фрака прелестный продолговатый деревянный футляр с неподражаемой резьбой.

— Ах да, а я совсем позабыла! — сухо заметила г-жа Камюзо.

Как можно было произнести такие жестокие слова! Как можно было так обесценить хлопоты родственника, вся вина которого заключалась в том, что он бедный родственник!

— Вы очень любезны, братец,— продолжала она.— Сколько я вам должна за эту безделку?

При этом вопросе у Понса дрогнуло сердце, он рассчитывал своим подарком расплатиться за все обеды.

— Я полагал, что вы позволите преподнести вам эту вещицу,— сказал он взволнованным голосом.

— Что вы, что вы! — возразила председательша.— Что за церемонии, мы люди свои, нам нечего друг с другом чиниться. Вы не так богаты, чтобы делать подарки. Довольно и того, что вы потрудились, потеряли столько времени на беготню по лавкам!..

— Вы бы отказались от этого веера, дорогая сестрица, если бы вам предложили заплатить за него его настоящую цену,— возразил обиженный Понс,— это шедевр, Ватто расписал его с обеих сторон. Но, будьте спокойны, я заплатил только сотую долю того, что стоит это бесценное произведение искусства.

Сказать богачу: «Вы бедны!» — равносильно тому, что сказать архиепископу Гренадскому, что его проповеди ни к черту не годятся. Супруга председателя суда была очень горда положением мужа, поместьем Марвилей и приглашениями на придворные балы, и подобное замечание не могло не задеть ее за живое, особенно когда оно исходило от какого-то музыкантишки, перед которым она разыгрывала благодетельницу.

— Значит, те, у кого вы покупаете такие вещи, совсем дураки? — тут же заметила г-жа де Марвиль.

— В Париже среди антикваров нет дураков,— возразил Понс сухим тоном.

— В таком случае вы очень умны,— сказала Сесиль, желая положить конец спору.

— Весь мой ум, кузиночка, в том, что я знаю Ланкре, Патера, Ватто, Греза, но мною главным образом руководило желание угодить вашей дорогой маменьке.

Невежественная и чванная г-жа де Марвиль считала ниже собственного достоинства получать подарки от своего нахлебника; ее невежество оказалось ей на руку. О Ватто она даже не слыхала. Лучшей иллюстрацией того, сколь сильно развито чувство самолюбия у коллекционеров, не уступающее авторскому самолюбию, может служить та решительность, с которой Понс впервые за двадцать лет осмелился перечить своей родственнице. Сам удивленный своей смелостью, он принялся подробно объяснять Сесиль красоту тончайшей резьбы этого замечательного веера и успокоился. Но чтобы читатель понял душевное волнение, охватившее старика музыканта, нужно набросать портрет супруги председателя суда.

К сорока шести годам г-жа де Марвиль, в свое время миниатюрная блондинка, свежая и пухленькая, осталась такой же миниатюрной, но вся как-то усохла. Ее от природы высокомерное лицо с выпуклым лбом и поджатыми губами, которое некогда украшала молодость, теперь выражало брюзгливость. Под влиянием привычки к неограниченной власти в семье оно очерствело и стало неприятным. Белокурые волосы с возрастом потемнели, вернее, потеряли свой блеск. Во взгляде, все еще живом и остром, появилась чисто судейская заносчивость и скрытая зависть. Действительно, супруга председателя суда имела основание считать себя чуть ли не бедной по сравнению с теми разбогатевшими мещанами, у которых обедал Понс. Она не могла простить богатому москательщику, бывшему председателю коммерческого суда, того, что он стал депутатом, министром, графом и, наконец, пэром. Она не могла простить своему свекру, что тот во время производства Попино в пэры пренебрег интересами старшего сына и постарался сам пройти в депутаты от своего округа. Хотя Камюзо уже восемнадцать лет служил в Париже, она все еще надеялась для него на должность советника кассационного суда, куда ему, однако, дорога была закрыта из-за его бездарности, хорошо известной в судейском мире. Министр юстиции, занимавший этот пост в 1844 году, очень жалел, что Камюзо был назначен председателем суда в 1834 году. Но его сунули в обвинительную камеру, где он все же мог быть полезен, вынося приговоры, ибо понаторел в этом деле, служа следователем. Несбывшиеся

надежды сначала иссушили г-жу де Марвиль, не заблуждавшуюся, впрочем, насчет талантов мужа, а затем превратили в настоящую мегеру. Характер ее, и без того сварливый, вконец испортился. Эта женщина, не столько старая, сколько преждевременно состарившаяся, стала колючей, жесткой, как щетка, и, наводя на окружающих страх, добивалась того, в чем общество было склонно ей отказать. Она отличалась язвительностью, и друзей у нее было мало: ее боялись, так как она окружила себя старыми ханжами, столь же малоприятными, как и она сама, которые всегда ее поддерживали в надежде, что и о них при случае не позабудут. И бедный Понс трепетал перед этим чертом в юбке, как школьник перед учителем с розгой. Итак, супруга председателя суда не могла постигнуть неожиданную дерзость своего родственника, ибо не понимала ценности подарка.

— Где вы это разыскали? — спросила Сесиль, рассматривая веер.

— У старьевщика, что на улице Лапп, он привез его из разоренного замка Ольне, неподалеку от Дрё, где в свое время бывала мадам де Помпадур, пока не был еще построен Менар; оттуда удалось спасти роскошные резные изделия из дерева, такие замечательные, что Льенар, наш знаменитый резчик, оставил себе две овальные рамки для образца, это — nec plus ultra[1] в искусстве... Там были подлинные сокровища. Веер мой старьевщик нашел в шкафчике штучной работы; я бы приобрел и шкафчик, если бы собирал такие вещи, но они совершенно недоступны. За шкафчик Ризенера просят от трех до четырех тысяч франков! Парижане начинают понимать, что прославленные немецкие и французские краснодеревцы шестнадцатого, семнадцатого и восемнадцатого веков, искусные в наборной работе, создавали настоящие картины из дерева. Заслуга коллекционеров в том и состоит, что они опережают моду. Вот попомните мое слово, в Париже через пять лет за франкенталь, который я собираю уже двадцать лет, дадут вдвое дороже, чем за мягкий севрский фарфор.

— А что такое франкенталь? — спросила Сесиль.

— Это название фабрики курфюрста Пфальцского, она старше наших севрских мануфактур, так же как зна-

[1] Крайний предел *(лат.)*.

менитые гейдельбергские сады, разоренные Тюренном, существовали на свое несчастье еще до версальских. Севр во многом подражал Франкенталю... Немцы, надо им отдать справедливость, раньше нас уже делали прекрасные вещи и в Саксонии и в Пфальце.

Мать и дочь вытаращили глаза, словно Понс разговаривал с ними на китайском языке, потому что даже представить нельзя, как невежественны и ограниченны парижане; они знают лишь то, чему их учат, да и то еще когда хотят учиться.

— А как вы узнаете франкентальский фарфор?

— А марки на что! На всех этих очаровательных вещах есть марки,— с жаром заговорил Понс.— На франкентальском фарфоре стоит вензель С и Т (*Carolus Theodorus*), а над ним княжеская корона. На старом Саксе — два меча и порядковый номер золотом Марка венсенского фарфора — почтовый рожок, венского — V, взятое в круг и с геральдическими полосками, берлинского — две геральдические полоски, майнцского — колесо, севрского — два LL, а на королевском фарфоре — А, то есть *Антуанетта,* и над ним королевская корона. В восемнадцатом веке все европейские монархи соперничали в производстве фарфора. Мастеров переманивали друг у друга. Ватто рисовал сервизы для Дрезденской мануфактуры, и за вещи его работы платят бешеные деньги. (Но тут надо быть большим знатоком, потому что сейчас Дрезден повторяет и подделывает его сервизы.) Да, тогда делали прекрасные вещи, таких уже больше не будет.

— Да неужели!

— Да, сестрица, есть такая мебель, такой фарфор, каких больше не будет, как не будет больше картин Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Ван-Эйка, Кранаха!.. Да вот, возьмите китайцев, они хорошие мастера, большие искусники, и что же? Они копируют прекрасные старые образцы своего фарфора, называемого «Великий мандарин». Ну так вот, две вазы старого «Великого мандарина» самого крупного размера стоят шесть, восемь, десять тысяч франков, а современную подделку можно купить за двести франков!

— Вы шутите!

— Вас, сестрица, поражает такая цена? Но иначе и

быть не может. Обеденный сервиз на двадцать персон из мягкого севрского теста,— а ведь мягкое тесто не тот же фарфор,— стоит сто тысяч франков, и это еще по своей цене. Такой сервиз обходился в тысяча семьсот пятидесятом году Севру в пятьдесят тысяч франков. Я сам видел счета.

— Вернемся к вееру,— сказала Сесиль, которой эта вещица казалась слишком старой.

— Вы, конечно, понимаете, что как только ваша маменька оказала мне честь, попросив достать ей веер, я со всех ног кинулся на поиски,— стал рассказывать Понс.— Я перебывал у всех парижских торговцев древностями и не нашел ничего подходящего; ведь для вас, дорогая госпожа Камюзо, мне хотелось раздобыть настоящий шедевр, я мечтал достать веер Марии-Антуанетты, самый красивый из всех знаменитых вееров. Но вчера я пришел в восхищение от этой божественной вещицы, несомненно выполненной по заказу Людовика Пятнадцатого. И как это мне вздумалось пойти за веером на улицу Лапп, к овернцу, торгующему медным и железным ломом и старой мебелью! Я верю, что у предметов искусства есть разум, они чувствуют знатоков, приманивают их, подзывают: «Тсс! Тсс!..»

Супруга председателя суда пожала плечами и переглянулась с дочерью, но ее мимика ускользнула от Понса.

— Я этих скаредов всех наперечет знаю! «Что новенького, папаша? Дверные наличники есть?»— спросил я у Монистроля, торговца, который обычно показывает свои приобретения сначала мне, а потом уже крупным скупщикам. Тут-то Монистроль и рассказал, как Льенар, украшавший по заказу казны скульптурой часовню в Дрё, когда распродавалось поместье Ольне, выхватил резные деревянные вещи из-под носа у торговцев, набросившихся на фарфор и инкрустированную мебель. «Мне почти ничего не перепало,— сказал овернец,—оправдать бы дорогу и то хорошо». И он показал мне наборный шкафчик, ну, просто заглядение! По рисункам Буше, выполнено с огромным мастерством!.. Все отдай — мало! «Вот, взгляните, сударь, что я нашел в запертом ящичке, ключика от которого не было,— мне пришлось взломать замок,— веер! Посоветуйте, кому продать...» И он вынул вот эту самую резную деревян-

ную шкатулочку. «Посмотрите, это стиль Помпадур, похожий на пышную готику». «Да,— сказал я,— шкатулочка хороша, шкатулочку я бы взял, а вот веер мне ни к чему... жены у меня нет, кому мне подарить такую старинную вещицу: да к тому же теперь новые очень красивые делают. Теперь отлично разрисовывают всякие бумажные безделушки и довольно дешево. Знаете, ведь в Париже две тысячи художников!» И я небрежно раскрыл веер, стараясь сдержать восторг, и равнодушно поглядел на обе картинки, выполненные с таким мастерством, с такой непринужденностью. У меня в руках был веер госпожи де Помпадур! Ватто сам себя превзошел в этом рисунке! «Сколько вы хотите за шкафчик?» «Тысячу франков, мне их уже дают!» Я предложил ему за веер цену, соответствующую примерно его дорожным издержкам. Мы посмотрели друг другу в глаза, и я понял, что он у меня в руках. Сейчас же я положил веер обратно в шкатулку, чтобы овернец его не рассматривал, и принялся восхищаться работой шкатулочки, действительно чудесной. «Только ради шкатулки я его и беру,— сказал я Монистролю,— только шкатулка меня и соблазняет. А за шкафчик вам дадут больше тысячи, посмотрите, какая тонкая медная резьба! Да это же уникальная вещь... ее можно использовать как образец, второго такого не сыщешь, для мадам де Помпадур все делали по специальному образцу...» Моего овернца так *проняло*, что он позабыл о веере и отдал его за бесценок, ведь благодаря мне он понял, какая прелесть этот шкафчик работы Ризенера. Ну вот и все! Но для такой выгодной покупки надо иметь большой опыт в этих делах. Это борьба на зоркость глаза, а глаза у евреев и овернцев ой-ой-ой какие!

Прекрасная мимика старого музыканта, оживление, торжество, с которым он рассказывал, как перехитрил невежественного овернца, поистине были достойны кисти голландского художника, но для г-жи Камюзо с дочерью все это пропáло даром. Они переглянулись с холодным и презрительным видом: «Ну и чудак!..»

— Так вам это кажется занятным? — спросила супруга председателя суда.

Понса так обидел этот вопрос, что ему захотелось отколотить г-жу Камюзо.

— Но, милая сестрица, ведь это же охота за шедеврами! Тут вступаешь в единоборство с противником, который так просто не уступит свой добычи! Его надо перехитрить! Шедевр, а при нем нормандец, еврей или овернец, да ведь это же как в волшебных сказках,— принцесса, которую стережет чародей!

— А почему вы знаете, что это Ват... Как вы его назвали?

— Ватто, кузина, один из величайших французских художников восемнадцатого века! Неужто вы не узнаете его манеру? — сказал он, указывая на пастушескую сценку, изображающую хоровод опереточных поселянок и поселян, больше похожих на переодетых придворных.— Сколько веселости! Какая игра! Какой колорит! А сделано-то как! Одним махом, словно росчерк пера каллиграфа! Ни малейшего усилия! А на обратной стороне видите: светский бал! Это — зима и лето! А орнамент какой! И как все замечательно сохранилось! Вот посмотрите, колечко золотое, и с двух сторон по крошечному рубину, которые я отмыл!

— Если это действительно так, я не могу принять от вас столь дорогой подарок. Лучше вы его выгодно продайте,— сказала супруга председателя суда, хотя ей очень хотелось получить этот великолепный веер.

— Пора, чтобы предмет, служивший пороку, перешел в руки добродетели! — изрек Понс, обретя некоторую уверенность.— Чтоб произошло такое чудо, понадобилось сто лет. Уверяю вас, что при дворе ни у одной принцессы не будет ничего подобного; ибо, к сожалению, таково свойство человеческой природы — всяким мадам де Помпадур стараются угодить куда больше, чем добродетельной королеве!

— Хорошо, принимаю ваш подарок,— сказала, смеясь, г-жа де Марвиль.— Сесиль, ангел мой, пойди позаботься вместе с Мадлен, чтоб обед пришелся по вкусу кузену...

Супруга председателя не хотела остаться в долгу у своего родственника. Распоряжение, отданное вслух, вопреки правилам хорошего тона, было так похоже на добавочную плату, что Понс покраснел, как провинившаяся барышня. Эта уж чересчур крупная песчинка еще долго бередила ему душу. Сесиль, рыжеволосая, моло-

дая особа, в манерах которой сказывалась судейская спесь отца и черствость матери, вышла, оставив бедного Понса один на один с грозной председательшей.

— Лили удивительно мила,— умилилась г-жа де Марвиль, все еще называвшая дочь уменьшительным именем, как в детстве.

— Очаровательна! — поддакнул старик музыкант, вертя большими пальцами.

— Но что нынче за времена, никак не пойму,— сказала г-жа де Марвиль.— Какой толк в таком случае быть дочерью председателя Парижского суда, командора ордена Почетного легиона и внучкой депутата и миллионера, в будущем пэра Франции, самого богатого оптового торговца шелком?

За свою преданность новой династии председатель суда недавно был пожалован орденской лентой Почетного легиона, и кой-кто из числа его завистников приписывал подобную милость дружбе с Попино. Господин министр, при всей своей скромности, как мы уже видели, исхлопотал себе графский титул. «Для сына стараюсь»,— говорил он своим многочисленным друзьям.

— В наши дни все только деньгами и интересуются,— ответил кузен Понс,— только богатых и уважают и...

— Что было бы, если бы господь бог не прибрал к себе Шарля, бедного моего мальчика!..

— О, при двух детях вы просто были бы бедными людьми,— подхватил кузен.— Вот оно, следствие равного раздела имущества; не расстраивайтесь, очаровательная кузина, в конце концов вы выдадите Сесиль замуж. Другой такой во всех отношениях приятной девицы нигде не сыщешь.

Вот до чего Понс проел за чужим столом способность к самостоятельному суждению — он повторял мысли своих амфитрионов и, наподобие античного хора, делал к ним комментарии, надо сказать, довольно пошлые. Он не решался высказывать свойственную артистам оригинальность взглядов, которая отличала в молодости его пересыпанную блестками остроумия речь, а теперь, из-за его привычки держаться в тени, почти совсем исчезла; если же ему случалось, как в вышеизложенном разговоре, вновь блеснуть, его сейчас же осаживали.

— Но я-то вышла замуж, а за мной дали всего двадцать тысяч приданого...

— Так ведь то было в тысяча восемьсот девятнадцатом году, сестрица,— перебил ее Понс.— А потом это же вы, особа энергичная,— девица, которой покровительствовал король Людовик Восемнадцатый!

— Но моя дочь — ангел, она добра, умна, у нее золотое сердце; за ней сто тысяч приданого, не говоря уже о блестящих перспективах, и никак мы ее с рук не сбудем...

Госпожа де Марвиль целых двадцать минут толковала о себе и о своей дочке, плачась на судьбу, как все матери, у которых дочери на выданье. Вот уже двадцать лет старик музыкант обедал в доме своего единственного родственника и до сих пор еще не дождался, чтобы кто-нибудь из семьи Камюзо хоть раз справился, как он живет, что делает, здоров ли? Впрочем, на Понса всюду смотрели, как на поверенного всяких домашних тайн. На его скромность можно было вполне положиться; она была всем известна и, кроме того, неизбежна, ибо, попробуй он обмолвиться хоть словом, и перед ним закрылись бы двери десяти домов; итак, исполняя роль наперсника, он вынужден был то и дело поддакивать, на все отвечать улыбкой, никого не обвинять и не защищать; у него все оказывались правы. И с ним перестали считаться как с человеком, в нем видели только желудок. В длинной тираде супруга председателя суда призналась, правда, не без обиняков, что, почти не задумываясь, согласилась бы на любую партию, которая представится ее дочери. Она договорилась до того, что сочла бы завидным женихом человека сорока восьми лет, будь только у него капитал, дающий двадцать тысяч франков дохода.

— Сесиль пошел двадцать третий год, и, если на беду она засидится в девушках до двадцати пяти — двадцати шести, просватать ее будет ох как трудно! Тут уж всякий призадумается, почему эту молодую особу так долго не могут пристроить. И так в нашем кругу это вызывает много толков. Обычные доводы мы все исчерпали: «Она еще молода.— Она слишком привязана к родителям и не хочет с нами расставаться.— Ей и дома хорошо.— На нее не угодишь, она метит за дворянина!»

Мы становимся общим посмешищем, я сама знаю. Да и Сесиль истомилась, бедняжечка, страдает...

— Почему же страдает? — наивно спросил Понс.

— Да ей же обидно, что все ее подруги выскочили замуж раньше нее,— возразила мать с видом дуэньи.

— Сестрица, что же такое случилось с того дня, как я имел удовольствие обедать здесь в последний раз, почему вы уже о сорокавосьмилетних женихах поговариваете? — смиренно спросил бедняга музыкант.

— А то и случилось,— ответила председательша,— что мы должны были свидеться с одним членом суда, человеком очень состоятельным, отцом тридцатилетнего сына, которого господин де Марвиль мог бы при наличии денег устроить на должность докладчика в государственном контроле. Молодой человек уже служит там сверхштатным. А тут, извольте видеть, нас уведомили, что сынок выкинул фортель и удрал в Италию вслед за какой-то актеркой, с которой познакомился на маскараде в зале Мабиль... Это вежливый отказ. Считают, что наша дочь не пара для молодого человека, который после смерти матери уже имеет тридцать тысяч франков дохода и еще ожидает отцовское наследство. Так что вы уж извините нашу нелюбезность, дорогой братец: вы попали в самую что ни на есть неподходящую минуту.

Пока Понс сочинял учтивый комплимент, который в тех случаях, когда он боялся своих амфитрионов, обычно не поспевал вовремя, вошла Мадлена, подала хозяйке записку и стала дожидаться ответа. Вот что было в записке:

«Дорогая маменька, что, ежели нам сказать, будто эту записку прислал из присутствия папенька; что он зовет нас в гости к одному из своих друзей, где должен возобновиться разговор о моем сватовстве; пожалуй, кузен Понс тогда уйдет, и мы сможем, как и предполагали, поехать к Попино».

— С кем барин прислал записку? — быстро спросила г-жа де Марвиль.

— С рассыльным из суда,— нагло соврала сухая, как жердь, Мадлена.

Своим ответом старая субретка дала понять хозяйке, что они с Сесиль, которой не терпелось ехать в гости, сговорились и действовали сообща.

— Скажите, что мы с дочерью будем к половине шестого.

Как только Мадлена вышла, г-жа де Марвиль посмотрела на кузена Понса с той фальшивой любезностью, которая для человека чувствительного столь же приятна, как молоко с уксусом для сладкоежки.

— Дорогой братец, я распорядилась обедом, покушайте без нас, видите ли, муж пишет из присутствия, что расстроившийся было разговор о сватовстве возобновляется и нас зовут обедать к тому самому члену суда... Надеюсь, вы поймете! Какие могут быть между нами церемонии. Располагайтесь, как дома. С вами я вполне откровенна, секретов от вас у меня нет... Ведь не захотите же вы, чтобы из-за вас расстроилось замужество нашего ангела?

— Что вы, сестрица, да я, наоборот, от всей души хотел бы найти ей жениха; но в том кругу, где вращаюсь я...

— Об этом и речи быть не может,— оборвала его г-жа де Марвиль.— Итак, вы остаетесь? Сесиль займет вас, а я тем временем переоденусь.

— Я, кузина, могу пообедать и в другом месте,— сказал Понс.

Он был жестоко обижен, что супруга председателя суда так неделикатно попрекнула его бедностью, а перспектива остаться наедине с прислугой была ему еще того неприятнее.

— Но почему же?.. Обед готов, не отдавать же его прислуге.

Услышав эти ужасные слова, Понс выпрямился, как под воздействием гальванического тока, холодно поклонился родственнице и пошел за спенсером. Дверь спальни Сесиль, выходившая в гостиную, была приоткрыта, и в висевшем напротив зеркале Понс увидел мадемуазель де Марвиль, которая, трясясь от смеха, мимикой и жестами переговаривалась с матерью, из чего он догадался, что его одурачили самым подлым образом. Едва удерживаясь от слез, Понс медленно спустился по лестнице: он понял, что из этого дома его выгнали, но не знал, за что.

«Я состарился,— думал он.— Старостью и бедностью все тяготятся, и та и другая безобразны. С этого дня я никуда не буду ходить без приглашения».

Героические слова!..

Дверь в кухню, находившуюся в первом этаже, напротив швейцарской, часто не закрывали, как это обычно водится, когда дом занимают сами хозяева и ворота держатся на запоре; и Понс услышал смех кухарки и лакея, которых Мадлена, никак не предполагавшая, что бедный родственник ретируется так быстро, потешала рассказом о том, какую комедию разыграли с Понсом. Лакей был в восторге, что так подшутили над их постоянным гостем, дававшим только к Новому году экю на чай.

— Так-то оно так, но если он разобидится и перестанет ходить, пропали наши новогодние три франка...— заметила кухарка.

— Да откуда же он узнает?—отозвался лакей.

— Ах, днем раньше, днем позже, не все ли равно? — подхватила Мадлена.— Он так осточертел всем, у кого обедает, что скоро его отовсюду выгонят.

Тут старый музыкант крикнул в швейцарскую:

— Отворите, пожалуйста, дверь!

Этот крик души был встречен в кухне гробовым молчанием.

— Он подслушивал,— сказал лакей.

— Ну, что же, тем *хужее*, или тем лучше,— возразила Мадлена.— Так ему, блюдолизу, и надо!

Бедный кузен Понс, ни слова не пропустивший из кухонного разговора, услышал еще и этот последний комплимент. Он чувствовал себя не лучше, чем старая, беспомощная женщина, на которую напали грабители. Громко сам с собой разговаривая, шел он бульварами домой. Он судорожно ускорял шаг, подгоняемый оскорбленным чувством собственного достоинства, точно соломинка яростным порывом ветра. Наконец в пять часов дня он очутился на бульваре Тампль, сам не зная, как он туда попал. И, странное дело, он совсем не ощущал голода.

Теперь необходимо сдержать обещание и рассказать о мадам Сибо, иначе непонятен будет тот переполох, который должно было вызвать возвращение Понса домой в столь неурочный час.

Очутившись на такой улице, как Нормандская, всякий решил бы, что попал в провинцию: трава растет там, где ей вздумается, случайный прохожий — событие, все

там знают своих соседей. Дома стоят там со времени царствования Генриха IV, когда задумали построить квартал, где все улицы должны были называться по какой-либо провинции, а в центре разбить великолепную площадь в честь Франции. Идея Европейского квартала, собственно говоря, только повторение этого проекта. В мире все повторяется, все решительно, даже замыслы градостроителей.

Оба музыканта проживали в старинном особняке, выходившем одной стороной в сад, другой во двор. Но в прошлом веке, когда квартал Марэ вошел в моду, к дому пристроили еще передний корпус, фасадом на улицу. Друзья занимали весь третий этаж старого особняка. Домовладелец, восьмидесятилетний г-н Пильеро, возложил управление этим двойным домом на супругов Сибо, уже двадцать шесть лет служивших у него в привратниках. В Марэ привратники получают не бог весть какое жалованье, и папаша Сибо, как и многие привратники, подрабатывал на прожиток портновским ремеслом, прибавляя таким образом известную сумму к пяти процентам, что полагались ему с квартирной платы, и к дровишкам, которые он аккуратно изымал в свою пользу с каждого воза. Постепенно Сибо перестал работать на хозяев, ибо теперь он пользовался доверием среди мелкой буржуазии своего квартала, и никто не оспаривал его привилегии чинить, латать, перелицовывать одежду всех жителей трех ближайших улиц. Швейцарская была просторная и светлая, да еще с добавочной комнатой. И остальные привратники почитали супругов Сибо счастливейшей четой.

Тщедушный и невзрачный Сибо позеленел от постоянного сидения с поджатыми по-турецки ногами на столе, приходившемся вровень с решетчатым окном, которое смотрело на улицу. Он выколачивал шитьем около сорока су в день и не бросал работы, хотя ему стукнуло уже пятьдесят восемь лет; но пятьдесят восемь лет для привратников — самый что ни на есть лучший возраст; они свыкаются с швейцарской, теперь она для них все равно что раковина для устрицы, а главное, в квартале они уже *свои люди*.

Мадам Сибо, прославленная в свое время красотка, торговавшая устрицами в трактире «Голубой цифер-

блат», полюбив в двадцативосьмилетнем возрасте Сибо, покинула стойку после жизни, богатой любовными приключениями, которых не может избежать ни одна смазливая трактирная служанка. Красота женщин из простонародья недолговечна, особенно когда они годами восседают за трактирной стойкой. Лицо грубеет, так как на него пышет жаром от плиты; румянец под влиянием вина принимает багровый оттенок, ибо все, что остается в бутылках, допивается в компании трактирных слуг. Красота трактирных служанок отцветает очень быстро. К счастью для мадам Сибо, она вовремя вступила в законный брак и поселилась в швейцарской, благодаря чему ей удалось сохранить свою мужественную красоту; она походила на рубенсовскую натурщицу, и завистницы с Нормандской улицы совершенно напрасно называли ее откормленной индюшкой. Ее пышные телеса могли поспорить своим глянцем с аппетитно поблескивающими кругами деревенского масла; несмотря на полноту, она была необыкновенно подвижна. Мадам Сибо достигла того возраста, когда такого типа женщине уже приходится прибегать к бритве. Это значит, что ей было под пятьдесят. Усатая привратница — самая верная гарантия порядка и спокойствия в доме. Если бы Делакруа мог видеть, как мадам Сибо гордо опирается на метлу, он бы, не задумываясь, изобразил ее в виде Беллоны.

Как это ни странно, но супружеской чете Сибо в дальнейшем суждено было — выражаясь языком обвинительных актов — оказать пагубное влияние на судьбу обоих друзей; посему, в целях правдивости, рассказчику надлежит несколько задержаться и подробнее обрисовать жизнь в швейцарской. Дом приносил около восьми тысяч франков, ибо в нем было три квартиры на улицу и три в бывшем особняке, окруженном двором и садом. Кроме того, торговец железным ломом, по имени Ремонанк, снимал лавку, выходившую на улицу. Этот самый Ремонанк, последнее время поторговывавший старинными вещами, отлично знал «музейную ценность» Понса и кланялся ему с порога лавки, когда тот выходил из подъезда или возвращался домой. Итак, пять процентов с прибыли, приносимой домом, давали примерно четыреста франков семейству Сибо, да, кроме того, им ничего не стоили квартира и отопление. Жалованье су-

пругам Сибо было положено от семисот до восьмисот франков в год, таким образом, все их доходы составляли вместе с праздничными чаевыми тысячу шестьсот франков, которые они проедали в буквальном смысле этого слова, так как жили лучше, чем обычно живет простой народ. «Живешь-то всего раз!» — говаривала тетка Сибо. Она родилась во время Революции и, как может убедиться читатель, не проходила катехизиса.

Из своего пребывания в трактире «Голубой циферблат» эта привратница с высокомерным взглядом янтарных глаз вынесла кое-какие познания по части кулинарии, и ее мужу завидовали все его собратья по ремеслу. Дожив до зрелого возраста, уже на пороге старости, супруги Сибо еще ничего не отложили про черный день. Они хорошо ели, хорошо одевались и пользовались в своем квартале уважением за двадцатишестилетнюю неподкупную службу. Правда, у них не было никаких сбережений, но зато они, *значить*, не должны были никому ни сантима, как говорила тетка Сибо, иногда в своей речи смягчавшая почему-то согласные. Она говорила мужу: «Ты у меня *перьвый* красавец!» Почему? Спрашивать об этом так же бесполезно, как спрашивать о причине ее равнодушия к вопросам религии. Оба супруга гордились жизнью, прожитой на виду у всего квартала, уважением, которым пользовались на своей и на соседних улицах, и неограниченной властью над домом, дарованной им хозяином, но втайне они огорчались, что ничего не скопили на старость. Муж жаловался на ломоту в руках и ногах, а жена сетовала, что ему, бедняжке, в его возрасте все еще приходится гнуть спину над работой. Наступят еще и такие времена, когда привратник после тридцати лет беспорочной службы обвинит правительство в несправедливости и потребует себе орден Почетного легиона! Всякий раз, как досужие кумушки приносили весть, что хозяева отказали в своем завещании служанке, прослужившей у них восемь или десять лет, триста — четыреста франков пожизненной ренты, в швейцарских подымались охи да ахи, которые могут дать представление о зависти, снедающей в Париже представителей низших профессий.

— Нам, небось, никто ничего не *откажеть!* Нам такого счастья не *привалить!* А ведь работаем мы больше

прислуги. Нам *доверяють*, мы получаем квартирную плату, смотрим за домом, а *глядять* на нас, как на собак, вот оно что!

— Кому удача, а кому незадача,— вздыхал Сибо, относя заказчику починенную одежду.

— Надо было оставить Сибо в швейцарах, а самой *пойтить* в кухарки, у нас бы уже тридцать тысяч на книжке лежали,— уперев кулаки в мощные бедра, рассуждала тетка Сибо с соседкой,— неправильно я о жизни понимала. Думала, крыша над головой есть, тепло, сыта, обута, одета и все тут.

Въехав в 1836 году в квартиру на третьем этаже старого особняка, оба друга произвели настоящий переворот в хозяйстве Сибо. И вот каким образом. И Шмуке и Понс обычно пользовались услугами привратников или привратниц тех домов, где они снимали квартиру. Поселившись на Нормандской улице, они договорились с теткой Сибо, которая за двадцать пять франков в месяц, по двенадцать франков пятьдесят сантимов с человека, взялась их обслуживать. Не прошло и года, и деловитая привратница уже так же неограниченно распоряжалась хозяйством обоих холостяков, как и домом г-на Пильеро, двоюродного деда супруги графа Попино; она принимала близко к сердцу дела обоих музыкантов и называла их: *мои господа*. Убедившись, что старички-щелкунчики покладисты, смирны, как ягнята, и доверчивы, как дети, она привязалась к ним всем своим любвеобильным сердцем простой женщины, пеклась о них и служила им с искренней преданностью, иной раз журила и зорко оберегала от всякого рода надувательства, которое часто тяжелым бременем ложится на бюджет парижанина. Наши холостяки, сами того не думая и не подозревая, приобрели за двадцать пять франков в месяц мать родную. Поняв, какой клад они нашли в мадам Сибо, и тот и другой в простоте душевной хвалили ее в глаза и за глаза и старались отблагодарить словами и скромными подарками, от чего их добрые отношения еще упрочились. Тетке Сибо гораздо дороже денег было признание ее заслуг; хорошо известно, что для души такая похвала равносильна прибавке к жалованью. Сам Сибо за полцены чинил одежду *господам* своей жены, помогал чем мог в хозяйстве, исполнял всякие поручения.

Кроме того, на второй год их знакомства еще новое обстоятельство упрочило дружественную связь между третьим этажом и швейцарской. Шмуке заключил с мадам Сибо договор, вполне отвечавший его ленивой натуре и желанию жить без хлопот. За тридцать су в день, иначе за сорок пять франков в месяц, тетка Сибо взялась кормить Шмуке завтраком и ужином. Понс, рассудив, что завтрак его друга совсем не плох, также договорился получать завтрак за восемнадцать франков в месяц. При таком порядке ежемесячные доходы швейцарской возросли примерно на девяносто франков, и теперь против обоих жильцов нельзя было слово сказать: они стали ангелами, херувимами, святыми. Навряд ли сам король французов — а он избалован вниманием — был окружен большей заботой, чем старички-щелкунчики. Молоко им подавалось неснятое, они бесплатно пользовались газетами, которые получали поздно встающие нижние и верхние жильцы, а в случае чего тем можно было сказать, что газет еще не подавали. Мадам Сибо держала в образцовом, чисто фламандском порядке все: квартиру, одежду, лестницу. Шмуке и надеяться не смел на такое счастье; привратница сняла с него все заботы; он платил около шести франков в месяц за стирку, которую, так же как и починку белья, она взяла на себя. Пятнадцать франков шло на табак. Эти три статьи расхода составляли ежемесячную сумму в шестьдесят шесть франков, если же умножить эту сумму на двенадцать, она даст семьсот девяносто два франка. Прибавьте к этому двести двадцать франков на квартиру и налоги, и получится тысяча двенадцать франков. Привратник Сибо одевал Шмуке, и этот последний расход составлял в среднем полтораста франков. Итак, наш мудрый философ жил на тысячу двести франков в год. Сколько людей в Европе, только и мечтающие о жизни в Париже, будут приятно изумлены, узнав, что там, на Нормандской улице, в квартале Марэ, под крылышком тетки Сибо, можно вести счастливое существование на тысячу двести франков!

Мадам Сибо удивилась, увидя Понса, который возвращался домой в пять часов дня. Но не только это беспримерное событие поразило ее воображение, *барин* не заметил ее, не поздоровался.

— Слушай, Сибо,— сказала она мужу,— господин Понс или разбогател, или спятил!

— Я сам так думаю,— отозвался Сибо, откладывая в сторону фрак, рукав которого он, выражаясь на портновском языке, штуковал.

В тот момент, когда Понс растерянно входил в дом, тетка Сибо как раз кончала стряпать обед для Шмуке. По всему двору распространялся аромат жарившегося рагу, на которое пошло вареное мясо, купленное в третьеразрядной кухмистерской, торговавшей остатками. Тетка Сибо поджаривала в масле ломтики мяса с мелко нарезанным луком до тех пор, пока мясо и лук не впитают все масло, и тогда это излюбленное в швейцарских блюдо становилось похоже на жаркое. Это кушанье, любовно состряпанное для Сибо и Шмуке, между которыми оно делилось по-братски, бутылка пива и кусок сыра вполне удовлетворяли старого немца-музыканта, и, поверьте мне, сам царь Соломон во всей своей славе обедал не лучше. Меню Шмуке состояло то из описанной выше вареной говядины, поджаренной с луком, то из обрезков курицы, протомленных в масле, то из мяса с петрушкой, то из рыбы под соусом собственного изготовления тетки Сибо, таким вкусным, что мать скушала бы с ним своего младенца и не заметила бы, то из остатков дичи — словом, и качество и количество обедов зависело от того, какие остатки спустят рестораны на Бульварах владельцу кухмистерской с улицы Бушера. И Шмуке, ни слова не говоря, довольствовался тем, что ему подавала *милейшая мадам Зибо*. И день за днем милейшая мадам Сибо все урезывала порции, так что в итоге стала укладываться в двадцать су.

— Пойду узнаю, что же с ним стряслось, с дорогим моим голубчиком,— сказала привратница мужу.— И обед господину Шмуке готов.

Тетка Сибо накрыла глиняную миску простой фаянсовой тарелкой и затем, несмотря на возраст, проявила такую прыть, что поспела как раз в ту минуту, когда Шмуке отворял дверь Понсу.

— *Што с тобой слютшилось, милий друг?* — спросил немец, испуганный расстроенным видом Понса.

— Все тебе расскажу; знаешь, я пообедаю с тобой...

— *Пообьедаешь! Пообьедаешь зо мной!* — в востор-

ге воскликнул Шмуке.— *Да как ше это восмошно!* — прибавил он, вспомнив, каким чревоугодником был его друг.

Тут старичок немец увидел привратницу, которая, пользуясь своим правом законной домоправительницы, стояла и слушала. И под влиянием внезапной мысли, иногда зарождающейся у истинных друзей, он вызвал тетку Сибо на площадку:

— *Мадам Зибо, мой добрий Понс любит отшен вкусно покушать, ходите в «Голюбой цифферблят», восьмите там хороший обьед, антшоузы, макарони! Сльовом — закашите обьед, как у Люкуль!*

— Чего такое? — переспросила тетка Сибо.

— *Ну, телятшье шаркое по-домашнему, лютшего вина, бутильку бордо и што из закузок полютше — пирошки с ризом, копшеное зало! Заплятите не торговаясь, я вам завтра утром буду отдать.*

Немец вернулся в комнату, потирая от удовольствия руки; но, по мере того как друг поверял ему все беды, разом свалившиеся на его голову, выражение лица Шмуке изменялось. Он попробовал утешить Понса, изобразив свет таким, каким он представлялся ему самому. Париж — это вечный водоворот, уносящий мужчин и женщин в вихре безумного вальса, что можно ожидать от света? Он интересуется только внешней, а не внутренней *шиснью*. Шмуке в сотый раз рассказал о своих любимых ученицах; он охотно отдал бы за них жизнь, они его обожают, они даже назначили ему небольшую пенсию в девятьсот франков, в которой участвуют равными долями по триста франков каждая, и что же? Эти самые ученицы из года в год забывают навещать его, их так закрутил поток парижской жизни, что за последние три года они даже не могли принять его, когда он приходил к ним с визитом. (Правда, надо сказать, что Шмуке являлся с визитом к этим светским дамам в десять часов утра.) Словом, пенсия выплачивалась ему по кварталам через нотариуса.

— *А у них зольотое зерце,*— говорил он.— *Сльовом, ангели, отшаровательни шенщини, мадам де Портантюер, мадам де Ванденес, мадам де Тиле. Иногда я на них любоваюсь на Элизейских полях, но они менья не заметшают... а ведь они менья любят, я мог бы пойти*

к ним пообедать, они били б отшень доволен. Я могу ехать к ним на имение. Но я предпотшитаю шить с моим другом Понсом, потому што его я вишу когда котшу, ешедневно.

Понс взял руку своего друга в обе свои, вложив в это пожатие всю душу, и так они простояли несколько мгновений, словно двое влюбленных, свидевшихся после долгой разлуки.

— *Обьедай всегда зо мной!..*— воскликнул Шмуке, в душе благословлявший жестокосердие супруги председателя суда.— *Послюшай, ми будем вместе зобирать старие безделюшки, и ни одна тшерная кошка не пробешит мешду нами.*

Чтобы стали понятны эти поистине героические слова «будем вместе собирать старые безделушки», укажем, что Шмуке был полным профаном по части старины. И если он до сих пор ничего не разбил в гостиной и в комнате, отведенной под понсовский музей, то лишь в силу своей любви к другу. Шмуке целиком отдавался музыке, сочинял для собственного наслаждения и на безделушки своего друга смотрел словно щука, попавшая по пригласительному билету на Люксембургскую выставку цветов. Он относился с почтительным удивлением к этим чудесным произведениям искусства уже потому, что видел, с каким благоговением Понс сдувал пылинки со своих сокровищ. И на восторги своего друга отвечал: «*Да, отшень кразиво!*» — не вкладывая в свои слова особого смысла, вроде того как мать отвечает ничего не значащими фразами на лепет ребенка, еще не научившегося говорить. За то время, что они жили вместе, Понс семь раз обзаводился новыми стенными часами, каждый раз выменивая худшие на лучшие. Сейчас ему принадлежали прекрасные часы Буль черного дерева с инкрустацией медью и резьбой, сделанные в ранней манере Буля. Буль работал в двух манерах, как Рафаэль, например, работал в трех. Ранний Буль сочетал черное дерево с бронзой, а позднее, вразрез с собственными убеждениями, стал отдавать предпочтение черепахе; он творил чудеса, чтоб перещеголять своих соперников, первыми прославившихся искусством инкрустации из черепахи. Шмуке, несмотря на ученые объяснения Понса, не видел ни малейшей разницы между великолепными часами в ранней ма-

нере Буля и шестью остальными. Но чтоб не омрачать радости своего друга, старик немец обращался со всеми этими безделушками еще бережнее, нежели сам Понс. Поэтому нет ничего удивительного, что поистине трогательные слова Шмуке *«ми будем вместе зобирать старие безделюшки»* могли утешить разогорченного Понса, ибо они означали: если ты будешь обедать дома, я готов из собственного кармана давать тебе на покупку старины.

— Кушать подано! — с поразительным чувством собственного достоинства доложила вошедшая мадам Сибо.

Читатель легко поймет, как был удивлен Понс, увидев и отведав обед, которым его угостил преданный друг. Такими редкими в жизни переживаниями мы бываем обязаны не испытанной дружбе, не непрестанным увереньям: «Ты для меня все равно, что я сам»,— к этому привыкаешь. Нет, такие переживания рождаются при сравнении радостей домашней жизни с жестокостью жизни светской. Так благодаря свету крепнут узы, соединяющие две возвышенные души, связанные дружбой или любовью. Поэтому-то Понс и смахнул две крупные слезы, и Шмуке тоже вытер глаза. Они не проронили ни слова, но любовь их стала еще сильнее, а боль, причиненная песчинкой, попавшей в сердце Понса по вине супруги председателя суда, улеглась под воздействием целительных, как бальзам, нежных взглядов друга. Старичок немец потирал руки так усердно, что чуть не содрал с них кожу, ибо его осенила мысль, внезапность которой поразила его немецкий ум, скованный почтительностью к высочайшим особам.

— *Добрий друшок мой Понс...*— сказал Шмуке.

— Я догадался, ты хочешь, чтоб мы всегда обедали вместе...

— *Я хотель би бить богат, штоб каждый день угошать тебья таким обьедом...*— грустно ответил добрый немец.

Тут тетка Сибо, которой Понс время от времени давал билеты в театр, благодаря чему он занял в ее сердце то же место, что и ее нахлебник Шмуке, выступила со следующим предложением:

— За три франка я, *значить*, могу вас обоих каждый день кормить, только уж, *значить*, без вина, да так, что вы тарелки оближете и мыть не придется.

— *Дольшен сказать,*— ответил Шмуке,— *што я обьедаю вкуснее тем, что будет приготовлять милейшая мадам Зибо, тшем тшельовек, которий будет кушать за королевски столь.*

Бедному Шмуке так хотелось, чтобы осуществились его мечты, что при всей своей немецкой почтительности он последовал по стопам не щадящих авторитеты газетных листков и охаял королевский стол за его мещанскую скромность.

— Да ну? — удивился Понс.— Хорошо, с завтрашнего дня попробуем!

Обрадованный этим обещанием, Шмуке вскочил с места, увлекая за собой скатерть вместе с тарелками и графинами, и заключил Понса в свои объятия с такой силой, с какой газ соединяется с другим, родственным ему газом.

— *Какое тшастье!* — воскликнул он.

— Вы не захотите обедать нигде, кроме как дома! — гордо заявила растроганная тетка Сибо.

Так и не узнав, какому событию она обязана осуществлением своей мечты, превосходная мадам Сибо спустилась с лестницы и вошла в швейцарскую с тем видом, с каким Жозефа̀ выходит на сцену в «Вильгельме Телле». Она поставила блюда и тарелки и крикнула:

— Сибо, сбегай за двумя чашечками кофе в «Турецкую кофейню» да скажи там, что это для меня!

Затем она уселась у окна, опершись обеими руками на свои мощные колена и уставившись в стену напротив дома.

— Сегодня же вечером пойду посоветоваться к мадам Фонтэн.

Мадам Фонтэн гадала всем кухаркам, горничным, лакеям, привратницам и прочим в Марэ.

— С тех пор как мои господа сняли у нас квартиру, мы отложили на книжку две тысячи франков. За восемь лет не плохо! Может быть, лучше не наживаться на обедах господина Понса, чтоб он не кормился на стороне? Курица мадам Фонтэн все мне расскажет.

Тетка Сибо уже три года льстила себя надеждой, что *ее господа,* у которых как будто не было наследников, не забудут о ней в своем завещании. Она удвоила свое усердие под влиянием корыстной мысли, очень поздно

зародившейся у этой усатой красавицы, до тех пор безупречно честной. Понс, ежедневно обедавший в гостях, в какой-то мере ускользал из-под опеки тетки Сибо, которая мечтала полностью подчинить себе *своих господ.* Постоянные отлучки старого дамского угодника и коллекционера и прежде не давали покоя привратнице, и она уже вынашивала смутные надежды на обольщение, и с этого памятного обеда в голове ее созрел грозный план. Спустя четверть часа тетка Сибо опять появилась в столовой, на этот раз вооруженная двумя чашками превосходного кофе и двумя рюмочками киршвассера.

— *Да здравствует мадам Зибо!* — воскликнул Шмуке.— *Ви угадали мое шелание!*

После обеда старый прихлебатель снова посетовал на судьбу. Шмуке опять постарался утешить его с той же нежностью, с которой голубь-домосед утешал, надо полагать, голубя, воротившегося из дальних странствий. Шмуке решил проводить Понса в театр, так как не хотел оставлять в одиночестве своего друга, расстроенного выходками господ и прислуги в доме председателя суда Камюзо. Он знал Понса и понимал, что в оркестре, за дирижерским пультом, на того могло напасть горькое раздумье, способное отравить радость возвращения в родное гнездо. Идя домой около полуночи, Шмуке бережно вел Понса под руку, словно влюбленный обожаемую возлюбленную; он предупреждал его каждый раз, когда надо было сойти с тротуара, перешагнуть через канаву; будь это в его силах, он превратил бы камни под ногами Понса в пуховую перину, небо над его головой — в безоблачную лазурь, мелодию, которую пели в его душе ангелы,— в громкое ликующее песнопение. Теперь он завоевал последний уголок в сердце друга, еще не принадлежавший ему!

Около трех месяцев Понс каждый день обедал дома вместе со Шмуке. Сначала ему пришлось урезать свои ежемесячные приобретения на восемьдесят франков для того, чтобы прибавить франков тридцать пять на вино к тем сорока пяти, которые стоил обед. Затем, несмотря на заботы и тяжеловесные немецкие шутки своего друга, старый музыкант стал скучать по деликатесам, по рюмочке ликера, черному кофе, светской болтовне, неискренним любезностям, по гостям и сплетням тех

домов, где раньше обедал. Не так-то легко на склоне жизни расстаться с привычками тридцатишестилетней давности. Вино, цена которому сто тридцать франков за бочку, не для стакана тонкого знатока; и каждый раз, поднося этот стакан к губам, Понс с мучительным сожалением вспоминал дорогие вина бывших своих амфитрионов. Итак, к концу третьего месяца острая боль, чуть было не сокрушившая нежное сердце Понса, позабылась; теперь он вспоминал только приятности светской жизни совершенно так же, как старый волокита с сожалением вспоминает о любовнице, оставленной из-за ее частых измен. Хотя наш старый музыкант и пытался скрыть снедающую его глубокую печаль, было совершенно очевидно, что на него напал один из тех необъяснимых недугов, причину которых надо искать в нашем душевном состоянии. Для объяснения тоски, овладевающей человеком, после того как он порвал с любимой привычкой, достаточно будет указать на один из тех многочисленных пустяков, которые, сцепляясь друг с другом, подобно колечкам кольчуги, сжимают душу железной сетью. Одной из самых больших услад в прежней жизни Понса, одним из удовольствий старого блюдолиза был гастрономический *сюрприз*, неожиданное вкусовое ощущение от необычного кушанья, от лакомства, которое торжественно подавалось на стол, когда хозяйка дома хотела, чтоб ее семейная трапеза выглядела званым обедом. Понсу как раз и недоставало этого наслаждения гурманов, ибо тетка Сибо, гордая своими обедами, заранее сообщала ему меню. Таким образом, из его жизни окончательно исчезла та изюминка, которая придавала ей особую прелесть. Его обед проходил без неожиданностей, без того, что за столом наших предков называлось *закрытым блюдом.* Вот этого-то и не мог понять Шмуке. Понс был очень щепетилен и не жаловался, а если и есть на свете что-нибудь печальнее непризнанного гения, так это непонятый желудок. Сколь часто преувеличивают, и без достаточного на то основания, трагедию отвергнутой любви,— пусть нас покинуло любимое создание, будем любить Создателя, ибо сокровища его неисчерпаемы! Но желудок!.. Страдания желудка ни с чем не сравнимы, ибо жизнь прежде всего! Понс грустил по кремам, которые он едал,—не крем, а поэма! По белому

соусу — не соус, а произведение искусства! По птице с трюфелями — пальчики оближешь! И больше всего — по знаменитым рейнским карпам, которые кушают только в Париже и — ах, с какой приправой! Бывали дни, когда Понс громко вздыхал: «О Софи!» — вспоминая повариху графа Попино. Прохожий, услышав его вздохи, подумал бы, что он грустит о предмете своей любви, но он вздыхал по более редкому предмету — по жирному карпу! И по подливе в соуснике, прозрачной на вид, жирной на вкус, по подливе, достойной Монтионовской премии. От воспоминаний о съеденных обедах Понс заметно худел, ибо его снедала желудочная тоска.

Когда пошел четвертый месяц, к концу января 1845 года, молодой флейтист по имени Вильгельм, как почти все немцы, и по фамилии Шваб, в отличие от прочих Вильгельмов, но не от прочих Швабов, счел необходимым поговорить со Шмуке насчет их капельмейстера, состояние которого начинало внушать опасение всему театру. Разговор произошел в день первого представления, когда были заняты инструменты, на которых играл старый немец.

— Наш капельмейстер заметно слабеет, что-то у него не в порядке, глядит невесело, палочкой машет не так энергично,— сказал Вильгельм Шваб, указывая на Понса, который с мрачным видом подходил к пюпитру.

— *Он имеет шестьдесят лет,*— возразил Шмуке.

Подобно матери из «Кэнонгейтских хроник», которая, ради того чтобы лишние сутки пробыть с сыном, подвела его под расстрел, Шмуке был способен принести Понса в жертву ради удовольствия ежедневно обедать с ним за одним столом.

— Все в театре обеспокоены, а мадемуазель Элоиза Бризту, наша прима-балерина, говорит, что он даже сморкаться стал теперь почти беззвучно.

Старый капельмейстер обычно сморкался так, словно трубил в рог,— такой громкий звук издавал его длинный и гулкий нос. Как раз за шумное сморкание супруга председателя суда чаще всего попрекала кузена Понса.

— *Я би все отдаль, штоб развлетшь его,*— сказал Шмуке.— *Ему дома скутшно.*

— Правду говоря, мне всегда казалось, что господин Понс не чета нам, мелким сошкам,— сказал Виль-

гельм Шваб,— поэтому я не решался пригласить его к себе на свадьбу. Я женюсь.

— *Как шенитесь?* — спросил Шмуке.

— Самым законным образом,— ответил Вильгельм, усмотревший в странном вопросе Шмуке насмешку, на которую этот добрый человек был неспособен.

— Прошу вас, господа, по местам! — сказал Понс после звонка директора, окинув оркестр взглядом полководца.

Исполнили увертюру к «Невесте дьявола» — феерии, выдержавшей в дальнейшем двести представлений. В первом антракте Вильгельм и Шмуке остались одни в опустевшем оркестре. Температура в зрительном зале поднялась до тридцати двух градусов по Реомюру.

— *Расскашите ше историю вашей шенитьби,*— попросил Шмуке Вильгельма.

— Вон, видите там, в ложе, молодого человека?.. Узнаете его?

— *Зовсем нет.*

— Это потому, что он в желтых перчатках и сияет, как медный грош; но это мой друг Фриц Бруннер из Франкфурта-на-Майне...

— *Тот, што сидель на шпектакль рядом с ви в оркестр?*

— Он самый. Правда, даже не верится, что возможна такая метаморфоза?

Герой обещанной истории принадлежал к той породе немцев, на лице которых одновременно запечатлены и мрачная насмешка гетевского Мефистофеля и прекраснодушие романов блаженной памяти Августа Лафонтена; хитрость и простота, чиновническая педантичность и нарочитая небрежность члена Жокей-клуба; но главным образом отвращение к жизни, то отвращение, которое вложило пистолет в руку Вертера, доведенного до отчаяния больше немецкими владетельными князьями, чем Шарлоттой. Он действительно был типичен для Германии; в нем сочетались чрезвычайное лихоимство и чрезвычайное простодушие, глупость и храбрость, всезнайство, наводящее тоску, опытность, совершенно бесполезная при его ребячливости; злоупотребление табаком и пивом; и дьявольский огонек в прекрасных усталых голубых глазах, примирявший все эти

противоречия. Фриц Бруннер, одетый с щеголеватостью банкира, сиял в зале лысиной тициановского колорита, обрамленной на висках белокурыми кудряшками, пощаженными нищетой и развратом, вероятно, только для того, чтобы дать ему право заплатить парикмахеру в день своего финансового расцвета. Лицо, некогда чистое и прекрасное, как лицо Иисуса Христа на картинах, потемнело, огненно-рыжие усы и борода придавали ему даже какой-то зловещий вид. От повседневных огорчений помутнела ясная лазурь очей, в которых его опьяненная любовью мать некогда узнавала свои собственные глаза, преображенные божественной красотой. Многоликая проституция Парижа положила густые тени вокруг его глаз. Этот преждевременно созревший философ, этот молодой старик был созданием рук своей мачехи.

Здесь мы расскажем любопытную повесть блудного сына из Франкфурта-на-Майне, совершенно необычную и невероятную для такого добропорядочного, хотя и совсем не захолустного города.

Господин Гедеон Бруннер, отец Фрица, был одним из тех известных франкфуртских трактирщиков, которые вкупе с банкирами и с соизволения закона опустошают кошельки посещающих город туристов, что не помешало ему быть честным кальвинистом и жениться на крещеной еврейке, приданое которой положило начало его благосостоянию. Жена-еврейка умерла, оставив двенадцатилетнего сына Фрица на попечение отца, но под опекой дяди со стороны матери, лейпцигского меховщика, возглавлявшего торговый дом «Вирлац и компания». Этот дядя, не столь мягкий, как его товар, потребовал, чтобы Бруннер-отец поместил неприкосновенный капитал молодого Фрица, превращенный в гамбургские марки, в дело Аль-Зартшильд. В отместку за такое еврейское требование Бруннер-отец женился во второй раз под тем предлогом, что в его огромной гостинице без женского глаза и рук никак нельзя. Женился он на дочери такого же, как и сам, трактирщика, которая казалась настоящим кладом. Но он еще не испытал на собственном опыте, что такое единственная дочь, перед которой отец и мать ходят на задних лапках. Вторая фрау Бруннер была такой, какой бывает молодая немка, если она

зла и легкомысленна. Она растратила свое состояние и отомстила за первую фрау Бруннер, сделав отца Фрица несчастнейшим из мужей на всей территории вольного города Франкфурта-на-Майне; недаром там, говорят, миллионеры собираются издать муниципальный закон, который обяжет жен любить своих супругов самой нежной любовью. Эта немка питала пристрастие к различным уксусам, которые все огулом именуются у немцев рейнским вином. Она питала пристрастие к модным парижским товарам; питала пристрастие к верховым лошадям; питала пристрастие к нарядам; словом, единственная дорогостоящая вещь, к которой она не питала пристрастия, были женщины. Она возненавидела маленького Фрица и, несомненно, довела бы его до сумасшествия, если бы колыбелью этого младенца, вскормленного законом Кальвина и законом Моисея, не был Франкфурт-на-Майне, а опекуном — лейпцигская фирма Вирлац; но дядя Вирлац, поглощенный пушниной, не давал в обиду только гамбургские марки, а мальчика оставил на растерзание мачехе.

Эта мегера тем сильнее злилась на херувима-сыночка покойной красавицы жены Бруннера, что сама, несмотря на все усилия, которым мог бы позавидовать даже локомотив, не имела детей. Движимая дьявольской мыслью, преступная немка привила юному Фрицу, которому шел тогда двадцать второй год, совершенно не свойственный немцам вкус к расточительству. Она надеялась, что английская лошадь, рейнский уксус и гетевские Гретхен пожрут сына еврейки вместе с его капиталом, ибо к совершеннолетию Фриц получил от своего дорогого дядюшки Вирлаца прекрасное наследство. Рулетки на водах и веселые собутыльники, в числе которых был и Вильгельм Шваб, правда, проглотили капитал Вирлаца, но создателю было угодно сохранить блудного сына, дабы он служил примером для младшего поколения жителей Франкфурта-на-Майне, где во всех семьях пугали им детей, уговаривая их послушно и смирно сидеть дома или за железными решетками контор на своих гамбургских марках. Однако Фриц Бруннер не только не умер во цвете лет, но имел удовольствие похоронить свою мачеху на одном из очаровательных немецких кладбищ, ибо немцы, под предлогом почита-

ния умерших, предаются безудержной страсти к садоводству. Итак, вторая фрау Бруннер умерла раньше своих родителей; старик Бруннер поплатился деньгами, которые прошли у него мимо носа, и здоровьем, ибо наш трактирщик до того с ней намучился, что, несмотря на свое геркулесовское сложение, к шестидесяти семи годам высох так, словно отведал знаменитого борджиевского яда. Состояние хозяина гостиницы, ничего не унаследовавшего после жены, которую он зря терпел в течение десяти лет, можно было сравнить с своего рода гейдельбергскими развалинами; вдовец старался подправить свои пошатнувшиеся финансы, подавая постояльцам соответствующие Rechnungen (счета), наподобие того, как подправляют подлинные гейдельбергские развалины, дабы не остывал пыл туристов, толпами стекающихся в этот город поглядеть на руины, содержимые в столь образцовом беспорядке. Во Франкфурте о старике Бруннере говорили как о банкроте, на него указывали пальцем:

— Вот до чего может довести злая жена, не оставившая ничего в наследство, и сын, воспитанный во французском духе! — В Италии и в Германии французы — причина всех зол, мишень для всех нападок; *но пути господни неисповедимы...* (Дальше все, как в оде Лефрана де Помпиньяна.)

Не только постояльцы страдали от озлобленного хозяина гостиницы «Голландия», вымещавшего свои огорчения на счетах (Rechnungen). Когда его сын окончательно разорился, Гедеон Бруннер, видевший в нем косвенную причину всех своих бед, отказал ему в хлебе, воде, соли, очаге, крове и трубке! А для немецкого папаши-трактирщика это высшее выражение родительского неблаговоления. Отцы города, не разобравшись, чья здесь вина, и считая старика Бруннера одним из самых несчастных франкфуртцев, пришли ему на помощь; Фрица изгнали из пределов вольного города, придравшись к нему из-за каких-то пустяков. Суд во Франкфурте не более милостивый и не более правый, чем в других местах, хотя в этом городе и заседают выборные от германской земли. Судьи редко восходят к истокам преступлений и неудач и не стараются выяснить, кто держал чашу, из которой вытекла первая струйка. Итак,

Бруннер отказался от сына, а друзья сына пошли по стопам старика.

Ах, если бы эту повесть можно было разыграть перед будкой суфлера для собравшихся здесь зрителей, для всех этих журналистов, модных львов и парижанок, недоумевавших, откуда могла появиться среди цвета парижской публики, на премьере, в литерной ложе бенуара эта глубоко трагическая одинокая немецкая фигура; такое зрелище увлекло бы куда больше, чем феерия «Невеста дьявола», хотя это и был бы двухсоттысячный пересказ бессмертной притчи о блудном сыне, разыгранной в Месопотамии за три тысячи лет до рождества Христова.

Фриц пешком отправился в Страсбург, и там он обрел то, чего не нашел библейский блудный сын на родине священного писания. Эльзас, где живет столько людей с благородным сердцем, где прекрасно сочетается французское остроумие с немецкой основательностью, блестяще доказал свое превосходство над Германией. Вильгельм, всего несколько дней тому назад получивший наследство после родителей, располагал капиталом в сто тысяч франков. Он открыл Фрицу свои объятия, открыл ему свое сердце, открыл свой дом, открыл свой кошелек. Только в греческой оде можно воспеть ту минуту, когда Фриц, измученный, весь в пыли, Фриц, от которого все отшатнулись, как от зачумленного, встретил по ту сторону Рейна истинного друга и в его протянутой руке нашел настоящую двадцатифранковую монету, и только Пиндару под силу одарить человечество такой одой, призванной воспламенить угасающее в людях чувство дружбы. Имена Фрица и Вильгельма надо поставить в один ряд с именами Дамона и Пифиа, Кастора и Поллукса, Ореста и Пилада, Дюбрейля и Пмежа, Шмуке и Понса и со всеми именами, коими наша фантазия наделяет двух друзей из Мономотапы, и не случайно человек такого великого ума, как Лафонтен, изобразил их отвлеченными бестелесными образами. Мы можем прибавить к этому списку, иллюстрирующему дружбу, два новых имени с тем большим основанием, что Вильгельм в компании с Фрицем проел полученное им наследство совершенно так же, как Фриц в компании с Вильгельмом пропил свое, впрочем, не только проел, но

и прокурил, отдав должное всем известным сортам табака.

Как это ни странно, оба друга прокутили наследство в страсбургских пивных самым глупым, самым пошлым образом с фигурантками страсбургского театра и эльзасскими девицами, которые уже давно растратили отпущенные им от бога скромные дары. И каждое утро наши кутилы убеждали друг друга:

— Пора это бросить, взяться за ум, пока у нас еще что-то осталось!

— Ладно, давай еще сегодня,— говорил Фриц,—а завтра, ну завтра...

У кутил *завтра* всегда робко отступает под напором своего предшественника — хвастливого вояки *сегодня*. Сегодня — это *Капитан* старинных комедий, а завтра — Пьеро наших пантомим. Разменяв последний тысячный билет, наши друзья купили места в почтово-пассажирской конторе дилижансов, известных под названием королевских, и отправились в Париж, где поселились под самой крышей в гостинице «Рейн», которая помещалась на улице Майль и принадлежала некоему Граффу, служившему прежде старшим кельнером у Гедеона Брунера, и Фриц поступил на шестьсот франков в банкирскую контору братьев Келлер, куда его определил Графф. Графф, хозяин гостиницы «Рейн», был братом знаменитого портного Граффа. Портной взял Вильгельма в бухгалтеры. Графф пристроил обоих блудных сыновей на эти скромные должности в память своего ученичества в гостинице «Голландия». Богатый друг признал своего промотавшегося друга, а немец-трактирщик принял участие в двух нищих соотечественниках,— вот два поступка, из-за которых многие, пожалуй, сочтут эту правдивую историю за роман, но быль зачастую похожа на вымысел, тем более что в наши дни вымысел всячески стараются сделать похожим на правду.

Фриц, служивший в банке на жалованье в шестьсот франков, и Вильгельм, работавший бухгалтером на том же окладе, скоро убедились, как трудно жить в таком чересчур разгульном городе, как Париж. Поэтому уже на второй год пребывания в столице Франции, в 1837 году, Вильгельм, недурно игравший на флейте, стал зарабатывать, чтобы не жить впроголодь, в орке-

стре под управлением Понса. А Фрицу, чтоб повысить свой заработок, оставалось одно — применить финансовые способности, присущие ему как вирлацовскому отпрыску. Несмотря на всю свою усидчивость, которой, правда, мешала даровитость, он добился жалованья в две тысячи франков только в 1843 году. Нужда — превосходная мачеха, она научила обоих молодых людей тому, чему не смогли научить их матери: бережливости, знанию людей и жизни; под ее руководством они прошли настоящую суровую выучку, которую проходят великие люди, обычно не ведавшие радостного детства. Но Фриц и Вильгельм были самыми заурядными людьми, и потому не все уроки, которые дает нужда, пошли им на пользу; они старались оградить себя от слишком близкого знакомства с нуждой, не хотели отдыхать на ее иссохшей груди, в ее костлявых объятиях, и потому для них она не превратилась в добрую фею Уржелу, которая уступает ласкам гениальных людей. Как бы там ни было, они поняли всю силу богатства и дали себе слово подрезать крылья Фортуне, если она когда-нибудь вновь постучится к ним в дверь.

— Ну, так вот, папаша Шмуке, сейчас я вам все объясню в двух словах,— закончил Вильгельм, который обстоятельно рассказывал пианисту на немецком языке свою повесть.—Бруннер-отец скончался. Ни его сын, ни господин Графф, у которого мы квартируем, не знали, что он был одним из основателей баденской железной дороги, с которой получал огромную прибыль: он оставил четыре миллиона! Сегодня я последний раз играю на флейте. Если бы не премьера, я бы ушел уже несколько дней тому назад, но мне не хотелось подводить оркестр.

— *Это отшень похвально, мольодой тшельовек,*— сказал Шмуке.— *На ком ше ви шенитесь?*

— На дочери господина Граффа, нашего хозяина, владельца гостиницы «Рейн». Я уже семь лет люблю мадемуазель Эмилию, она так начиталась безнравственных романов, что, недолго думая, ради меня отказала всем женихам. Со временем она будет очень богата, она единственная наследница Граффов, портных с улицы Ришелье. Фриц дает мне в пять раз больше того, что мы с ним прокутили в Страсбурге, пятьсот тысяч франков!.. Он вкладывает миллион в банкирскую кон-

тору, портной, господин Графф, вкладывает пятьсот тысяч франков; отец моей невесты разрешает мне так же распорядиться с приданым, составляющим двести пятьдесят тысяч франков, и сам он помещает в нашу фирму такую же сумму, таким образом, банкирский дом «Бруннер, Шваб и компания» будет располагать капиталом в два миллиона пятьсот тысяч франков. Фриц купил на полтора миллиона акций Французского банка в качестве обеспечения. Это не весь капитал Фрица, ему остаются еще отцовские дома во Франкфурте, которые оцениваются в миллион, и он уже сдал гостиницу «Голландия» двоюродному брату Граффа.

— *Ви с огортшением смотрите на ваш друг,*— заметил Шмуке, внимательно слушавший Вильгельма,— *неушели ви имеете к нему зависть?*

— Я не завидую, а печалюсь,— сказал Вильгельм.— Разве Фриц похож на счастливого человека? Я боюсь, что Париж его погубит; мне так хотелось бы, чтоб он последовал моему примеру. В нем могут проснуться прежние страсти. Я остепенился, а он нет. Посмотрите на его костюм, на двойной лорнет, все это меня очень беспокоит. В зале он не спускал глаз с лореток. Ах, если бы вы знали, как трудно женить Фрица! Он ненавидит то, что во Франции называют *строить куры*[1]; его надо женить силком, как в Англии силком тащат к славе.

Во время толкотни, которой всегда отличается окончание премьеры, флейтист пригласил капельмейстера. Понс с радостью согласился. И Шмуке впервые за три месяца увидел улыбку на лице друга; всю дорогу до дому Шмуке молчал, потому что по радостной улыбке, озарившей лицо Понса, он понял всю глубину снедавшей его печали. Подлинно благородный, бескорыстный человек, с возвышенными чувствами, и вдруг такая слабость!.. Нет, этого никак не мог понять стоик Шмуке, сразу погрустневший, так как он почувствовал, что ради друга надо отказаться от удовольствия каждый день сидеть за столом с *свой добрий Понс;* и он не знал, хватит ли у него сил принести такую жертву; от этой мысли старый немец сходил с ума.

Гордое молчание, которое хранил Понс, удалившись на Авентинский холм, сиречь на Нормандскую улицу,

[1] Т. е. ухаживать — faire la cour *(франц.)*.

поразило супругу председателя суда, вообще не очень-то обеспокоенную уходом своего прихлебателя. Они с дочкой думали, что кузен понял милую шутку очаровательной Лили; но ее супруг смотрел на дело иначе. Председатель судебной палаты Камюзо де Марвиль, упитанный человечек, очень важничавший после того, как пошел в гору, восхищался Цицероном, предпочитал Комическую оперу Итальянцам, сравнивал игру различных актеров и во всем придерживался общего мнения. Он повторял, как собственные, мысли из статьи правительственной газеты и, произнося речь, всегда пересказывал, несколько их перефразировав, слова оратора, выступавшего до него. Этот судебный деятель, основные черты характера которого достаточно известны, ко всему относился с подобающей его должности серьезностью и придавал особое значение родственным связям. Как большинство мужей, находящихся под башмаком у жены, он проявлял независимость в мелочах, и жена с этим считалась. В течение месяца он удовлетворялся объяснениями г-жи Камюзо, которая придумывала то ту, то другую причину отсутствия Понса, но в конце концов ему показалось странным, что старик музыкант, связанный с ним почти сорокалетней дружбой, перестал бывать у них в доме, да еще после того как преподнес такой дорогой подарок — веер мадам де Помпадур. Этим веером восхищались и граф Попино, оценивший его по достоинству, и в Тюильри, где все с любопытством разглядывали очаровательную вещицу, что очень льстило тщеславной г-же Камюзо; ей расхвалили красоту десяти перламутровых пластинок с поразительно тонкой резьбой. На вечере у графа Попино одна знатная русская дама (русская знать всюду чувствует себя как дома) насмешливо улыбнулась, увидя такой веер, достойный герцогини, в руках г-жи Камюзо, и предложила за чудесную вещицу шесть тысяч франков.

— Надо признаться,— заметила Сесиль на следующий день после того, как был подарен веер,— наш бедный родственник знает толк во всяких безделушках.

— Хороши безделушки! — воскликнул председатель судебной палаты.— Да государство собирается заплатить триста тысяч франков за коллекцию покойного советника Дюсоммерара и израсходовать пополам

с городом Парижем около миллиона на покупку и восстановление особняка Клюни, чтобы поместить туда эти самые безделушки. Безделушки, дитя мое, часто все, что нам осталось от давно исчезнувших цивилизаций. Этрусская ваза или ожерелье иногда оцениваются в сорок, в пятьдесят тысяч; эти безделушки свидетельствуют о высоком уровне искусства во времена осады Трои и являются доказательством того, что этруски были троянцами, нашедшими прибежище в Италии!

Упитанный председатель суда обычно шутил в таком роде, в разговоре с женой и дочерью он охотно прибегал к тяжеловесному остроумию.

— Совокупность знаний, необходимых для того, чтобы разбираться в таких безделушках, и есть наука, именуемая археологией,— продолжал он.— Археология интересуется архитектурой, скульптурой, живописью, серебряными и золотыми изделиями, керамикой, мастерством краснодеревцев, кстати сказать, совершенно новым видом искусства, кружевами, коврами — словом, всеми произведениями человеческого труда.

— Значит, кузен Понс ученый? — заметила Сесиль.

— Кстати, почему он пропал?—спросил председатель суда с видом человека, который вдруг вспомнил тысячу мелочей, ранее ускользавших от его внимания, а теперь, по выражению охотников, выпалил по ним дуплетом.

— Не знаю, какая его муха укусила, верно обиделся на что-нибудь,— ответила супруга.— Может быть, я не выказала достаточной радости, получив от него подарок. Вы знаете, я в таких вещах мало понимаю...

— Как так мало понимаете? Да ведь вы же одна из лучших учениц Сервена и вдруг не знаете Ватто? — воскликнул председатель суда.

— Я знаю Давида, Жерара, Гро, и Жироде, и Герена, и господина де Форбена, и господина Турпена де Криссе...

— Вы должны были бы...

— Что я должна была бы, сударь? — спросила супруга, бросив на мужа взгляд, достойный царицы Савской.

— Знать, кто такой Ватто, мой дружок. Он сейчас в большой моде,— ответил муж со смирением, ясно показывающим, что он был под башмаком у жены.

Этот разговор произошел за несколько дней до того первого представления «Невесты дьявола», когда болезненный вид Понса поразил весь оркестр. За это время все, у кого Понс был частым гостем за столом, кто привык к его услугам, уже не раз осведомлялись о нем друг у друга, и теперь в том кругу, к которому он прежде льнул, забеспокоились, тем более что на премьере многие видели его в оркестре за дирижерским пультом. Хотя во время прогулок Понс старательно избегал встреч со своими прежними знакомыми, он все-таки столкнулся нос к носу с бывшим министром, графом Попино, у Монистроля — у одного из тех известных своей предприимчивостью и хитростью антикваров с нового бульвара Бомарше, о которых Понс в свое время рассказывал супруге председателя суда; восторгаясь предметами старины, которые, по их уверениям, встречаются все реже и реже и уже почти совсем перестали попадаться, они раззадоривают покупателя и набивают цену.

— Дорогой Понс, почему вас нигде не видно? Нам вас очень недостает, и жена не знает, чему приписать ваше отсутствие.

— Ваше сиятельство,— ответил Понс,— в одном доме, у родственников, мне дали понять, что в моем возрасте лучше не бывать в свете. Меня там и прежде принимали не особенно ласково, но во всяком случае не оскорбляли. Я никогда и ни у кого ничего не просил,— добавил он с достоинством, присущим служителю искусства.— Я всегда старался отблагодарить за любезность и быть полезным тем, у кого бывал в доме; но, как видно, я ошибался, мои друзья, мои родственники рассудили иначе; по-видимому, они считали, что за честь отобедать за их столом я соглашусь стать их крепостным, обязанным отрабатывать им оброк и барщину. Так вот я и решил отказаться от должности блюдолиза. Дома я имею то, чего не имел в гостях,— истинного друга.

Эти полные горечи слова, которым старый музыкант сумел придать особую выразительность интонацией и мимикой, так поразили пэра Франции, что он отвел кузена Понса в сторону.

— Что с вами случилось, дорогой друг? Скажите, чем вас обидели? Я разрешу себе напомнить, что у нас в доме к вам всегда относились с должным вниманием...

— Вы — единственное исключение,— сказал старик.— Кроме того, вы вельможа, государственный деятель, многое можно было бы объяснить вашей занятостью, в случае если бы это потребовалось.

В конце концов Понс сдался на уговоры графа Попино, искусного дипломата в обращении с людьми и в ведении дел, и рассказал ему неудачу, постигшую его у г-на де Марвиля. Попино так живо принял к сердцу обиды пострадавшего, что, придя домой, сейчас же пересказал все жене, добрейшей, достойнейшей женщине, которая при первой же встрече начала выговаривать супруге председателя суда. Бывший министр, со своей стороны, тоже сказал несколько слов ее мужу, результатом чего явилось семейное объяснение. Хотя Камюзо не был у себя дома полноправным хозяином, однако его упреки оказались вполне обоснованны и юридически и фактически, поэтому и жена и дочь не могли не признать их справедливости; обе повинились и постарались свалить все на прислугу. Людей призвали, распекли и так допекли, что они во всем сознались и были прощены; их рассказ убедил председателя суда, насколько прав был кузен Понс, решив не ходить к родственникам. Подобно всякому главе семьи, находящемуся под башмаком у жены, председатель суда пустил в ход всю свою супружескую и судейскую власть, пригрозив прогнать слуг, а значит, и лишить их всех благ за долголетнюю службу, если отныне кузену Понсу и всем прочим гостям, почтившим его своим посещением, не будет оказано то же уважение, как ему самому. Мадлена только иронически улыбнулась, услышав эти слова.

— Чтобы сохранить свое благополучие, вам остается одно,— сказал в заключение председатель суда,— умолить моего кузена простить вас. Ступайте к нему и скажите, что только от него зависит, останетесь вы у меня в доме или нет; если он не простит, я вас рассчитаю.

На следующий день председатель суда рано выехал из дому, потому что хотел повидать кузена Понса еще до заседания. Появление г-на де Марвиля, о котором доложила тетка Сибо, произвело сенсацию. Понс, впервые в жизни удостоившийся такой чести, догадался, что тот приехал с извинениями.

— Дорогой братец,— сказал председатель судебной

палаты, поздоровавшись и справившись о здоровье хозяина,—наконец-то я выяснил причину, почему вас нигде не видно. Мое неизменное к вам уважение еще возросло, когда мне стало известно ваше поведение. Прислуга получила расчет. Жена и дочь в полном отчаянии; они хотят вас видеть, чтоб извиниться. Во всей этой истории есть один ни в чем не повинный человек, и это я — старый судья. Не наказывайте же меня за выходку взбалмошной девчонки, которой хотелось быть на обеде у Попино, ведь я признаю, что вина на нашей стороне, и специально приехал просить вас позабыть обиду... Тридцатишестилетняя дружба, даже если она уже не та, что прежде, все же имеет кое-какие права. Слушайте! Заключим мир, и приходите сегодня обедать...

Понс запутался в пространном ответе и в конце концов сказал, что приглашен вечером на свадьбу к одному музыканту из их оркестра, который решил оставить флейту и стать банкиром.

— Ну, тогда завтра.

— Графиня Попино оказала мне честь, прислав чрезвычайно любезное приглашение...

— Ну, в таком случае послезавтра...

— Послезавтра я у компаньона первой флейты нашего оркестра, у одного немца, некоего господина Бруннера, который устраивает ответный обед в честь новобрачных.

— Вы очень приятный гость, поэтому все наперебой и приглашают вас к себе,— заметил г-н Камюзо.— Ну, давайте в следующее воскресенье... откладывается слушанием на неделю, как принято говорить в суде.

— Дело в том, что мы приглашены к господину Граффу, тестю нашей первой флейты...

— Ну, пусть будет в субботу! А за эти дни вы выберете минутку, чтоб успокоить дочурку, которая проливает слезы, чувствуя свою вину. Сам господь бог довольствуется раскаянием, неужели вы будете строже отца небесного и не простите бедняжку Сесиль?

Председатель суда сыграл на доброте Понса, и тот, рассыпавшись в любезностях, проводил его до площадки лестницы. Через час к Понсу явились с повинной слуги г-на Камюзо, как и надо было ожидать, перепуганные и заискивающие; они даже пролили слезу! Мад-

лена отвела г-на Понса в сторону и сразу бросилась к его ногам.

— Я, сударь, я все это наделала. Но вы знаете, что я вас люблю,— сказала она, заливаясь слезами.— Вините во всем чувство мести, я совсем голову потеряла. Мы лишимся пожизненной пенсии. Любовь отняла у меня рассудок. Неужели же и все остальные должны страдать из-за моего безумия... Теперь я отлично вижу, что не судьба мне быть вашей женой. Я смирилась с этой мыслью. Слишком высоко я метила, но я все еще люблю вас, сударь. Десять лет я мечтала о счастье скрасить вам жизнь, ходить за вами. Вот это была бы завидная участь!.. Ох, если бы вы знали, сударь, как я вас люблю! Но ведь вы же должны были это заметить по всем моим придиркам. Если я завтра умру, знаете, что найдут после моей смерти? Завещание в вашу пользу, сударь... да, на дне шкатулки под моими сережками и кольцами.

Затронув эту струнку, Мадлена польстила самолюбию старого холостяка, ибо внушать страсть всегда приятно, даже если эта страсть тебе не по сердцу. Великодушно простив Мадлену, он обещал остальным похлопотать за них перед своей кузиной. Понс был несказанно счастлив, что, не поступясь чувством собственного достоинства, может опять наслаждаться привычными благами. Общество само пришло к нему, теперь благородство его характера станет еще очевиднее; но когда Понс поделился своим торжеством со Шмуке, он с грустью прочел на лице друга печаль и затаенное сомнение. Однако добряк немец, увидев, как сразу изменилось выражение лица Понса, принес в жертву то счастье, которым наслаждался в течение четырех месяцев, пока Понс всецело принадлежал ему, и стал радоваться вместе с ним. Душевные недуги имеют огромное преимущество перед физическими — они мгновенно проходят, как только удовлетворено вызвавшее их желание, совершенно так же, как они возникают вследствие той или иной утраты. За одно утро Понс стал совсем другим человеком. Вместо грустного, немощного старика опять был довольный Понс, тот Понс, что преподнес супруге председателя суда веер маркизы де Помпадур. Но истинный стоик никогда не поймет французской галант-

ности, и Шмуке, не умея объяснить себе то, что творилось с Понсом, впал в глубокое раздумье. Понс был настоящим французом эпохи Империи, куртуазность прошлого века соединялась в нем с той преданностью женщине, которая воспевается в романсе «Как в Сирию собрался...» и в других. Шмуке похоронил свою грусть глубоко в сердце под цветами немецкой философии, но за неделю он пожелтел, и тетка Сибо пустила в ход всю свою хитрость, чтоб вызвать к нему их квартального врача. Тот высказал предположение, что это icterus и до смерти напугал тетку Сибо таким сугубо ученым термином, обозначающим желтуху!

Наши друзья, вероятно впервые, отправились вместе на званый обед; но для Шмуке это было все равно что экскурсия в Германию. Действительно, Иоганн Графф, хозяин гостиницы «Рейн», и его дочь Эмилия, Вольфганг Графф, портной, его жена, Фриц Бруннер и Вильгельм Шваб — все были немцами. Понс с нотариусом оказались единственными французами, удостоившимися приглашения на торжество. Эмилия воспитывалась в доме своих дядей, портных Граффов, владельцев прекрасного особняка, расположенного на улице Ришелье, между улицами Неф-де-Пти-Шан и Вильдо, так как отец не без основания опасался, что общение с разношерстной публикой, посещающей гостиницу, не пойдет девушке на пользу. Почтенные портные, любившие Эмилию, как родную дочь, уступили молодым первый этаж. Там должен был помещаться банкирский дом «Бруннер, Шваб и К°». Квартиру будущих супругов успели отделать заново и роскошно обставить, так как приготовления тянулись около месяца,— этот срок потребовался Бруннеру, виновнику общего благополучия, для вступления в права наследства. Под контору отвели флигель, соединявший богатую мастерскую, выходившую на улицу, и старый особняк, при котором имелся сад и двор.

По дороге с Нормандской улицы на улицу Ришелье Понс узнал от рассеянного Шмуке подробности нового варианта притчи о блудном сыне, для которого смерть на сей раз заклала жирного трактирщика. Понс, только что помирившийся со своими самыми близкими родственниками, сейчас же загорелся желанием поженить Фрица Бруннера и Сесиль де Марвиль. Случаю было угод-

но, чтобы нотариус братьев Граффов оказался зятем и преемником Кардо, его бывшим старшим клерком, у которого не раз обедал Понс.

— А, это вы, господин Бертье,— сказал старый музыкант, протягивая руку своему прежнему амфитриону.

— Почему вы лишаете нас удовольствия вашего общества и не приходите обедать? — спросил нотариус.— Моя жена очень о вас беспокоилась. Мы видели вас на премьере «Невесты дьявола», и наше беспокойство сменилось любопытством.

— Старики — народ обидчивый,— ответил музыкант.— Что поделаешь?.. Сами виноваты, не успели помереть вовремя... Совершенно достаточно принадлежать к одному веку, на другой век все равно никак не потрафишь!

— Да,— заметил нотариус с глубокомысленным видом,— два века не проживешь!

— Послушайте,— сказал Понс, отводя молодого нотариуса в сторонку,— почему вы не подыщете жениха для моей родственницы Сесиль де Марвиль?..

— Почему?..— отозвался нотариус.— В наш век, когда роскошью заражены даже швейцарские, молодые люди колеблются соединить свою судьбу с судьбой дочери председателя парижского суда, если за ней дают всего сто тысяч приданого. В том обществе, в коем предстоит вращаться предполагаемому супругу мадемуазель де Марвиль, жена обходится мужу не менее трех тысяч франков в год. Значит, процентов с такого приданого едва хватит на булавки для будущей жены. Холостой мужчина, имеющий пятнадцать — двадцать тысяч дохода, снимает уютную квартирку на антресолях, пыль в глаза пускать ему незачем, он может обойтись одним слугой, все свои доходы он тратит на удовольствия; единственно, что ему требуется,— это хороший портной. Он обласкан всеми дальновидными мамашами и держит себя светским львом в парижском обществе. А женился,— совсем не то, тут уж надо жить своим домом, для жены требуется собственный выезд; в театре ей нужна ложа, а холостому мужчине достаточно и кресла; словом, теперь она представительница капиталов, которые раньше представлял только сам молодой человек. Предположим, что у супругов тридцать тысяч дохода: в наших условиях прежний богатый молодой человек стано-

вится бедняком, который боится потратить лишний франк на поездку в Шантильи. А появятся дети... наступит нужда. Господину и госпоже де Марвиль пошел еще только шестой десяток, значит, до осуществления *надежд* остается лет пятнадцать — двадцать. Какому же молодому человеку интересно, чтобы эти надежды так долго лежали мертвым капиталом? Расчеты высушивают сердца молодых повес, танцующих с лоретками польку в зале Мабиль, и теперь женихи не нуждаются в наших советах, они сами подвергают всестороннему рассмотрению проблему брака. Между нами говоря, сердца *претендентов* на руку мадемуазель де Марвиль не бьются сильнее в ее присутствии; так что ее поклонники головы не теряют, и все они до единого отдают дань антиматримониальным размышлениям. Словом, мадемуазель де Марвиль весьма мало соответствует тому идеалу брака, который рисует себе in petto [1] молодой честолюбец, обладающий здравым смыслом и сверх того двадцатью тысячами франков дохода.

— А почему? — спросил удивленный музыкант.

— Ах, дорогой Понс,— ответил нотариус,— в наши дни всякий молодой человек, будь он урод уродом, все равно имеет дерзость претендовать на шестьсот тысяч франков приданого, на невесту благородного звания, красавицу, умницу, получившую отличное воспитание, без недостатков — словом, на совершенство...

— Значит, моей родственнице не так-то легко выйти замуж?

— Она просидит в девушках до тех пор, пока папаша с мамашей не решатся дать за ней в приданое поместье Марвиль; если бы они захотели, она уже была бы виконтессой Попино... Но вот и господин Бруннер, сейчас мы приступим к чтению брачного контракта и акта об учреждении банкирского дома «Бруннер и компания».

После того, как гости были представлены друг другу и обменялись рукопожатиями, родители невесты предложили Понсу подписать брачный контракт, и около половины шестого, прослушав чтение параграфов, все перешли в столовую, где был сервирован роскошный обед, какие обычно задают коммерсанты, когда хотят отдохнуть от дел; впрочем, обед этот свидетельствовал о свя-

[1] Втайне *(итал.)*.

зях Граффа, хозяина гостиницы «Рейн», с лучшими парижскими поставщиками. Ни Понс, ни Шмуке никогда не ели так вкусно. Там подавали такие блюда, что просто *уму непостижимо!*.. Лапша неслыханной нежности, корюшка несравненного копчения, форель из Женевы под настоящим женевским соусом и такой ликер к плум-пудингу, что знаменитый лондонский доктор, которого считают его изобретателем, и тот бы удивился. Из-за стола встали в десять часов вечера. Количество выпитого вина, и рейнского и бургундского, поразило бы парижских денди, ибо трудно представить, сколько крепких напитков поглощают немцы, не теряя при этом спокойствия и хладнокровия. Для этого надо самому побывать на обеде в Германии и воочию убедиться, как бутылки сменяют одна другую, будто волны на прекрасном Средиземноморском побережье, и исчезают так быстро, словно немцы обладают такой же способностью поглощения, как губка и песок; но все проходит благопристойно и без французской шумливости; речи их так же рассудительны, как самая пылкая импровизация ростовщика; лица краснеют в меру, как у невест с фресок Корнелиуса или Шнорра, то есть чуть приметно, и воспоминания струятся медленно, как дым из трубок.

В половине одиннадцатого Понс и Шмуке очутились на скамейке в саду, по обе стороны от бывшего флейтиста; они, сами не зная чего ради, излагали, растолковывали друг другу свой характер, убеждения и постигшие их беды. В самый разгар этого попурри душевных излияний Вильгельм заговорил о своей мечте женить Фрица, но на этот раз с хмельным красноречием и настойчивостью.

— А что вы скажете о таком проекте для вашего друга Бруннера? — крикнул Понс в ухо Вильгельму.— Очаровательная, благоразумная девушка, двадцать четыре года, из отличной семьи, отец занимает высокий пост в суде, сто тысяч франков приданого и миллион в перспективе.

— Погодите,— ответил Шваб,— я сейчас же поговорю с Фрицем.

И вскоре оба музыканта увидели Бруннера, который прохаживался мимо них по саду со своим другом и каждый по очереди в чем-то убеждал другого. Понс, хотя и не был совсем пьян, все же чувствовал легкость в мыслях,

прямо пропорциональную тяжести в голове; он видел Фрица Бруннера сквозь прозрачную дымку винных паров, ему почудилось, что на лице у того написана жажда семейного счастья. Вскоре Шваб подвел к г-ну Понсу своего друга и компаньона, и тот горячо поблагодарил его за хлопоты, которые музыкант соглашался взять на себя. Во время последующего разговора два старых холостяка — Шмуке и Понс — всячески расхваливали брак и в простоте душевной даже отпустили каламбур, что-де «без брака мужчина брак». Когда почтенные коммерсанты, бывшие почти все под хмельком, угощаясь мороженым, чаем, пуншем и пирожными в будущей квартире будущих супругов, узнали, что глава банкирского дома собирается последовать примеру своего компаньона, веселье достигло апогея.

В два часа ночи старые музыканты, возвращаясь домой по бульварам, философствовали напропалую о том, как хорошо аранжирован сей бренный мир.

На следующий день Понс отправился к своей кузине, супруге председателя суда, от всего сердца радуясь, что может отплатить добром за зло. Какая благородная, возвышенная душа! И все с этим согласятся, ибо в наш век Монтионовскую премию дают тем, кто исполняет свой долг, следуя евангельским заветам.

«Ах, они будут по гроб жизни обязаны своему блюдолизу!» — думал он, сворачивая на улицу Шуазель.

Человек, довольный собой, как Понс в эту минуту, человек светский, человек осторожный, внимательней пригляделся бы к супруге председателя суда и ее дочери, вернувшись к ним в дом; но наш бедный музыкант был наивен, как дитя, как художник, верящий в нравственную красоту так же свято, как верил он в то, что искусство прекрасно. Он был в восторге, что Сесиль с матерью его обласкали. Старичок, уже двенадцать лет глядевший водевили, драмы и комедии, разыгрываемые на сцене, не распознал гримас комедии общественной, к которым он, вероятно, слишком привык. Тот, кто бывает в парижском высшем свете и кто понимает, что именно иссушило душу и тело председательши, пылавшей страстью только к почестям и обуреваемой желанием прослыть добродетельной, кто понимает лицемерное благочестие и надменный характер этой женщины, привык-

щей к беспрекословному повиновению домашних,— тот легко себе представит, какую злобу затаила она против бедного родственника с того самого дня, когда попалась впросак. Ясно, что за сугубым вниманием скрывались отложенные до поры до времени планы мести. Первый раз в жизни Амели оказалась неправой в глазах мужа, которым она привыкла распоряжаться, да еще она должна была любезно принимать виновника своего поражения!.. Такие комедии можно наблюдать только в святейшей коллегии кардиналов или в капитулах монашеских орденов, где маску лицемерия не снимают годами. К трем часам, когда г-н де Марвиль вернулся из суда, Понс только что закончил рассказ о чудесных обстоятельствах своего знакомства с г-ном Фридрихом Бруннером и о всем, что касалось вышеназванного Фридриха Бруннера. Сесиль приступила прямо к делу, осведомившись, как одевается Фридрих Бруннер, какой он комплекции, высок ли ростом, какого цвета волосы, глаза, и, заключив по этим данным, что у Фридриха благородная внешность, выразила восхищение его великодушным характером.

— Дать пятьсот тысяч франков товарищу по несчастью! Ах, маменька, мне обеспечены собственный выезд и ложа в Итальянской комедии...

И Сесиль даже похорошела при мысли, что сбудутся все чаяния матери, исполнятся те надежды, в осуществление которых она уже перестала верить.

Супруга же председателя суда сказала только:

— Моя милая дочурка, через две недели ты можешь быть замужем.

Матери всегда зовут дочурками своих двадцатитрехлетних дочерей!

— Надо все-таки время, чтобы собрать сведения,— сказал председатель суда.— Я не отдам дочь первому встречному...

— Относительно сведений могу сказать, что все документы составлялись в конторе Бертье,— ответил старый музыкант.— Относительно же самого молодого человека, дорогая сестрица, помните, что вы мне говорили! Ну, так ему за сорок, у него лысина в полголовы. В семейной жизни он видит тихую пристань, где бы укрыться от бурь, я его не разуверял; всякие бывают вкусы...

— Тем больше оснований повидать господина Фридриха Бруннера,— возразил председатель суда.— Я не хочу отдавать свою дочь за человека болезненного.

— Ну, так вот, если вам угодно, через пять дней вы сможете составить себе понятие о моем претенденте; ведь, судя по высказанным вами мыслям, одной встречи будет достаточно...

Сесиль с матерью жестом выразили свое восхищение.

— Фридрих — очень тонкий знаток, он просил у меня разрешения внимательно осмотреть мое небольшое собрание,— продолжал кузен Понс.— Вы не видели моих картин, моих редкостей; приходите же,— обратился он к обеим своим родственницам,— мы скажем, что вас пригласил мой друг Шмуке, вы познакомитесь с женихом, ничем себя не скомпрометировав. Фридриху незачем знать, кто вы.

— Отлично! — воскликнул председатель суда.

Вы легко догадаетесь, каким вниманием был теперь окружен ранее презираемый прихлебатель. В этот день супруга председателя суда признала его своим родственником. Счастливая мать, потопив свою ненависть в волнах радости, сумела найти взгляды, улыбки, слова, от которых старичок музыкант совсем размяк,— он сделал доброе дело и был счастлив, тем паче что уже предвкушал приятное будущее. Он вспоминал обед на помолвке и рисовал себе великолепные трапезы, которые ждут его в семье Бруннера, Шваба, Граффа. Ему уже мерещилась райская жизнь с нескончаемой чередой *закрытых* блюд, гастрономических сюрпризов, тонких вин!

— Если кузен Понс обделает для нас это дельце,— сказал председатель суда жене после ухода гостя,— нам надо будет назначить ему ренту, соответствующую сумме получаемого им капельмейстерского жалованья.

— Разумеется,— согласилась жена.

На Сесиль была возложена обязанность, в том случае если ей понравится молодой человек, уговорить Понса принять подачку расщедрившихся супругов Камюзо.

На следующий день председатель суда, желая получить достоверные сведения о состоянии г-на Фридриха Бруннера, отправился к нотариусу. Бертье, предупрежденный супругой председателя, заранее пригласил сво-

его нового клиента, банкира Шваба, экс-флейту в оркестре. Верный друг Бруннера был ослеплен проектом такого брака для своего друга — всем известно, какие немцы чинопочитатели. В Германии жену называют по мужу «фрау генерал», «фрау гехеймрат», «фрау адвокат»,— и потому он был любезен, как коллекционер, стремящийся оплести антиквара.

— Прежде всего,— заявил отец Сесиль,— я даю за дочерью мое Марвильское поместье и посему хотел бы, чтобы в брачном контракте была обусловлена раздельность имущества. Пусть господин Бруннер приобретет на миллион земель, расширив тем самым Марвильское владение и обеспечив недвижимостью будущность моей дочери и ее детей, независимо от того, как пойдут дела банкирского дома.

Бертье, поглаживая подбородок, говорил про себя: «Ого! Молодец председатель, не плохо придумал!»

Шваб попросил разъяснить ему положение о приданом, по которому каждый из супругов сохранял за собой право распоряжаться своим имуществом; после этого он поручился за своего друга. Этот пункт контракта как раз соответствовал высказанному Фрицем желанию придумать такую комбинацию, которая раз навсегда устранила бы риск вторичного разорения.

— В данный момент как раз имеются продажные фермы и луга на сумму в миллион двести тысяч франков,— сказал председатель суда.

— Акций на миллион франков будет совершенно достаточно, чтобы обеспечить текущий счет нашей банкирской конторы в Государственном банке; Фриц не хочет вкладывать больше двух миллионов в дела; он выполнит ваше желание, господин председатель суда.

Жена и дочь г-на де Марвиля чуть с ума не сошли, услышав такие новости. Никогда еще не шла так охотно в супружеские сети столь крупная рыба.

— Ты будешь госпожой Бруннер де Марвиль,— сказал г-н де Марвиль дочери,— я выхлопочу для твоего мужа разрешение присоединить к своей фамилии нашу, а потом он получит грамоту о натурализации. Если я стану пэром, он унаследует это звание.

Госпожа де Марвиль пять дней прихорашивала дочь. В назначенный для свидания день она собственноручно

занялась туалетом Сесиль; она наряжала дочь с той же тщательностью, с какой адмирал *Синего флота* снаряжал яхту для прогулок английской королевы, отправлявшейся в Германию.

Со своей стороны Понс и Шмуке, не уступая в проворстве матросам, драящим флагманский корабль, прибрали музей Понса, квартиру, почистили мебель. На деревянной резьбе не осталось ни пылинки. Медные части сияли. Сквозь стекло ясно были видны пастели Латура, Грёза и Лиотара, прославленного творца «Шоколадницы», шедевра этого рода живописи, увы, столь недолговечной! Не знающая равных эмаль на флорентийских бронзовых изделиях переливалась всеми цветами радуги. Витражи горели яркими красками. Благодаря стараниям двух музыкантов, поэтов в душе, каждая вещь сверкала и пела, создавая общую гармонию, проникавшую в самое сердце.

Обе дамы сообразили, что выход на сцену — самый невыгодный момент, и поэтому пришли первыми на поле битвы. Понс представил своего друга Шмуке родственницам, которым тот показался идиотом. Всецело занятые женихом, четырехкратным миллионером, гостьи, ничего не понимавшие в искусстве, невнимательно слушали художественные пояснения добряка Понса. Они равнодушно глядели на эмали Петито, разложенные на красном бархатном фоне в трех чудесных рамках, на цветы Ван Гейзума, Давида де Гейма, на насекомых Авраама Миньона, на Ван-Эйка, Альбрехта Дюрера, на подлинники Кранаха, на Джорджоне, Себастьяно дель Пьомбо, Бакгёйзена, Гоббема, Жерико, на редкостную живопись; ничто их не заинтересовало, ибо они ждали солнце, которому предстояло озарить своим светом эти богатства; тем не менее их поразила красота некоторых этрусских украшений и стоимость табакерок. Обе дамы как раз разглядывали флорентийские бронзы и из вежливости восторгались, когда привратница доложила о приходе г-на Бруннера. Они не обернулись, благо могли рассмотреть этого жениха-феникса в роскошном венецианском зеркале, вставленном в гигантскую резную раму черного дерева.

Фридрих, предупрежденный Вильгельмом, тщательно причесал жалкие остатки волос. Он был в красивых

панталонах, мягкого, хотя и темного тона, в чрезвычайно изящном шелковом жилете новомодного покроя, в вышитой полотняной сорочке ручной фрисландской работы, в синем галстуке с белыми разводами. Цепочка на часах и набалдашник на трости были куплены у Флорена и Шанора. А фрак из отменного сукна сшит самим папашей Граффом. Перчатки шведской кожи свидетельствовали, что этот человек уже промотал унаследованное от матери состояние. По безупречному глянцу его лакированных сапожек можно было бы догадаться, что господин банкир приехал в карете, запряженной парой, но наши дамы знали это и так, ибо слух их уловил шум колес подкатившего к подъезду экипажа.

Если из двадцатилетнего повесы суждено к сорока годам вылупиться банкиру, то уж никто не сравнится с сим мужем в проницательности, что полностью оправдалось на Бруннере, который отлично понял, как ловко может он сыграть на пресловутой немецкой наивности. В это утро у него был мечтательный вид человека, которому предстоит сделать выбор: остепениться или продолжать разгульную холостяцкую жизнь. Девице де Марвиль физиономия этого офранцузившегося немца показалась в высшей степени поэтической. В отпрыске Вирлацов ей почудился Вертер. Ну какая девушка, собравшись замуж, не потешит себя невинными романтическими мечтами? Когда Бруннер пришел в восторг от великолепных произведений искусства, терпеливо, по одному собранных за сорок лет, когда он, к великому удовлетворению Понса, первый оценил их по достоинству, Сесиль сочла себя счастливейшей из женщин.

— Он поэт! — решила мадемуазель де Марвиль.— Он видит здесь миллионы.

Поэт — это человек, который не знает счета деньгам, предоставляет супруге распоряжаться капиталами и легко попадает к ней под башмак.

В спальне Понса в оба окна были вставлены швейцарские цветные витражи, самый маленький из которых стоит тысячу франков, а у него было шестнадцать таких шедевров, за которыми в наши дни любители гоняются по всему свету. В 1815 году такие витражи шли от шести до десяти франков штука. Настоящую же стои-

мость шестидесяти картин, составлявших замечательную понсовскую коллекцию, стоимость шестидесяти истинных шедевров, подлинников, которых еще не коснулась рука реставратора, можно было бы узнать только в разгаре аукциона. Каждая картина была вставлена в роскошную раму огромной ценности, и рамы здесь были самые разнообразные: рамы венецианские с крупным орнаментом, похожим на орнамент современной английской посуды; рамы римские, известные в художественном мире своей бьющей в глаза пышностью; рамы испанские с причудливой вязью; рамы фламандские и немецкие, украшенные наивными фигурками; рамы черепаховые, инкрустированные оловом, медью, перламутром, слоновой костью; рамы стиля Людовика XIII, Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI — словом, единственная в своем роде коллекция превосходных образцов. Понс оказался удачливей хранителей музейных богатств Дрездена и Вены — у него была рама знаменитого Брустолоне, этого Микеланджело резьбы по дереву.

Разумеется, мадемуазель де Марвиль то и дело обращалась за разъяснениями к Бруннеру, стараясь, чтоб именно он приобщил ее к чудесам искусства. Она так наивно всем восхищалась, так радовалась, когда узнавала из уст Фридриха цену и достоинства картины, статуэтки или бронзы, что немец растаял: он даже помолодел. В общем, во время этой первой, как бы случайной, встречи и жених и невеста проявили несколько больше пыла, чем предполагали.

Визит продолжался три часа. Спускаясь по лестнице, Бруннер вел под руку Сесиль. С разумной медлительностью переступая со ступеньки на ступеньку, она, не теряя ни минуты, щебетала об искусстве и удивлялась тому восхищению, с которым претендент на ее руку отзывался о безделушках кузена Понса.

— Значит, по-вашему, то, что мы сейчас видели, очень дорого стоит?

— Ах, мадемуазель, если бы ваш кузен согласился уступить мне свою коллекцию, я бы сейчас же выложил за нее восемьсот тысяч франков, и, поверьте, я не остался бы в накладе. Только за его собрание картин при продаже с аукциона можно было бы выручить гораздо больше.

— Я охотно верю; раз вы так говорите, значит, так оно и есть,— ответила Сесиль,— вы ведь больше всего интересовались его коллекцией.

— О сударыня! — воскликнул Бруннер.— В ответ на ваш упрек я сейчас же попрошу у вашей матушки разрешения явиться к ней с визитом, чтоб иметь счастье вновь увидеть вас.

«Ну и умная же у меня *дочурка!*» — подумала супруга председателя суда, следовавшая по пятам за дочкой.

— Вы доставите мне величайшее удовольствие, сударь,— сказала она.— Я надеюсь, что вы придете вместе с моим кузеном Понсом к обеду; муж будет очень рад познакомиться с вами... Спасибо, братец.

Она пожала Понсу руку с таким чувством, что классическая фраза: «Мы друзья до самой смерти» — не прозвучала бы выразительней. Во взгляд, которым сопровождались слова: «Спасибо, братец», — она вложила всю сладость поцелуя.

Усадив Сесиль в экипаж и подождав, пока наемная карета не скроется из виду на улице Шарло, Бруннер опять завел разговор о коллекциях, а Понс завел разговор о браке.

— Итак, вы не усматриваете препятствий?..— спросил Понс.

— Ну, дочка неказистая, а мамаша немножко нос задирает. Там видно будет.

— Богатая наследница,— заметил Понс.— Миллион с лишним...

— До понедельника! — перебил его миллионер.— Если вы вздумаете продавать вашу коллекцию, я охотно дам за нее пятьсот — шестьсот тысяч франков...

— О! — воскликнул старичок, не знавший, что он владелец такого богатства.— Но я не расстанусь со своей коллекцией, в ней все мое счастье... Я мог бы продать ее только при том условии, что до моей смерти она останется у меня.

— Хорошо, там видно будет...

— Итак, мы затеяли два дела,— сказал коллекционер, но думал он только об одном: о предполагаемом браке.

Бруннер откланялся, и шикарный экипаж быстро умчал его прочь. Понс посмотрел ему вслед, не обра-

тив внимания на Ремонанка, который курил трубку на пороге лавки.

В тот же вечер г-жа де Марвиль, приехавшая посоветоваться со своим свекром, встретилась там с семейством Попино. Не желая оставаться в долгу, г-жа де Марвиль поддалась искушению, столь естественному в сердце матери, которой не удалось заполучить выгодного жениха, и намекнула, что Сесиль делает блестящую партию. «За кого же выходит Сесиль?» — этот вопрос не сходил с уст. И тогда супруга председателя, не сообразив, что сама выдает свои тайны, намекнула одному, шепнула на ухо другому, ее слова подтвердила г-жа Бертье, и на следующее утро в буржуазных эмпиреях, куда Понс наносил свои гастрономические визиты, уже говорили:

«Сесиль де Марвиль выходит за молодого немца, который из любви к ближним стал банкиром, так как у него четыре миллиона; это настоящий герой романа, подлинный Вертер, очаровательный, добрый, успевший перебеситься, он без памяти влюбился в Сесиль, влюбился с первого взгляда; и любовь эта тем прочнее, что Сесиль пришлось выдержать сравнение со всеми мадоннами из коллекции Понса» и т. п. и т. п.

День спустя несколько человек пришли с поздравлениями к супруге председателя суда исключительно для того, чтобы узнать, существует ли в действительности этот легендарный клад, и г-жа де Марвиль дала волю своей фантазии и придумала много вариаций на ту же тему, к которым сможет прибегнуть не одна мать, как в свое время прибегали к «Образцовому письмовнику»:

— Брак можно считать совершившимся только после мэрии и церкви, а у нас еще только состоялось знакомство; поэтому я полагаюсь на вашу дружбу и рассчитываю, что вы не будете разглашать наших надежд...

— Вы счастливая мать, сударыня, в наши дни рассчитывать на удачный брак очень трудно.

— Помилуйте, это — дело случая; но браки часто заключаются именно так.

— Значит, вы все-таки выдаете Сесиль замуж? — спросила г-жа Кардо.

— Да, выдаем,— ответила супруга председателя суда, отлично понимая, сколько коварства вложено в

это *«все-таки»*.— Мы очень разборчивы, по этой причине Сесиль и оставалась так долго непристроенной. Но сейчас большего и желать нельзя: богат, любезен, чудный характер и красивый мужчина. Впрочем, моя дорогая дочурка вполне этого заслуживает. Господин Бруннер — очаровательный молодой человек с прекрасными манерами; он любит роскошь, знает жизнь, без памяти от Сесиль, он любит ее от всего сердца, и Сесиль согласна, несмотря на его трех- или четырехмиллионное состояние... Мы были гораздо скромнее в своих требованиях, но от такого преимущества вреда не будет... Нас побудило принять это решение не столько его богатство, сколько любовь, внушаемая моей дочерью,— сказала супруга председателя суда г-же Леба.— Господину Бруннеру просто не терпится, он не хочет откладывать бракосочетание ни на день дольше положенного срока.

— Он иностранец?

— Да. Но, признаюсь, я очень счастлива. Я нашла в нем не зятя, а сына. Господин Бруннер просто очаровывает своей деликатностью. Даже представить себе нельзя, с какой готовностью он согласился на то, чтобы оба супруга оставили за собой право распоряжаться своим капиталом... Это надежная гарантия для семьи. Он покупает на миллион двести тысяч земельных угодий, которые в свое время будут присоединены к Марвильскому поместью.

На следующий день появились новые вариации на ту же тему. Теперь г-н Бруннер стал уже чуть ли не вельможей, живущим на широкую ногу, денег он не считает; и если г-ну де Марвилю удастся выхлопотать грамоту о полной натурализации (не откажет же ему министр в таком пустяке!), зять станет пэром Франции. Никто не знает, какое состояние у г-на Бруннера, у него *лучший в Париже выезд;* и так далее и все в том же роде.

Та радость, с которой супруги Камюзо спешили всех оповестить о своих ожиданиях, свидетельствовала, что эта удача для них полная неожиданность.

Сейчас же после знакомства у кузена Понса г-н де Марвиль, по настоянию жены, упросил министра юстиции, старшего председателя и прокурора кассационного суда отобедать у него в тот день, когда в дом де Марвилей должен был явиться жених-феникс. Высокопостав-

ленные особы изъявили свое согласие, хотя и были приглашены незадолго до торжественного дня; все трое поняли роль, предназначенную им отцом семейства, и проявили полную готовность быть ему полезными. Во Франции охотно помогают матерям ловить богатых женихов. Граф и графиня Попино тоже не отказались украсить своим присутствием торжественный день, хотя и сочли, что приглашение дурного тона. Всего собралось одиннадцать человек. Не преминули позвать и дедушку Сесиль, старика Камюзо, с супругой, ибо общественное положение всех приглашенных должно было оказать решающее влияние на г-на Бруннера, о котором, как мы это уже видели, оповестили заранее: он-де крупнейший немецкий капиталист, человек со вкусом (ведь он полюбил *дочурку!*), будущий соперник Нусингенов, Келлеров, дю Тийе и т. д.

— Сегодня наш приемный день,— сказала хозяйка дома с заученной простотой г-ну Бруннеру, которого она уже рассматривала как своего зятя, называя ему ожидавшихся гостей,— у нас будут только свои. Отец мужа,— он, как вы знаете, должен стать пэром Франции; затем граф и графиня Попино, сын которых недостаточно богат для Сесиль, но это не мешает нам быть друзьями; министр юстиции, председатель и прокурор кассационной палаты, словом, наши друзья... Обед, к сожалению, несколько запоздает из-за заседания суда, которое всегда затягивается до шести часов.

Бруннер многозначительно посмотрел на Понса, а Понс потирал руки, словно говоря: «Это все наши друзья, мои друзья!»

Супруге председателя суда, даме весьма дипломатичной, понадобилось что-то сказать Понсу, и, таким образом, Сесиль осталась наедине со своим Вертером. Сесиль болтала без умолку, она сумела так ловко спрятать немецкий словарь, немецкую грамматику и томик Гете, что Фридриху удалось их без труда обнаружить.

— О, вы обучаетесь немецкому языку? — спросил Бруннер, покраснев.

Француженки особенно изобретательны по части таких ловушек.

— Ах, какой вы нехороший! — воскликнула Сесиль.— Разве можно рыться в моих тайниках! Я хочу

прочитать Гете в подлиннике,— прибавила она,— вот уже два года, как я учусь немецкому.

— Видно, наша грамматика очень трудно дается, ведь у вас не разрезано и десяти страниц,— сказал он в простоте душевной.

Сконфуженная Сесиль отвернулась, чтобы он не заметил, как она покраснела. Ни один немец не может устоять против такого рода проявления чувств; Бруннер взял Сесиль за руку и принудил ее, еще не оправившуюся от смущения, повернуться к нему лицом, и они посмотрели друг на друга, как смотрят жених и невеста в романах целомудренной памяти Августа Лафонтена.

— Вы очаровательны! — сказал он.

Сесиль шаловливо погрозила ему пальчиком, словно говоря: «А вы? Разве можно не полюбить вас?»

— Маменька, все идет хорошо,— шепнула она на ухо матери, вернувшейся в комнату вместе с Понсом.

Вряд ли кому под силу описать переживания семьи в подобный вечер. Все радовались, глядя на мать, которой удалось подцепить выгодного жениха для дочери. И к Бруннеру, будто бы ничего не понимавшему, и к Сесиль, отлично все понимавшей, и к председателю суда, напрашивавшемуся на поздравления, обращались с пожеланиями счастья, полными многозначительных намеков и экивоков. Понсу вся кровь бросилась в голову, в глазах у него замелькали огни театральной рампы, когда Сесиль в чрезвычайно мягкой и деликатной форме шепнула, что отец намерен назначить ему пожизненную пенсию в тысячу двести франков, но старик решительно отказался, сославшись на то, что Бруннер оценил его движимое имущество в огромную сумму.

Министр, председатель и прокурор кассационного суда, супруги Попино — все люди занятые — ушли вскоре после обеда. Остались только старик Камюзо и бывший нотариус Кардо с зятем г-ном Бертье. Добряк Понс, почувствовав себя в семейном кругу, очень некстати поблагодарил председателя суда и его супругу за сделанное ему через Сесиль предложение. Люди с добрым сердцем всегда действуют по первому побуждению. Бруннер, в котором сразу сказалось его иудейское происхождение, усмотрел в пенсии, предложенной при данных обстоя-

тельствах, как бы плату за оказанную услугу, и на лице его отразилась холодная, расчетливая задумчивость.

— Моя коллекция или вырученная за нее сумма будут принадлежать вашей семье, все равно, продам ли я ее нашему общему другу Бруннеру или оставлю за собой,— сказал Понс супругам де Марвиль, не ожидавшим, что он так богат.

От наблюдательного Бруннера не ускользнула перемена в отношениях этой невежественной в искусстве семьи к человеку, который считался всегда неимущим и вдруг оказался богачом; не ускользнула от него также и избалованность Сесиль, кумира родителей, и ему захотелось еще сильней поразить воображение этих почтенных обывателей, которые никак не могли прийти в себя от удивления.

— Я назвал мадемуазель Сесиль ту сумму, которую я бы дал за картины господина Понса; но теперь редкие произведения искусства так повысились в цене, что никак нельзя предвидеть, сколько можно выручить за эту коллекцию при продаже с аукциона. За шестьдесят картин могут дать миллион, там есть такие, что стоят, на мой взгляд, не меньше пятидесяти тысяч франков.

— Не плохо быть вашим наследником,— сказал бывший нотариус Понсу.

— Но у меня одна наследница — моя кузиночка Сесиль,— ответил Понс, настойчиво подчеркивавший свои родственные отношения с семейством Камюзо.

Слова старого музыканта вызвали общий восторг.

— Весьма богатая наследница,— смеясь, заметил собравшийся уходить Кардо.

В гостиной остались Камюзо-отец, председатель суда, его супруга, Сесиль, Бруннер, Бертье и Понс, ожидавшие, что Бруннер тут же сделает официальное предложение. Действительно, после ухода Кардо Бруннер обратился к родителям невесты с вопросом, который они истолковали как хорошее предзнаменование.

— Насколько я понял,— сказал он, обращаясь к г-же де Марвиль,— мадемуазель Сесиль ваша единственная дочь...

— Ну, разумеется,— с гордостью ответила она.

— Никаких недоразумений возникнуть не может,— прибавил Понс, желая побудить Бруннера объясниться.

Но лицо Бруннера вдруг стало озабоченным, и от воцарившегося странного молчания повеяло роковым холодом, словно г-жа де Марвиль призналась, что ее *дочурка* припадочная. Г-н де Марвиль рассудил, что дочери оставаться здесь дольше не следует, и моргнул ей, Сесиль поняла и вышла. Бруннер молчал. Все переглянулись. Положение становилось неловким. Старик Камюзо, человек с большим житейским опытом, увел немца в спальню г-жи де Марвиль под тем предлогом, что покажет ему веер, разысканный Понсом; догадавшись, что возникли какие-то затруднения, он дал понять сыну, невестке и Понсу, чтобы его оставили наедине с женихом.

— Вот он — это шедевр! — сказал старый торговец шелком, показывая веер.

— Цена ему не меньше пяти тысяч франков,— заметил Бруннер, внимательно осмотрев вещицу.

— Скажите, сударь,— спросил будущий пэр Франции,— вы ведь пожаловали к нам, чтоб просить руки моей внучки?

— Да, сударь,— ответил Бруннер,— и поверьте, я считаю этот брак чрезвычайно для себя лестным. Я не встречал другой такой красивой, такой любезной молодой особы, мадемуазель Сесиль как раз то, что мне нужно, но...

— Ах, голубчик, какие там «но»,— перебил его дедушка Камюзо,— давайте сейчас же посмотрим, что у вас за «но»...

— Сударь,— серьезно сказал Бруннер,— я очень счастлив, что ни та, ни другая сторона не взяла на себя никаких обязательств, ибо то обстоятельство, что мадемуазель Сесиль единственная дочь, столь ценное для всех, кроме меня, обстоятельство, которое, поверьте, не было мне известно, является непреодолимым препятствием...

— Как, в ваших глазах это огромное преимущество — недостаток? — удивился старик Камюзо.— Ваше поведение совершенно непонятно, и мне бы очень хотелось узнать его причину.

— Сударь, я пришел сегодня вечером с твердым намерением просить у господина председателя суда руки его дочери,— флегматично ответил немец.— Я хотел

окружить роскошью мадемуазель Сесиль, предоставив ей все, что ей угодно было бы пожелать; но единственные дочери, привыкшие к баловству в родительском доме, обычно бывают капризны и строптивы. Я не раз имел случай наблюдать, как домашние боготворят этих кумиров; здешнее семейство нисколько не отличается от прочих: мало того, что ваша внучка — божок в семье, да и перед супругой господина председателя суда в этом доме все тоже... ну, да что говорить, вы сами понимаете. Сударь, я был свидетелем того, как семейная жизнь моего отца превратилась в настоящий ад по той же самой причине. Моя мачеха — причина всех моих бедствий,— единственная, обожаемая дочь, самая завидная невеста, стала сущим дьяволом. Я не сомневаюсь, что мадемуазель Сесиль — исключение из этого правила; но я уже не мальчик, мне сорок лет, и при такой разнице в возрасте я не могу дать счастье молодой особе, привыкшей, что мамаша пляшет под ее дудку и восторгается каждым ее словом, как прорицанием оракула. По какому праву могу я требовать, чтобы мадемуазель Сесиль ради меня изменила своим взглядам и привычкам? Вместо отца и матери, потворствующих ее причудам, ей придется иметь дело с сорокалетним эгоистом; если она заупрямится, сорокалетнему эгоисту придется сдаться. Я поступаю как честный человек, я ретируюсь. Если же понадобятся какие-либо объяснения тому обстоятельству, что после этого единственного визита я больше не вернусь сюда, я бы хотел, чтобы вина пала исключительно на меня...

— Если ваши мотивы действительно таковы,— сказал будущий пэр Франции,— то при всей своей странности они обоснованны.

— Сударь, прошу вас не сомневаться в моей искренности,— живо перебил его Бруннер.— Если вы знаете какую-нибудь бедную девушку из многодетной семьи, без приданого, но благовоспитанную,— таких во Франции не мало,— и если у нее добрый нрав, я женюсь на ней.

Воспользовавшись молчанием, наступившим за этим объяснением, Фридрих Бруннер покинул Камюзо, вернулся в гостиную, вежливо откланялся и ушел. Сесиль, бледная как смерть, могла служить живым коммента-

рием к прощальному поклону своего Вертера,— она спряталась в гардероб матери и слышала все.

— Отказался! — шепнула она на ухо матери.

— Какая причина? — спросила г-жа де Марвиль у своего свекра.

— Под тем благовидным предлогом, что единственные дочери слишком набалованы,— ответил старик.— И в этом есть доля истины,— прибавил он, не желая упустить случая кольнуть невестку, которая порядочно надоела ему за двадцать лет.

— Сесиль не вынесет! И вы ее убийца!..— сказала супруга председателя суда Понсу, поддерживая дочь, которая сочла нужным оправдать слова матери и без чувств склонилась к ней на грудь.

Председатель суда и его супруга подтащили Сесиль к креслу, и там она благополучно упала в обморок. Дедушка позвонил прислуге.

— Теперь я понимаю, чьи это козни, милостивый государь! — воскликнула разъяренная мать, указывая на бедного Понса.

Понс подскочил, словно у него над ухом раздался звук трубы судного дня.

— Вам, милостивый государь,— обратилась к нему г-жа де Марвиль, зеленые глаза которой словно источали яд,— вам, милостивый государь, было угодно отплатить оскорблением за невинную шутку. Ну кто поверит, что этот немец в здравом уме? Либо он соучастник вашей подлой мести, либо он сумасшедший. Надеюсь, господин Понс, что вы избавите нашу семью от неудовольствия принимать вас у себя и впредь не будете посещать дом, который вы попытались обесчестить и опорочить.

Окаменевший от неожиданности Понс, не отрываясь, глядел на какую-то завитушку на ковре и вертел большими пальцами.

— Как, вы еще здесь, змея подколодная!..— воскликнула председательша, взглянув на него.— Для этого господина, когда бы он к нам ни пожаловал, ни меня, ни барина нет дома! — распорядилась она, указав слугам на Понса.— Жан, сходите за доктором! А вы, Мадлена, принесите туалетный уксус.

Госпожа де Марвиль сочла, что причины, на которые сослался Бруннер,— простой предлог и что здесь

кроется что-то иное; но в таком случае снова наладить расстроившийся брак было еще труднее. С сообразительностью, свойственной женщинам в трудные минуты, г-жа де Марвиль смекнула, что поправить такой афронт можно только, приписав Понсу заранее обдуманный план мести. Такое объяснение, гибельное для Понса, спасало честь семьи. Г-жа де Марвиль всегда терпеть не могла старого музыканта, и потому простое женское подозрение превратилось в ее глазах в незыблемую истину. У женщин вообще своя мораль и особый дар верить в действительное существование того, что им выгодно и потворствует их страстям. Председательша на этом не успокоилась — она весь вечер старалась внушить мужу, что ее догадка правильна, и к утру окончательно убедила его в виновности кузена Понса. Конечно, все сочтут поведение г-жи де Марвиль чудовищным, но при подобных обстоятельствах всякая мать поступила бы так же, предпочтя пожертвовать честью человека постороннего ради чести дочери. Средства могут быть иными, но цель будет все та же.

Старик музыкант быстро спустился по лестнице, но, вступив на бульвар, замедлил шаг и так, почти машинально, добрался до самого театра. Машинально занял он свое место за пюпитром, машинально взмахнул палочкой. В антрактах он так сбивчиво отвечал на вопросы Шмуке, что тот втайне забеспокоился, подумав, что Понс сошел с ума.

Младенчески чистый душой, Понс воспринял только что разыгравшуюся сцену как непоправимую катастрофу... Возбудить ужасную ненависть в сердцах людей, которых он хотел осчастливить,— да ведь это же равносильно полному краху всего существования. По взглядам, по жестам, по голосу супруги председателя суда он, наконец, понял, как смертельно она его ненавидит.

На следующий день г-жа Камюзо де Марвиль с согласия мужа решилась на важный шаг, вызванный, впрочем, обстоятельствами. Родители надумали дать в приданое за Сесиль Марвильское поместье, особняк на Ганноверской улице и сто тысяч франков. Утром супруга председателя суда отправилась к графине де Попино, поняв, что после такого афронта остается только одно — немедленно выдать Сесиль замуж. Она поведала

о злодейской мести и чудовищном подвохе, подстроенном Понсом. Когда она рассказала, что предлогом для разрыва послужило то обстоятельство, что Сесиль единственная дочь,— все остальное показалось вполне правдоподобным. Кроме того, супруга председателя суда ловко козырнула огромным приданым и преимуществом носить фамилию Попино де Марвиль. При теперешних ценах на земли в Нормандии, при двух процентах годовых, стоимость этого поместья составляла примерно девятьсот тысяч, а особняк на Ганноверской улице был оценен в двести пятьдесят тысяч. Всякая разумная семья согласилась бы на такой брак, и граф Попино с женой приняли предложение. Кроме того, они обещали свое содействие для объяснения вчерашнего печального события.

Короче говоря, у того же самого старика Камюзо, дедушки Сесиль, в присутствии тех же самых лиц, которые были там несколько дней тому назад и перед которыми г-жа де Марвиль пела хвалу Бруннеру, эта же самая г-жа де Марвиль, с которой никто не решался заговорить, первая бросилась в атаку, желая предупредить возможные вопросы.

— Ах, в наши дни,—сказала она,—нужно быть чрезвычайно осмотрительной, когда дело касается брака, особливо ежели имеешь дело с иностранцем.

— Почему же, сударыня?

— А что такое у вас произошло? — спросила г-жа Шифревиль.

— Разве вы не слышали, какая приключилась история с этим самым Бруннером, который имел дерзость добиваться руки Сесиль? Он оказался сыном какого-то немецкого кабатчика, племянником торговца заячьими шкурками.

— Не может быть! При вашей-то проницательности!..— воскликнула одна из дам.

— Ах, эти проходимцы так хитры! Но мы все узнали от Бертье. Лучший друг этого немца какой-то нищий флейтист! Он в родстве с человеком, который держит меблированные комнаты на улице дю Майль, с портными... Мы узнали, что он вел самый беспутный образ жизни; гуляке, уже прокутившему состояние матери, никакого капитала не хватит...

— Да, с ним ваша дочь натерпелась бы горя,— сказала г-жа Бертье.

— А где вы с ним познакомились? — поинтересовалась старая г-жа Леба.

— Это месть со стороны господина Понса; он познакомил нас с этим франтом, чтобы посмеяться над нами... Этот немец по фамилии Бруннер, что означает «Колодец» (а нам-то сказали, будто он знатного роду!), слабого здоровья, лысый, с гнилыми зубами; мне он с первого взгляда не внушал доверия.

— А огромное состояние, о котором вы рассказывали? — робко молвила одна молодая особа.

— Состояние не так велико, как говорили. Портные, хозяин меблированных комнат и Бруннер, все вместе наскребли сумму, необходимую для основания банкирского дома... А что такое в наши дни учредить новый банк? Взять патент на разорение. Жена может лечь спать миллионершей, а проснувшись наутро, узнать, что у нее ничего не осталось, кроме собственного приданого. С первого же слова, с первого взгляда мы составили себе мнение об этом субъекте, совершенно незнакомом с обычаями нашего круга. По его перчаткам, по его жилету видно, что это мастеровой, сын немецкого кухмистера; ему непонятны благородные чувства, он пьет пиво и курит... поверите ли, по двадцать пять трубок в день! Какая была бы жизнь у бедняжки Лили?.. Меня и сейчас еще дрожь берет. Бог нас спас! Да он Сесиль и не нравится... Ну, разве мы могли ждать подобного обмана от родственника, от нашего постоянного гостя, который вот уже двадцать лет обедает у нас два раза в неделю! Мы осыпали его благодеяниями, а он так ловко разыграл комедию, даже назвал Сесиль своей наследницей в присутствии министра юстиции, прокурора и председателя кассационного суда!.. И этот Бруннер и господин Понс сговорились и изобразили друг друга миллионерами!.. Уверяю вас, вы бы все попались на удочку такого актера!

Не прошло и нескольких недель, и соединенными усилиями семьям Попино и Камюзо с их приспешниками удалось без труда овладеть мнением света, ибо никто не не встал на защиту бедняги Понса, ославленного прихлебателем, надевшим личину, скрягой, прикинувшимся добряком; теперь его презирали, он был покрыт позором,

его называли змеей, пригретой на груди, неслыханным злодеем, опасным комедиантом, заслуживающим забвение.

Месяц спустя после отказа мнимого Вертера несчастный Понс, пролежавший все это время в нервной горячке, впервые вышел под руку со Шмуке пройтись по бульварам и погреться на солнышке. На этот раз никто на бульваре не смеялся над обоими щелкунчиками, все были поражены изможденным видом Понса и растроганы заботливостью старого немца о своем только что оправившемся друге. Дойдя до бульвара Пуассоньер, Понс чуть-чуть порозовел, дохнув воздухом бульваров, обладающим поистине целебными свойствами, ибо от толпы исходит такая живительная сила, что в Риме, в еврейском гетто, при тамошней скученности, неизвестна mala aria [1]. Возможно также, что больной оживился при виде кипучей парижской жизни, всегда радовавшей его. Напротив театра Варьете Понс отпустил руку Шмуке и подошел к какой-то витрине, во время прогулки он уже не раз покидал своего друга, чтоб полюбоваться выставленными новинками. И вот он столкнулся нос к носу с графом Попино и поздоровался с ним весьма почтительно, так как бывший министр принадлежал к числу людей, которых Понс очень уважал и ценил.

— Сударь,— строго остановил его пэр Франции,— не понимаю, как у вас хватает наглости раскланиваться с человеком, связанным с семьей, которую вы из чувства мести пытались опозорить и выставить в смешном виде с изобретательностью, свойственной вашему брату артисту. Позвольте вам заявить, что с сегодняшнего дня мы с вами незнакомы. Моя супруга разделяет общее негодование, вызванное вашим поступком с семейством Марвилей.

Бывший министр повернулся и ушел, не обращая внимания на совершенно сраженного Понса. Ни человеческие страсти, ни правосудие, ни политика, ни великие силы, движущие обществом, не считаются с состоянием живого существа, на которое они обрушивают свои удары. Государственный деятель, в интересах своей семьи

---

[1] Малярия *(итал.)*.

стремившийся уничтожить Понса, даже не заметил, что этот опасный враг еле стоит на ногах.

— *Што с тобой слютшильось, мой бедный друг?* — воскликнул Шмуке, побледнев не менее Понса.

— Они опять вонзили мне кинжал в сердце,— ответил старик, беря Шмуке под руку.— Видно, одному господу богу принадлежит право творить добро, вот почему и бывают так жестоко наказаны люди, пожелавшие взять на себя его миссию.

Этот превосходный человек, сделав над собой неимоверное усилие, прибег к сарказму, чтобы рассеять ужас, изобразившийся на лице его друга.

— *Завершенна правда,*— просто ответил Шмуке.

Понс никак не мог понять, в чем тут дело, ибо ни Камюзо, ни Попино не послали ему пригласительных билетов на свадьбу Сесиль. На Итальянском бульваре он увидел шедшего ему навстречу г-на Кардо. После отповеди пэра Франции Понс насторожился и потому поостерегся и не подошел к г-ну Кардо, у которого еще в прошлом году обедал два раза в месяц. Он поклонился ему издали, но г-н Кардо, парижский мэр и депутат, бросил на старика негодующий взгляд и не ответил на поклон.

— Пойди спроси у него, чем я им всем не угодил,— сказал старый музыкант своему другу, который знал во всех подробностях обрушившееся на Понса несчастье.

— *Зударь, мой друг Понс только што вставаль после тяшелей больезнь, и ви его, дольшно бить, не узнавали,*— дипломатично сказал Шмуке, подошедши к Кардо.

— Отлично узнал.

— *Так тшем ше он перед вами провинилься?*

— Таких неблагодарных людей, как ваш друг, поискать надо; если они еще вообще существуют, так это только подтверждает правильность поговорки, что сорная трава два века живет. Свет имеет свои основания не доверять фиглярам. Они хитры и злы, как обезьяны. В отместку за невинную шутку ваш друг собирался осрамить родственников, погубить репутацию девушки; больше я не хочу иметь с ним ничего общего, постараюсь забыть, что я был с ним знаком, что он существует. И эти чувства разделяют все мои, все наши общие родствен-

ники и все люди, оказывавшие честь этому господину, принимая его у себя...

— *Но ведь ви ше, зударь, тшельовек рассудительный; и ешели ви разрешайте, я буду объяснять вам все обстоятельстви...*

— Оставайтесь и впредь его другом, раз вам так нравится, это ваше частное дело, но от всего прочего увольте,— возразил Кардо,— я должен вас предупредить, что с таким же осуждением отнесусь ко всякому, кто будет пытаться оправдать Понса или встать на его защиту.

— *А ешели кто будет сделять попитка его обьелить?*

— И к тем тоже, ибо его нельзя обелить, не очернив себя самого.

Отпустив такую остроту, депутат от департамента Сены пошел своей дорогой, не желая больше ничего слушать.

— Я вооружил против себя две силы в государстве,— с улыбкой заметил бедный Понс, когда Шмуке передал ему злобные обвинения Кардо.

— *Ми всех воорушили против себья,*— с горечью возразил Шмуке.— *Бистро будем итти домой, а то ми мошем встретшать ешше дураки.*

Впервые за всю свою жизнь безропотный, как овца, Шмуке произнес такие слова. До сих пор ничто не смущало его почти ангельской кротости, он с чистосердечной улыбкой встретил бы любое обрушившееся на него несчастье; но ведь сейчас пренебрегли его великим Понсом, этим непризнанным Аристидом, этим гением, обрекшим себя на безвестность, чистым, беззлобным человеком, сокровищницей доброты, золотым сердцем!.. Он возмущался не менее Альцеста и обзывал амфитрионов Понса дураками! Этот гневный порыв у человека, обычно столь миролюбивого, был равносилен неистовству Роланда. В мудром предвидении Шмуке повел Понса обратно к бульвару Тампль; и Понс покорно пошел за ним, ибо больной старик был в том состоянии, что и борец, который уже не чувствует сыплющихся на него ударов. Случаю было угодно, чтоб бедный музыкант испил чашу до дна, чтоб на него обрушилась вся лавина: палата пэров, палата представителей, семья, посторонние, сильные, слабые, даже чистые сердцем!

Возвращаясь домой, Понс встретил на бульваре

Пуассоньер дочь этого же самого Кардо, молодую женщину, испытавшую много горя и потому снисходительную к другим. Она изменила мужу, он покрыл ее грех, и с тех пор она стала его рабой. Из всех дам, у которых обедал Понс, одну г-жу Бертье он называл по имени «Фелиси», и иногда ему казалось, что она понимает его душу. Эта кроткая женщина как будто была недовольна встречей с кузеном Понсом. Понс не состоял ни в каком родстве с семьей второй жены старика Камюзо, приходившегося ему двоюродным братом,— тем не менее к старому музыканту относились там по-родственному. Фелиси не могла избежать встречи и заговорила с измученным болезнью Понсом.

— Я не думала, что вы такой злой человек, кузен; но если и четвертая доля того, что про вас говорят, правда, то в вас очень много фальши... Нет, не оправдывайтесь! — быстро прибавила она, когда Понс хотел раскрыть рот.— Это бесполезно по двум причинам: во-первых, потому, что я не имею права обвинять, судить и осуждать кого бы то ни было, на себе испытав, что люди, как будто даже самые виноватые, заслуживают снисхождения; во-вторых, потому, что ваши доводы ни к чему не приведут. Мой муж составлял брачный контракт между мадемуазель де Марвиль и виконтом Попино; он страшно возмущен вами, и ежели он только узнает, что мы перемолвились хоть словом, что я на прощание заговорила с вами, он будет меня бранить. Против вас все.

— Я сам это вижу! — ответил взволнованным голосом бедный музыкант, почтительно поклонившись супруге нотариуса.

И он побрел домой, на Нормандскую улицу, так тяжело опираясь на руку старого немца, что тот понял, как велика физическая слабость его друга и как мужественно он старается ее побороть. Эта третья встреча явилась как бы приговором из уст кроткого агнца, покоящегося у подножия трона господня; и гнев этого ангела-хранителя несчастных, символизирующий глас Народов, прозвучал как окончательный приговор небес. Друзья вернулись домой, не обменявшись ни словом. Бывают такие минуты в жизни, когда достаточно чувствовать рядом с собой друга. Слова утешения могут лишь растравить рану, и она начинает кровоточить. Вы видите.

что старичок пианист умел быть истинным другом; он был чуток, так как сам много выстрадал и знал цену страданиям.

Этой прогулке суждено было стать последней прогулкой Понса. Едва оправившись от одного недуга, он заболел снова. Он отличался сангвинически-желчным темпераментом, и теперь у него разлилась желчь и началось воспаление печени. До тех пор он ничем не болел и потому не обращался к врачам. И вот отзывчивой и преданной тетке Сибо пришла поначалу похвальная, можно даже сказать материнская мысль — побежать за врачом, практиковавшим в их же квартале. В Париже в каждом квартале есть врач, фамилию и адрес которого знает только бедный люд — мелкие торговцы, привратники — и которого так и называют квартальным врачом. Такой врач принимает роды, пускает кровь и состоит в медицине на ролях одной прислуги. Профессия обязывает его быть добрым с бедняками, долголетняя практика дает достаточный опыт, и поэтому он обычно пользуется любовью пациентов. Доктор Пулен, приведенный к больному привратницей и встреченный Шмуке, знавшим его, выслушал без особого внимания жалобы старого музыканта, который за ночь расчесал себе все тело,— кожа его потеряла чувствительность. Желтые пятна под глазами тоже были симптоматичны.

— Дня два тому назад вы, верно, пережили большое огорчение,— сказал доктор больному.

— Увы, да! — ответил Понс.

— Вы больны тем, чем едва не заболел вот этот господин,— сказал доктор Пулен, указывая на Шмуке,— желтухой, но страшного ничего нет,— прибавил он, выписывая рецепт.

Правда, врач успокоил больного, однако он бросил на него один из тех гиппократовых взглядов, в которых люди, заинтересованные в том, чтоб узнать правду, конечно, прочтут смертный приговор, пусть даже скрытый под личиной сочувствия. И тетку Сибо, сверлящим взглядом впившуюся в глаза врача, не провели ни интонация его слов, ни его лицемерная улыбка, и она вышла вслед за ним на площадку лестницы.

— Вы думаете, что страшного ничего нет? — спросила привратница у доктора.

— Дорогая мадам Сибо, вашему хозяину конец, и не потому, что у него разлилась желчь, а по причине его полной душевной подавленности. Но при очень хорошем уходе его еще можно спасти; надо было бы увезти его отсюда, отправить путешествовать...

— А на какие деньги?..— сказала привратница.— У него, *значить*, только и доходу, что жалованье, а его друг получает небольшую пенсию от знатных барынь, от благодетельниц, которым он, говорит, оказал какие-то там услуги. Я за ними обоими, как за детьми, уже девять лет хожу.

— Всю свою жизнь я лечу людей, которые умирают не от болезней, а от глубокой и неизлечимой язвы — от безденежья. В иной мансарде я не только не получаю за визит, а сам еще оставляю сто су на краешке камина.

— Ах, вы наш благодетель! — сказала тетка Сибо.— Вам бы сто тысяч ливров доходу, вы бы ангелом господним на земле были, не то что некоторые люди у нас по соседству, такие скупердяи, такие *прокаженные* (прожженные) негодяи, право слово!

Врач, пользовавшийся уважением среди привратников всего квартала и благодаря им составивший себе небольшую клиентуру, которая давала ему возможность сводить концы с концами, возвел глаза к небу и поблагодарил тетку Сибо взглядом, достойным Тартюфа.

— Так вы говорите, господин доктор, что при хорошем уходе наш дорогой больной мог бы поправиться?

— Да, если только на него не очень подействовало пережитое им горе.

— Бедняжка! Кто ж это его так разогорчил? Уж такой он хороший, такой хороший, других таких, как они с господином Шмуке, и на земле нет!.. Дайте мне только разнюхать, чье это дело! Уж я им покажу, пусть другой раз моих господ не трогают...

— Послушайте, мадам Сибо,— сказал доктор, стоя уже на пороге парадного,— один из главных признаков болезни вашего хозяина — это постоянная раздражительность по пустякам, а так как он навряд ли сможет нанять сиделку, то ухаживать за ним придется вам. Поэтому...

— Вы это о господине Понсе разговариваете? — поинтересовался торговец железным ломом, куривший трубку, сидя на тумбе у порога лавки.

И он встал и вмешался в разговор.

— Да, дядюшка Ремонанк! — ответила овернцу тетка Сибо

— Ну, так он будет побогаче господина Монистроля и самых крупных торговцев старинными вещами... Я в этом деле толк знаю и могу вам сказать, что у старика не коллекция, а настоящий клад.

— Гм, а я думала, что вы надо мной смеялись в тот раз, когда *моих господ* дома не было и я вам все ихнее старье показывала,— сказала привратница Ремонанку.

В Париже, где у мостовой есть уши, у дверей — язык, у оконных рам — глаза, всего опаснее разговоры у парадного подъезда. В словах, которыми заканчивается разговор, как в постскриптуме, всегда проявляется излишняя откровенность, одинаково опасная и для тех, кто разоткровенничался, и для тех, кто слушает. Небольшого примера будет достаточно, чтобы подтвердить то, что описано в этой повести.

Как-то один из лучших парикмахеров эпохи Империи, когда все очень ухаживали за своими волосами, вышел из дома, где он только что причесывал хорошенькую женщину и где все богатые жильцы были его клиентами. Среди этих жильцов был некий старый холостяк, процветавший под защитой домоправительницы, которая ненавидела наследников своего хозяина. Этот бывший молодой повеса был серьезно болен, и у него как раз кончился консилиум знаменитых врачей, которых тогда еще не именовали светилами науки. По воле случая, врачи вышли на улицу одновременно с парикмахером и, прощаясь на пороге дома, разговорились о своей науке и о своем пациенте с той откровенностью, с какой говорят без посторонних, когда комедия консилиума окончена. «Этому человеку конец»,— сказал доктор Одри. «Он и месяца не протянет,— прибавил Деплен,— разве только случится какое чудо». Парикмахер услышал их слова. Как все парикмахеры, он был в добрых отношениях с прислугой. Под влиянием чудовищной алчности он поднялся по лестнице в квартиру бывшего молодого повесы и пообещал экономке изрядную сумму, ежели она убедит

хозяина уступить добрую часть своего недвижимого имущества на условиях выплаты ему пожизненной ренты. Старому холостяку, стоявшему одной ногой в могиле, было всего пятьдесят шесть лет, но он провел очень бурную молодость и потому для него год шел за два; на улице Ришелье у него был великолепный дом, стоивший в ту пору двести пятьдесят тысяч франков. Этот-то дом, предмет вожделений парикмахера, и был ему продан за тридцать тысяч франков пожизненной ренты. Дело происходило в 1806 году. Парикмахер — ушедший теперь на покой семидесятилетний старик — и в 1846 году все еще выплачивает ренту. Бывшему молодому повесе, женившемуся на своей мадам Эврар, сейчас идет девяносто седьмой год; он уже впал в детство и может протянуть еще очень долго. Парикмахер дал сверх того тысяч тридцать экономке,— значит, дом обошелся ему уже больше миллиона; но и цена на дома сейчас возросла до восьмисот — девятисот тысяч франков.

Подобно этому парикмахеру, овернец слышал последние слова, сказанные Бруннером Понсу на пороге дома в тот день, когда состоялось знакомство жениха-феникса с Сесиль; Ремонанк загорелся желанием проникнуть в музей Понса. Поскольку он жил в добрососедских отношениях с четой Сибо, привратница во время отсутствия обоих друзей провела его в их квартиру. Ремонанк, потрясенный таким богатством, понял, что тут можно славно подработать,— на жаргоне торговцев это означает здорово нажиться на чужой счет,— и вот он уже дней пять-шесть обдумывал это дело.

— Ничего я тогда не смеялся,— возразил он тетке Сибо и доктору Пулену,— мы еще об этом потолкуем; чего бы лучше вашему хозяину получать ежегодно до самой смерти пятьдесят тысяч франков; я поставлю вам корзину овернского вина, ежели вы...

— Да вы что, шутите? — сказал доктор Ремонанку.— Пятьдесят тысяч франков до самой смерти!.. Да если старик так богат, то мы с мадам Сибо общими стараниями его еще выходим... ведь болезни печени обычно бывают вызваны сильным душевным расстройством...

— Разве я сказал — пятьдесят? Да тут вот, на пороге вашего дома, один господин предложил ему шестьсот тысяч франков, и за одни только картины!

Услышав слова Ремонанка, тетка Сибо посмотрела на доктора Пулена странным взглядом: дьявол-искуситель зажег в ее желтых глазах зловещий огонек.

— Ладно, нечего слушать всякий вздор,—сказал доктор, обрадованный приятной новостью, что пациент может оплатить все предстоящие визиты.

— Господин доктор, ведь хозяин-то все равно в постели лежит, вот бы мадам Сибо и позволила мне привести оценщика, тогда бы уж я деньги через два часа предоставил, хоть все шестьсот тысяч франков...

— Хватит, голубчик! — ответил доктор.— Слушайте, мадам Сибо, постарайтесь ничем не волновать больного; заранее наберитесь терпения; знайте, его все будет раздражать, все утомлять, даже ваши заботы; приготовьтесь к тому, что ему очень трудно угодить...

— Пойдет теперь привередничать,— вздохнула привратница.

— Выслушайте меня внимательно,— властно перебил ее доктор.— Жизнь господина Понса зависит от тех, кто будет за ним ухаживать; поэтому я постараюсь навещать его два раза на день. Я буду начинать свои визиты с него...

Как только врач по серьезному тону торговца понял, что у г-на Понса действительно может быть огромное состояние, он сразу перешел от глубокого безразличия, с которым относился к судьбе своих бедных пациентов, к самой трогательной заботе.

— Я за ним, как за *принцем*, ходить буду,— ответила тетка Сибо с напускным пылом.

Привратница подождала, чтобы врач исчез за углом улицы Шарло, и только тогда возобновила разговор с Ремонанком. Торговец железным ломом, прислонившись спиной к косяку двери, докуривал трубку на пороге лавки. Он не зря принял эту позу, он дожидался, чтобы привратница сама подошла к нему.

Помещение, ходившее прежде под кофейней, осталось в том же виде и теперь, когда овернец снял его под свою торговлю. Еще и сейчас на длинной вывеске, украшающей стеклянную дверь всех современных лавок, виднелась надпись: «Кофейня «Нормандия». Какой-то мальчишка-маляр, должно быть по дешевке, вывел черной краской на оставшемся свободным пространстве под

словами: «Кофейня «Нормандия» — *Ремонанк, торговля железным ломом, скупка случайных вещей.* Само собой разумеется, что зеркала, столы, табуретки, полки и прочее оборудование кофейни «Нормандия» было продано. Ремонанк за шестьсот франков снял под лавку голое помещение, с задней комнатой, кухней и комнатушкой на антресолях, где раньше ночевал старший кельнер; а квартира, примыкавшая к кофейне, отошла другому нанимателю. От былой роскоши питейного заведения остались только зеленые гладкие обои в лавке да крепкие железные засовы с болтами на витринах.

Водворившись на месте в 1831 году после Июльской революции, Ремонанк начал с того, что выставил на продажу поломанные колокольчики, треснувшие блюда, железный лом, старые весы, гири, запрещенные к употреблению после введения новых мер, не соблюдаемых только самим государством, ибо оно не изъяло из обращения монеты в одно и в два су, выпущенные еще в царствование Людовика XVI. Затем наш овернец, который смело мог заткнуть за пояс пятерых других овернцев, накупил кухонной утвари, старых рамок, старой бронзы, фарфоровой посуды с отбитыми краешками. Понемногу пополняясь новыми вещами и освобождаясь от старых, лавка начала походить на фарсы Николе; товар становился выше сортом. Хозяин продолжал вести все ту же прибыльную и верную игру, все повышая ставки, и достигнутые им результаты могли бы дать пищу для размышления прохожим, склонным пофилософствовать насчет того, как возрастает ценность товаров в лавках таких сметливых торговцев. Сначала жесть, лампы и всякие черепки уступают место рамам и бронзе. Затем появляется фарфор. Вскоре лавка из собрания старого хлама превращается в собрание древностей. И, глядишь, в один прекрасный день пыльные стекла уже протерты, помещение внутри отделано заново. Овернец сменил плисовые штаны и куртку на сюртук. Он, как дракон, стережет свои сокровища; его окружают шедевры, он стал знатоком, он приумножил свой капитал, и теперь его уже никому вокруг пальца не обвести, он до тонкости постиг свое ремесло. Хозяин-паук тут — словно старая сводня среди юных красоток, которых она расхваливает покупателям. Прекрасные чудеса искусства не трога-

ют этого грубого и хитрого человека, подсчитывающего барыши и надувающего невежд. Он научился разыгрывать комедию и теперь притворяется, будто ему жаль расстаться со своими полотнами и мебелью штучной работы, или же уверяет, что стеснен в средствах, ссылается на вымышленные суммы, уплаченные при покупках, предлагает показать счета. Это какой-то Протей, он одновременно Жокрис, Жано, паяц и Мондор, и Гарпагон, и Никодем.

Уже на третий год в лавке Ремонанка появились довольно красивые часы, доспехи, старые картины; во время его отлучек лавку сторожила толстая, уродливая женщина, его сестра, выписанная им в Париж из провинции и добравшаяся до столицы пешком. Придурковатая сестра Ремонанка, с мутным взглядом, разряженная, как японский божок, не спускала ни сантима с цены, назначенной братом; она хозяйничала в доме и удачно разрешала, казалось бы, неразрешимую задачу—как питаться туманами Сены. Ремонанк с сестрой сидели на хлебе с селедкой, ели картофельные очистки, остатки овощей, подобранные в мусорных кучах, во дворах кухмистерских. Они вдвоем не проедали, считая и хлеб, больше двенадцати су в день, да и то эти деньги сестра зарабатывала шитьем и пряжей.

История многих торговцев стариной напоминает карьеру Ремонанка, пришедшего в Париж на заработки и с 1825 по 1831 год проработавшего маклером у антикваров с бульвара Бомарше и медников с улицы Лапп. У евреев, нормандцев, овернцев и савойцев, представителей четырех различных племен, одни и те же инстинкты, и наживают они состояние одинаковым путем. Для них существует одна заповедь — не тратить ни гроша, не гнаться за большими барышами и копить и барыши и проценты. И заповедь эта оправдала себя.

В данный момент Ремонанк, помирившийся с своим бывшим хозяином Монистролем, вел дела с крупными антикварами и маклачил в парижских пригородах, которые, как известно, занимают не менее сорока лье в окружности. За четырнадцать лет он нажил капитал в шестьдесят тысяч франков и полную лавку товара. Он поторговывал на Нормандской улице, где его удерживала дешевизна помещения, и перепродавал свои товары

другим продавцам, не гоняясь за большими барышами и побочным заработком. При всех своих сделках он пользовался овернским, иначе говоря, тарабарским наречием. Ремонанк лелеял одну мечту — он жаждал открыть лавку на бульварах; он хотел стать настоящим антикваром и иметь дело непосредственно с любителями. Надо сказать, что в нем таился выжига, готовый на все. От привычки к физическому труду лицо его стало стоически бесстрастным, как у солдат 1799 года, а от постоянной возни с железом, так как он все делал сам, оно покрылось слоем металлической пыли, впитавшейся в потную кожу, и стало непроницаемым. Ремонанк был приземист и жилист, в его холодно-голубых свиных глазках сосредоточилась насмешливая хитрость, еврейская алчность; в них не было только притворного самоунижения евреев и их глубокого презрения к христианам.

Отношения между четой Сибо и семьей Ремонанка были отношениями благодетеля к облагодетельствованному. Тетка Сибо, не сомневавшаяся в крайней бедности овернца, продавала ему по баснословно дешевой цене остатки от обедов г-на Шмуке и мужа. Ремонанк платил ей два с половиной сантима за фунт черствых корок и хлебных крошек, полтора сантима за миску картошки и в том же роде за все остальное. Никто не мог предположить, что Ремонанк ведет дела на свой страх и риск. Он всех уверял, что работает на Монистроля и вечно плакался, что его обирают богатые торговцы, и супруги Сибо искренне жалели Ремонанков. Уже одиннадцать лет овернец носил все те же плисовые штаны, плисовую куртку и плисовый жилет; но эти три атрибута национального костюма овернцев пестрели заплатами, которые Сибо ставил ему даром. Как видно, евреи не только те, кто исповедует иудейскую веру.

— Вы это не на смех, Ремонанк? — спросила привратница.— Да статочное ли это дело, чтоб от такого богатства, да жить так, как живет господин Понс? У него никогда и ста франков нет!..

— Все они, любители, такие! — назидательно изрек Ремонанк.

— *Значить*, вы и вправду думаете, что у моего хозяина добра на семьсот тысяч франков?..

— Одних картин на столько... У него такая картина есть, что, запроси он за нее пятьдесят тысяч, я бы не удивился и деньги хоть из-под земли, а достал бы... Видали, у него есть бронзовые с эмалью рамочки, а в них портреты на красном бархате?.. Так это эмали Петито, за которые один министр, бывший москательщик, по тысяче экю за штуку отваливает...

У привратницы глаза полезли на лоб.

— Там их тридцать штук в обеих рамках! — сказала она.

— Ну вот, теперь сами про него понимать можете, какой он есть богач!

Голова закружилась у тетки Сибо, она разом повернулась и в мгновение ока исчезла за дверью. Она дала себе слово настоять, чтоб старик Понс вспомнил о ней в завещании по примеру других хозяев, отказывающих своим экономкам пожизненную ренту, на зависть всем кумушкам квартала Марэ. В мыслях она уже перебралась в деревню, неподалеку от Парижа, уже разгуливала по собственной усадьбе, разводила цветы, кормила кур и доживала свой век на покое, как королева, вместе со своим муженьком, ангелом, не оцененным по достоинству, вполне заслужившим такое счастье.

Увидев, с какой наивно-откровенной стремительностью убежала привратница, Ремонанк уверился в успехе задуманного. В профессии маклаков (так называют людей, которые маклачат, то есть выискивают случайные вещи и скупают их за бесценок у несведущих владельцев), в этой профессии самое сложное — проникнуть в дом к новым клиентам. Трудно даже представить, на какие хитрости, на какие уловки, на какие обольщения, достойные Скапена, Сганареля или Дорины, пускаются маклаки, только бы пробраться в дом к почтенному буржуа. Комедии, которые разыгрываются при этом, не уступают театральным, и в основу их также положено корыстолюбие слуг и служанок. Слуги, особенно в деревне и в провинции, за тридцать франков деньгами или товаром устраивают сделки, на которых маклаки зарабатывают от тысячи до двух тысяч франков. Если бы рассказать, как был завоеван иной старый севрский сервиз из мягкого фарфора, то стало бы ясно, что все хитроумные переговоры Мюнстерского конгресса, все искусство

убеждения, пущенное в ход в Нимвегене, Утрехте, Рисвике, Вене, превзойдены маклаками, причем их игра гораздо смелее, чем игра дипломатов. Маклаки строят свои расчеты на людском корыстолюбии, так же действуют и посланники, выискивающие пути, дабы расторгнуть самые прочные союзы.

— Во как я распалил тетку Сибо,— сказал Ремонанк сестре, когда та уселась на свой продавленный стул.— Надо будет посоветоваться со знающим человеком, с нашим евреем, он еврей правильный, ссужает деньгами и дерет только пятнадцать процентов.

Ремонанк раскусил тетку Сибо. Женщины ее хватки от желания немедленно переходят к действию; они не брезгуют ничем, лишь бы добиться своего. Сегодня они безупречно честны, а завтра способны на самые подлые поступки; чувство честности надо бы разделять на честность отрицательную и честность положительную, как, впрочем, и все наши чувства. Честность отрицательная — это такая честность, как у супругов Сибо: они честны до тех пор, пока им не представится случай разбогатеть. Честность положительная — это такая честность, которая не поддается никаким искушениям, хотя бы соблазны сыпались как из рога изобилия, например, честность кассира приходной кассы. Корысть открыла доступ речам искусителя Ремонанка в душу тетки Сибо, и черные замыслы, как прорвавший плотину поток, хлынули и завладели ее умом. Тетка Сибо взбежала, говоря точнее, взлетела, по лестнице в квартиру *своих господ* и, изобразив на лице нежность, появилась на пороге спальни, где горько сетовали на судьбу Понс и Шмуке. Немец тотчас же знаками дал ей понять, чтобы она не обмолвилась при больном ни словом о своем разговоре с доктором, ибо этот подлинный друг, этот большой души человек прочитал приговор Понсу в глазах врача; и привратница кивнула ему в ответ с сокрушенным видом.

— Ну, как, дорогой господин Понс, как вы себя чувствуете? — спросила тетка Сибо.

Она стала в ногах кровати, подбоченившись и любовно глядя на больного, но какие золотые искорки вспыхивали в ее глазах! Человек наблюдательный испугался бы ее тигриного взгляда.

— Очень плохо! Аппетит совсем пропал! — ответил бедняга Понс.— Ах, свет, свет! — воскликнул он, сжимая руку своего друга, который сидел у его изголовья и держал его за руку; вероятно, больной обсуждал с ним причину своего заболевания.— И зачем я не послушался тебя, добрый мой Шмуке! Зачем не обедал всегда дома, с тех пор как мы зажили вместе! Зачем не отказался от этого общества, которое раздавило меня, как цыпленка?..

— Ну, ну, дорогой господин Понс, полноте вам расстраиваться,— вмешалась тетка Сибо,— доктор сказал мне всю правду...

Шмуке дернул привратницу за платье.

— Вы еще можете поправиться, только хороший уход нужен... Будьте покойны, при вас такой верный друг, да и я, скажу не хвалясь, буду смотреть за вами, как мать за сынком. Я выходила Сибо, а ведь господин Пулен приговорил его к смерти, что называется, прочитал отходную и похоронил!.. А вы, слава богу, еще не так плохи, хоть вы и серьезно больны. Можете на меня положиться... Я вас и одна выхожу! Лежите смирно, не расстраивайте себя понапрасну.

Она накрыла его одеялом до самого подбородка.

— Будьте покойны, мой золотой, мы с господином Шмуке всю ночь от вас не отойдем... как за *прынцем* ходить будем... у вас и денег хватит, можете себе ни в чем не отказывать, что при болезни нужно... С мужем я столковалась; ведь больному-то без меня никак нельзя... Ну, я его и уговорила; мы с ним оба так вас любим, что он отпустил меня сюда ночевать... А для такого, как он... это, ох, как трудно, чего уж там говорить! Ведь он меня, как в первый день, любит. И не пойму, с чего бы это! Верно, все теснота сделала, потому всегда вместе, всегда рядышком в нашей каморке... Да что это вы опять открылись! — воскликнула она, подбегая к изголовью кровати и оправляя сползшее с груди больного одеяло.— Если вы не будете паинькой, не будете делать все, что велел господин Пулен, а он ангел божий, тогда уж пеняйте на себя... Надо слушаться, когда я говорю...

— *Он будет слюшаться, мадам Зибо, будет, он хотшет шить ради свой добрий друг Шмуке. Обьешшаю вам.*

— Главное, не раздражайтесь, от этой болезни все

такие раздражительные, а тут еще вы потерпеть не хотите. Болезни-то бог нам посылает, дорогой господин Понс, по грехам нашим наказывает, верно, и за вами грешки водятся, а?..

Больной отрицательно покачал головой.

— Поди, тоже в молодости пожили, побаловались, поди, где-нибудь плод вашей любви скитается, голодает, мерзнет... Мужчины — все одно что звери! Получил свое, а там поминай как звали, ни о чем не подумает, даже о кормилице для младенца!.. Уж такая наша доля!..

— Меня за всю жизнь только Шмуке да родная мать и любили,— грустно промолвил бедный Понс.

— Рассказывайте! Что вы святой, что ли! Тоже были молоды, а в двадцать лет поди каким красавчиком слыли... Да за такое золотое сердце, как же это вас не полюбить...

— Я всегда был страшен, как смертный грех,— сказал Понс, чуть не плача.

— Это вы скромничаете, такой уж вы у нас скромник.

— Да нет же, дорогая мадам Сибо, повторяю, я всегда был уродом, и никто меня не любил.

— Да ну, никто не любил? — воскликнула привратница.— Так я вам и поверила, чтобы вы до такого возраста монахом прожили... Рассказывайте! Музыкант, вертится в театре, да если бы мне женщина такое сказала, и то не поверила бы.

— *Мадам Зибо, вы его вольноваете!* — воскликнул Шмуке, видя, что Понс корчится на кровати, как червяк.

— Да ну вас! Оба вы старые греховодники... Подумаешь, какое дело — урод! Недаром говорится: мужчина чуть получше черта — уже красавец! Ведь сумел же Сибо понравиться, и кому — самой что ни на есть красивой парижской трактирной служанке... а ему до вас далеко... вы такой добрый!.. Ладно уж! Погуляли в молодости! Вот бог вас и наказывает за то, что бросили своих детей, все равно как Авраам!..—Бедный больной собрался с последними силами и сделал отрицательный жест рукой.— ... Ничего, не волнуйтесь, проживете еще не меньше Мафусаила.

— Да оставьте меня, наконец, в покое! — крикнул Понс.— Никогда я не знал, что значит быть любимым!.. Не было у меня детей, я один как перст...

— Ей-богу, правда?..— спросила привратница.— Уж очень вы добрый, а женщины, знаете, за доброту любят... Вот я и думала, ну как это можно, чтобы вы в молодости...

— Уведи ее,— шепнул Понс своему другу,— она меня изводит!

— Ну, тогда у господина Шмуке дети есть... все вы старые холостяки одного поля ягода...

— *У менья нет дети!* — воскликнул Шмуке, вскакивая со стула.— *Но...*

— Так, выходит, у вас тоже наследников нет? Вы оба как грибы в лесу растете...

— *Замольтшите, будем уходить отсюда!* — сказал Шмуке.

Добрый немец бесстрашно взял тетку Сибо за талию и, не обращая внимания на ее громкие протесты, потащил в гостиную.

— Постыдились бы. Что к бедной женщине пристаете, в вашем-то возрасте! — кричала тетка Сибо, отбиваясь от Шмуке.

— *Не критшите!*

— И вы туда же, лучший из *моих господ*,— не унималась тетка Сибо.— И угораздило же меня разговаривать про любовь со стариками, которые и женщины-то не знали! Ах, охальник, как я вас распалила! — воскликнула она, взглянув в глаза Шмуке, пылавшие гневом.— Караул! Караул! Он меня похитил!

— *Ви дура!* — заметил немец.— *Ну што вам сказаль доктор?*..

— Я за вас обоих в огонь и воду, а вы меня за дверь вытолкали,— утирая слезы, сказала привратница, оттолкнув Шмуке.— Говорят, что надо вместе пуд соли съесть, чтоб узнать человека... Истинная правда! Нет, мой Сибо куда смирней... А я-то о вас как мать родная пекусь! Своих-то детей у меня нет... намедни еще я мужу говорила: «Видно, бог знал, что делает, когда не дал нам детей. У меня двое сынков там наверху!» Вот вам истинный крест, не *сойтить* мне с этого места, если я вру.

— *Што сказаль доктор?* — крикнул рассвирепевший Шмуке, впервые за свою жизнь топнув ногой.

— Вот что он сказал,— ответила тетка Сибо, войдя со Шмуке в столовую,— он сказал, что наше золотце,

наш ангелок может умереть, если за ним хорошего ухода не *будеть*. Но я от него не отойду, что бы вы со мной ни делали; я-то думала, что вы смирный, а вы зверь лютый. Ишь ведь какой горячий! Да где ж это виданэ, чтоб в вашем возрасте к женщине приставать, ах вы, проказник!

— *Прокасник! Я? Неушели ви не мошете понимать, што я люблю только Понс!*

— И слава богу, *значить*, ко мне приставать не будете, правда? — сказала она, улыбнувшись Шмуке.— И хорошо сделаете. Сибо кости *переломаеть* всякому, кто на меня позарится!

— *Увашаемая мадам Зибо, ухашивайте за ним полютше,*—сказал Шмуке и попытался взять ее за руку.

— Вот вам! Опять за свое!

— *Да вислюшайте, што я вам скашу! Все, што у меня есть, будет вашим, если ми его будем спазать...*

— Ладно, сейчас сбегаю в аптеку, принесу все, что надо... ведь на его болезнь много денег уйдет; как вы справитесь?

— *Я буду заработать! Я хотшу, штоб за Понс уход биль, как за принц...*

— Будет, будет, господин Шмуке; а вы ни о чем не волнуйтесь. Мы с Сибо скопили две тысячи франков, берите их, я уж и так давно в ваше хозяйство свои деньги прикладываю, что там говорить!..

— *Добрая шеншина! Какое зердце!* — воскликнул Шмуке, прослезившись.

— Утрите слезы, слезы, которыми я горжусь,— они вознаграждают меня за все! — с пафосом произнесла тетка Сибо.— Бескорыстнее меня женщины нет! Только не входите к нему с заплаканными глазами, а то господин Понс еще подумает, что ему уж совсем плохо.

Шмуке, растроганный такой чуткостью, взял руку тетки Сибо и крепко пожал ее.

— Пощадите меня! — сказала бывшая трактирная служанка, бросив на него нежный взгляд.

— *Милий мой!* — сказал добрый немец, воротясь в спальню.— *Мадам Зибо — ангель, правда, ангель больтливий, но все-таки ангель.*

— Ты думаешь?.. Я за последний месяц научился не доверять людям,— ответил Понс, покачав головой.—

После всех обрушившихся на меня бед я верю только богу и тебе!..

— *Виздоравливай поскорей, и ми трое зашивем по-царски!* — воскликнул Шмуке.

— Сибо! — крикнула запыхавшаяся привратница, входя в швейцарскую.— Мы с тобой богачи! У обоих моих хозяев нет ни законных наследников, ни побочных детей, никого, понимаешь!.. Теперь я пойду к мадам Фонтэн, пусть погадает, какая нам рента будет!..

— Жена, ежели хочешь быть обутой, на сапоги умершего не рассчитывай! — изрек тщедушный портной.

— Что это тебе вздумалось меня дразнить? — сказала она, ласково хлопнув мужа по спине.— Я не зря болтаю! Доктор Пулен приговорил господина Понса к смерти! Увидишь, мы еще разбогатеем! Он не обойдет меня в завещании... уж это будьте покойны! Ты знай себе свое дело, сиди за иглой да дом стереги. Не долго тебе осталось починкой заниматься. Уедем в деревню, в Батиньоль. И домик и садик — одно загляденье, ты будешь в земле копаться, я найму прислугу!

— Ну, соседка, как там наверху дела? — спросил Ремонанк.— Узнали, сколько его собрание стоит?

— Нет, нет, еще не узнала! Так быстро нельзя, голубчик. Я начала с вещей поважнее...

— Поважнее! — воскликнул Ремонанк.— Да разве есть что важнее?..

— Не лезь, щенок! Я уж как-нибудь сама справлюсь,— властно сказала привратница.

— Но ведь на проценты с семисот тысяч франков вы всю жизнь сможете припеваючи жить.

— Будьте покойны, дядюшка Ремонанк, дойдет дело, узнаем цену всего, что старик собрал, тогда посмотрим...

И привратница пошла к аптекарю за микстурами, прописанными доктором Пуленом, а визит к гадалке отложила до утра, рассчитывая сходить к ней спозаранку, до других посетителей, пока провидица еще не утомлена и точнее предсказывает будущее, так как у мадам Фонтэн часто собиралась целая толпа.

Мадам Фонтэн, сорок лет бывшая соперницей знаменитой мадемуазель Ленорман, которую она пережила, в то время гадала всему кварталу Марэ. Даже представить

себе нельзя, каким почетом пользуются ворожеи в низших слоях парижского общества, какое огромное влияние они оказывают на людей необразованных; кухарки, привратницы, проститутки, мастеровые — словом, все, кто живет в Париже надеждами на лучшее, идут за советом к этим отмеченным судьбой людям, которых природа наделила странным и необъяснимым даром предсказывать будущее. Вера в оккультные науки распространена гораздо сильней, чем то предполагают ученые, адвокаты, нотариусы, врачи, судьи и философы. В народе живут безотчетные чувства, которые трудно искоренить. Одно из этих чувств то, которое так нелепо называют суеверием, так же крепко сидит в крови народа, как и в умах людей образованных. В Париже многие государственные деятели ходят за советом к гадалкам. Для маловеров научная астрология (сочетание слов чрезвычайно странное) — только игра на одном из самых сильных чувств, присущих человеческой природе,— на чувстве любопытства; маловеры начисто отрицают соотношение, которое оккультные науки устанавливают между судьбой человека и конфигурацией звезд, толкуемой на основе семи или восьми принципов, составляющих эту научную астрологию. Но с оккультными науками дело обстоит так же, как и со многими явлениями природы, которые отрицаются вольнодумцами и философами-материалистами, то есть людьми, верящими исключительно в то, что можно видеть, осязать, что проверено при помощи реторты или весов, при помощи современной физики и химии; оккультные науки не прекратили своего существования, они продолжают идти своим путем, правда, не достигая новых успехов, ибо вот уже два столетия, как избранные умы ими больше не занимаются.

Если подходить к гаданию только с точки зрения того, что практически возможно, то, конечно, будет нелепостью верить, будто стоит вам перетасовать и снять колоду, а гадалке разложить карты на кучки по каким-то таинственным законам, и карты тут же расскажут вам прошлое человека, его секреты. Но ведь нелепостью также считали в свое время силу пара, нелепостью до сих пор считают воздухоплавание, нелепостью считали изобретение пороха, очков, книгопечатания, гравюры; нелепостью считали и недавнее великое открытие — дагер-

ротипию. Если бы кто-нибудь сказал Наполеону, что в воздушном пространстве каждому зданию или человеку непрестанно и в любое время сопутствует его образ, что у всякого предмета есть ощутимое, воспринимаемое отображение, если бы кто-нибудь это сказал, Наполеон поместил бы его в Шарантон, как Ришелье поместил в Бисетр Соломона де Ко, когда этот нормандский страстотерпец принес ему в дар великое завоевание науки — предложил использовать силу пара для навигации. А ведь наличие вышеупомянутого образа и доказал Дагерр своим открытием! Если господь бог начертал для прозорливого взгляда некоторых людей судьбу каждого человека на его физиономии,— я употребляю это слово применительно ко всему внешнему облику человека,— то почему же не предположить, что рука — это средоточие облика, раз в руке начало и конец всей деятельности человека, раз рука — орудие, без которого он не может проявить себя? Отсюда и хиромантия. Разве общество не подражает богу? Для того, кто получил дар прозорливости, предсказать человеку по руке события его дальнейшей жизни такое же обычное дело, как сказать солдату, что он будет сражаться, адвокату—что он выступит в суде, башмачнику—что он сошьет сапоги или ботинки, землепашцу — что он унавозит и вспашет поле. Вот разительный пример: талант так ярко проступает во всем облике человека, что даже невежда призна́ет среди парижской толпы великого художника. Духовная сила, как солнце, озаряет все вокруг. Неужели же не приметить сразу дурака по впечатлению, совершенно противоположному тому, которое производит человек талантливый? Человек заурядный проходит почти всегда незамеченным. Большинство людей, наблюдающих социальную природу Парижа, уже издали могут определить профессию идущего им навстречу человека.

В наши дни тайны шабаша, так замечательно изображенные художниками XVI века, уже не тайны. Египтянки или египтяне, предки цыган, своеобразной народности, вышедшей из Индии, просто-напросто давали своим клиентам гашиш. Действие этого наркотика прекрасно объясняет и езду верхом на помеле и полеты в трубу, все, что, так сказать, *видят наяву*,— старух, превращенных в молодых красоток, неистовые пляски и вол-

шебную музыку, рождающуюся в воображении мнимых поклонников дьявола.

Ныне оккультные науки дали целый ряд достоверных подтвержденных фактов, и, несомненно, наступит день, когда эти науки будут преподаваться, так же как преподаются у нас химия и астрономия. Странно даже, что у нас не восстановлено под названием антропологии преподавание оккультной философии, которым славился старый Парижский университет, и это тем более странно, что у нас созданы кафедры манчжурского и славянских языков, предметов столь же мало подходящих для преподавания, как и северные литературы, у коих пока рано учиться, поскольку им самим надлежит еще многому научиться и преподаватели коих без конца твердят о Шекспире и о XVI веке. В этом смысле Германия, страна великая и вместе с тем младенчески наивная, опередила Францию, ибо в Германии преподают эту науку, значительно более полезную, чем различные *философии*, которые в общем все трактуют об одном и том же.

Теперь уже не кажется чем-то исключительным и не вызывает громких толков способность некоторых людей видеть ростки будущего в порождающих его причинах, подобно тому, как великие изобретатели видят промышленные или научные перспективы в естественном явлении, на которое обычные люди не обращают никакого внимания; теперь эту способность признают чем-то вроде умственного ясновидения. Таковы факты, как бы ни относиться к различным способам распознавать будущее. Заметьте, что предсказать значительные события будущего для ясновидца не более сложная задача, чем отгадать прошлое. Для маловеров и прошлое и будущее одинаково непостижимы. Но если совершившиеся события оставляют следы, то законно предположить, что у будущих есть корни. Раз ворожея точно расскажет факты из вашего прошлого, известные только вам, она может рассказать и те события, которые будут порождены существующими причинами. Духовный мир выкроен, если можно так выразиться, по образцу мира материального; и там и тут мы встречаем те же явления, но с особенностями, свойственными данной сфере. Так же как физические тела дают реальное отображение в атмосфере — их спектр, что позволяет дагерротипии улавливать его,

точно так же и мысли, которые суть реальности и наделены силой воздействия, запечатлеваются в том, что следовало бы назвать атмосферой мира духовного, и вызывают там определенные изменения, живут «спектрально» (для обозначения не получивших еще названия явлений приходится придумывать слова); а если это так, то некоторые особо одаренные личности отлично могут уловить эти формы или следы идей.

Что же касается способов, при помощи которых приходят к ясновидению, то это чудо легко объяснимо, раз обратившийся к гадалке за советом собственной рукой раскладывает предметы, при помощи которых он должен изобразить перипетии своей жизни. Действительно, в реальном мире все находится во взаимной связи. Всякое движение обусловлено определенной причиной, всякая причина связана с целым; следовательно, целое отражается в малейшем движении. Еще триста лет тому назад Рабле, самый светлый ум нового времени, человек, в котором соединились Пифагор, Гиппократ, Аристофан и Данте, сказал: «Человек — это микрокосм». Три века спустя Сведенборг, великий шведский пророк, говорил, что земля — это человек. Так слились в этом мудром изречении предтеча неверия и пророк. В человеческой жизни, так же как и в жизни нашей планеты, все предопределено. Самые незначительные, самые ничтожные события взаимно связаны. Следовательно, великие деяния, великие намерения, великие мысли неизбежно отражаются в самых мелких поступках, и отражаются настолько точно, что, если бы какой-нибудь заговорщик перетасовал колоду и снял карты, он тем самым выдал бы свою тайну прозорливцу, зовите этого прозорливца как хотите— цыганом, ворожеем, шарлатаном. Коль скоро мы допускаем предопределение, то есть цепь причин, мы вынуждены признать научную астрологию и вернуть ей ее прежнее значение великой науки, ибо ей присуща способность к дедукции, прославившая Кювье, но у астролога эта способность — дар природы, а не плод долгих ночных бдений в тиши кабинета, как у этого великого ученого.

В течение семи веков астрология и вообще гадание властвовало над умами не только простолюдинов, но и над умами самых просвещенных людей, государей, коро-

лев, богачей. Учение о животном магнетизме — одна из самых замечательных наук древности — родилось из оккультных наук, как химия родилась из реторты алхимиков. Краниология, физиогномика, неврология ведут свое начало от тех же оккультных наук, и у прославленных создателей этих, по-видимому, совершенно новых, отраслей знания было только одно уязвимое место: как и все изобретатели, они возводили в непререкаемую систему изолированные факты, между тем как их общий источник пока еще не поддается анализу. Настал такой день, когда католическая церковь и тогдашняя философия, объединившись с правосудием, подвергли гонению, преследованиям, осмеянию таинственную *каббалистику* и ее приверженцев и в изучении оккультных наук наступил прискорбный столетний перерыв. Как бы там ни было, простонародье и многие образованные люди, особенно женщины, продолжают нести свою лепту тем, кому дана таинственная сила приподымать завесу над будущим; ведь там торгуют надеждой, бодростью, силой, то есть тем, что может дать только религия. И надо сказать, что занятия магией всегда связаны с риском. Энциклопедисты XVIII века научили нас терпимости, и в наши дни колдуны могут не бояться пыток и казней, они отвечают только перед полицией и то лишь в том случае, если занимаются мошенническими проделками и стращают своих клиентов с целью вытянуть побольше денег, что является уже вымогательством. К сожалению, практическое применение этой поразительной способности зачастую сопровождается шантажом и другими преступными действиями. И вот почему.

Замечательные способности, превращающие человека в ясновидящего, обычно встречаются у людей, к которым принято прилагать эпитет «недалекий». Эти «недалекие» люди — избранные сосуды божьи, полны благодати, изумляющей человечество. Из этих «недалеких» людей вышли пророки, святой Петр, Петр Отшельник. Мысль, которая сохраняет свою цельность, не распыляется, не растрачивается в разговорах, интригах, литературных произведениях, не расходуется на ученые гипотезы, на труды государственные, на изобретательские выдумки, на ратные подвиги — такая мысль способна излучать поразительно яркий сосредоточенный свет, она

подобна алмазу, в котором уже заложена игра всех его граней. Пусть представится случай, и такой интеллект ярко засияет, как на крыльях преодолеет пространство, повсюду проникнет божественным взором: вчера это был углерод, сегодня под воздействием неизвестных причин — это сверкающий бриллиант... Люди просвещенные, изощряющие все стороны своего интеллекта, неспособны проявить такую высшую силу, разве только господу богу будет угодно совершить чудо. Прозорливцы и прозорливицы почти всегда нищие или нищенки, люди простые умом, грубые с виду, камни, обкатанные потоками жизни, обтесавшиеся на дорогах нужды, но физические страдания не истощили их дух. В конце концов кто такие все эти прорицатели и ясновидящие? Это землепашец Мартэн, который поверг в трепет Людовика XVIII, рассказав ему тайну, известную только самому королю, это мадемуазель Ленорман, простая кухарка, как и мадам Фонтэн, это негритянка-полуидиотка, пастух, живущий вместе со своим стадом, факир, который сидит на пороге пагоды и умерщвлением плоти доводит до небывалой силы свои сомнамбулические способности.

Азия во все времена славилась оккультными науками. И часто эти маги и волшебники в обычном состоянии не представляют собой ничего особенного, ведь они как бы выполняют те же химические и физические функции, что и тела — проводники электричества: только что перед вами был безжизненный металл, и вот уже он стал средоточием таинственных флюидов; часто такие люди, выйдя из состояния экстаза, пускаются на всякие темные дела, которые доводят их до исправительной полиции (как это случилось с знаменитым Валтасаром), до суда и каторги. А вот вам еще доказательство, какую огромную власть имеют над простонародьем гадалки, раскидывающие карты: жизнь и смерть нашего бедного музыканта зависела от того, что напророчит привратнице мадам Фонтэн.

Хотя повторения и неизбежны в такой обширной и обильной подробностями истории, как полная история французского общества в XIX столетии, все же не стоит снова описывать конуру мадам Фонтэн, изображенную в *«Комедиантах неведомо для себя»*. Необходимо только обратить внимание читателя на то обстоятельство, что

тетка Сибо вошла к гадалке, проживающей на улице Вьей-дю-Тампль так же просто, как завсегдатай «Английского кафе» входит позавтракать в этот ресторан. Тетка Сибо была здесь старой гостьей и часто водила к гадалке молодых девиц и сгоравших от любопытства кумушек.

Старая служанка, исполняющая у гадалки обязанности стража, открыла дверь в святилище и впустила тетку Сибо без особого доклада.

— Это мадам Сибо!.. Входите, у нас никого нет,— прибавила она.

— Что такое стряслось у вас, деточка, что вы так рано прибежали? — спросила колдунья.

Мадам Фонтэн вполне заслужила такое прозвище, ибо в ту пору ей было семьдесят восемь лет и лицом она походила на парку.

— У меня голова идет кругом! — воскликнула тетка Сибо.— Давайте сюда вашу заветную колоду, тут такой случай выходит, что я могу богатой стать.

И она рассказала, как обстояли дела, желая наперед знать, осуществятся ли ее гнусные надежды.

— А известно ли вам, что такое гадание по заветной колоде? — торжественно изрекла мадам Фонтэн.

— Да нет, где мне знать, я не такая богатая, эта штука мне не по карману! Сто франков! Нечего сказать. Совсем даром! Где мне их взять было! А вот сегодня мне заветная колода до зарезу нужна!

— Я не часто к ней обращаюсь, деточка,— ответила гадалка.— И богатым-то я гадаю по ней только в особых случаях, а платят мне за такое гадание по двадцать пять золотых,— видите ли, это меня утомляет, я теряю силы! Как на меня *накатит*, дух меня и начнет терзать, так здесь, под ложечкой, и крутит, и крутит. Это, как прежде говорили, все равно что на шабаш слетать!

— Да ведь я же вам говорю, дорогая мадам Фонтэн, все мое будущее от нее *зависить*...

— Ну, уж только ради вас, потому как от вас у меня практика большая, пусть дух меня мучит, раз вы просите,— ответила гадалка, и на ее увядшем лице изобразился неподдельный ужас.

Она встала с старого, замызганного кресла, стоявшего у камина, подошла к столу, покрытому зеленой ска-

тертью, до того ветхой, что на ней можно было пересчитать все нитки; на столе с левой стороны, рядом с открытой клеткой, в которой жила черная взъерошенная курица, дремала необычайных размеров жаба.

— Астарта! Иди сюда, доченька! — позвала ворожея, легонько ударив жабу по спине длинной спицей, и жаба посмотрела на нее с понимающим видом.— А вы, Клеопатра, слушайте внимательно,— прибавила она, осторожно щелкнув старую курицу по клюву.

Гадалка сосредоточилась, на несколько мгновений застыла в полной неподвижности; казалось, она умерла, глаза закатились, из-под век поблескивали только белки; потом она выпрямилась, произнесла загробным голосом:

— Я тут!

И, рассыпав, как бы в забытьи, по столу просо для Клеопатры, она взяла свою заветную колоду, судорожно перетасовала и, глубоко вздохнув, протянула ее тетке Сибо, которая сняла карту. Гадалка посмотрела на черную курицу, клевавшую зерно, затем подозвала жабу Астарту и пустила ее ползать по разложенным картам, и при виде этого живого трупа в засаленном тюрбане и грязном капоте привратница содрогнулась, по спине ее побежал холодок. Только большие упования вызывают большие волнения. Иметь или не иметь ренту, вот в чем вопрос, как сказал Шекспир.

Прошло семь или восемь минут; в течение этого времени чернокнижница открыла колдовскую книгу, замогильным голосом прочитала заклинания, внимательно осмотрела оставшиеся зерна и проследила путь, проделанный жабой, затем скосила белесые глаза и стала читать по картам.

— Исполнение желаний,— сказала она.— Правда, все пойдет совсем не так, как вы думаете. Большие хлопоты. Успех в делах... Злое вы задумали дело, но это бывает с тем, кто ухаживает за больными, а сам зарится на наследство. В этом злом деле вам будут споспешествовать знатные особы... Вы раскаетесь в свой смертный час, а умрете вы насильственной смертью, вас убьют два беглых каторжника, один низенький, рыжеволосый, а другой старый, плешивый, убьют, потому что в деревне, куда вы переберетесь на житье со вторым

мужем, вас будут считать богачкой... Теперь, дочка, ваша вольная воля, действовать или сидеть сложа руки.

Внутренний экстаз, которым загорелись провалившиеся, как у черепа, глаза ворожеи, померк. Предсказав будущее, она впала в забытье и теперь походила на пробужденного от сна лунатика; она с недоумением оглядела сь по сторонам, потом узнала привратницу и, казалось, удивилась, заметив ужас на ее лице.

— Ну, как, дочка, довольны? — сказала она совсем не тем голосом, каким предсказывала судьбу.

Тетка Сибо посмотрела на ворожею с растерянным видом и ничего не ответила.

— Сами просили заветную колоду! Я с вас, как со старой знакомой, только сто франков возьму...

— Сибо умрет? Да как же это можно? — воскликнула привратница.

— Я вам очень страшных вещей наговорила? — простодушно спросила гадалка.

— Конечно!..—ответила тетка Сибо, доставая из кармана сто франков и кладя их на краешек стола.—Кому охота умереть насильственной смертью!..

— Сами заветную колоду просили! Но успокойтесь, не все, убитые по картам, умирают...

— Да как же это возможно, мадам Фонтэн?

— Ах, голубушка, я тут ни при чем! Вы постучались в дверь будущего, я вам ее приоткрыла, и все, *он* пришел!

— Кто *он*? — спросила тетка Сибо.

— Дух, кто же еще! — нетерпеливо возразила гадалка.

— Прощайте, мадам Фонтэн! — сказала привратница.— Не знала я, что это такое ваша заветная колода, очень вы меня напугали, что уж там говорить!..

— Чаще раза в месяц хозяйка себя до такого состояния не допускает,— сказала служанка, провожая посетительницу на площадку лестницы.— От таких трудов и помереть недолго, очень это у нее много сил берет. Вот теперь покушает котлетку и три часа спать будет.

Выйдя на улицу, тетка Сибо поступила по примеру всех, кто обращается за советом к гадалкам. Она поверила благоприятным предсказаниям и не придала ве-

ры напророченным бедам. На следующее утро, укрепившись в своем намерении разбогатеть, она решила пустить в ход все средства, чтоб урвать себе долю из понсовского музея. В течение некоторого времени она думала только об одном: изобретала разные способы добиться успеха. Люди неразвитые, не расходующие повседневно, подобно образованным, свои умственные способности, обладают особым даром — умением с чрезвычайной силой сосредоточить на одном все свои помыслы, и когда их душой овладевает опасная мысль, так называемая навязчивая идея, их интеллект начинает усиленно работать — это явление уже было объяснено нами выше. Теперь то же самое происходило с теткой Сибо, чьи душевные силы достигли крайнего напряжения. Под влиянием навязчивой идеи совершались чудесные побеги из неволи, творились чудеса любви, и, при всей своей глупости, наша привратница, одержимая корыстолюбием, не уступила бы в силе Нусингену, доведенному до крайности, а в остроте ума обольстительному ла Пальферину.

Через несколько дней, увидя Ремонанка, который около семи часов утра открывал свою лавку, она решила подольститься к нему.

— Как бы это мне узнать настоящую цену вещам, что стоят у *моих господ*?

— Да нет ничего проще,— ответил продавец старья на своем тарабарском наречии, от графической передачи которого лучше воздержаться ради ясности повествования.— Если вы будете действовать со мной начистоту, я укажу вам оценщика, человека очень честного, он вот на столечко не ошибется и точно определит стоимость каждой картины...

— Кто же это такой?

— Господин Магюс, еврей, теперь он уже занимается делами только ради собственного удовольствия.

Элиа Магюс, имя которого достаточно хорошо известно по «Человеческой комедии», так что говорить о нем здесь нет особой надобности, оставил торговлю картинами и редкостями, и теперь коммерсант Магюс вел себя примерно так же, как любитель Понс. Знаменитые оценщики — покойный Анри, Пижо и Морэ, Тере, Жорж и Рен, словом, эксперты при музеях,— все они были младенцами по сравнению с Элиа Магюсом, который безо-

шибочно определял шедевр под слоем столетней грязи, знал все школы и подписи всех художников.

Этот еврей, приехавший в Париж из Бордо, уже в 1835 году отошел от коммерции, но, как и большинство евреев, не изменил своего внешнего нищенского облика, ибо такова уж традиция этой нации. В средние века гонения побуждали евреев, не желавших вызывать излишних подозрений, ходить в лохмотьях, вечно хныкать, жаловаться и прикидываться нищими. Таким образом, то, что было необходимостью в прошлом, превратилось, как это всегда бывает, в национальный инстинкт, в свойство целого народа. Элиа Магюс заработал огромное состояние на скупке и перепродаже бриллиантов, картин и кружев, древностей, эмалей, изящных статуэток и старинных драгоценностей, ибо эта отрасль торговли процветала. В таком городе, как Париж, куда стекаются редкостные произведения искусства со всего света, число антикваров за последние двадцать лет возросло больше чем в десять раз. А если говорить о картинах, то их можно приобрести только в трех городах: в Риме, в Лондоне и в Париже.

Элиа Магюс проживал на шоссе Миним, короткой, но широкой улице, которая выходит на Королевскую площадь, в старинном особняке, приобретенном им в 1831 году, как говорится, задаром. Это было великолепное здание с роскошными покоями времен Людовика XV. Дом, построенный славным председателем высшего податного суда Моленкуром, не был разорен во время Революции благодаря своему местоположению. Если старый еврей решился вопреки законам Израиля сделаться домовладельцем, поверьте, что на это были свои основания. У старика, как и у всех смертных, к концу жизни развилась мания, граничащая с безумием. Хотя он был так же скуп, как его покойный друг Гобсек, он все же не мог устоять перед прелестью произведений искусства, куплей-продажей которых он занимался; но его требовательный, ставший с годами изысканным вкус могли удовлетворить лишь такие произведения, которым место в коллекциях королей, если эти короли богаты и любят искусство. Старый антиквар, ушедший на покой, питал пристрастие к первоклассным полотнам безупречной сохранности и не реставрированным, в этом он

походил на второго прусского короля, который одобрял гренадера лишь в том случае, если в нем было не меньше шести футов росту, и за такой экземпляр он платил бешеные деньги, только бы заполучить его в свою живую коллекцию гренадеров. И надо сказать, что Элиа Магюс не пропускал ни одной распродажи, бывал на всех аукционах, ездил по всей Европе. Подлинное произведение искусства приводило в трепет этого холодного, как ледышка, человека, всей душой преданного наживе, совсем так же, как чистая девушка приводит в волнение пресыщенного женской любовью развратника, и он снова пускается в погоню за совершенной красотой. Этот донжуан картинных галерей, поклонник прекрасного, созерцая шедевры, испытывал блаженство более сильное, чем наслаждение, которое испытывает скупец, созерцающий золото. Он жил среди своих картин, словно султан в серале.

Первоклассные произведения искусства, как и подобало их сану, занимали весь второй этаж особняка, который Элиа Магюс отделал заново, и если бы вы только знали, с какой роскошью! На окнах висели портьеры из чудесной венецианской золотой парчи. Пол устилали великолепные ковры мануфактуры Савонри. Картины — около ста полотен — были вставлены в роскошные рамы, искусно позолоченные мастером Серве, по мнению старого еврея, единственно добросовестного среди парижских позолотчиков, которого он сам научил золотить английским золотом, значительно превосходящим по качеству материал французских золотобитов. Серве был художником столь же страстно влюбленным в искусство позолоты, как Тувенен был влюблен в свое переплетное мастерство. Все окна в этом помещении были снабжены ставнями, обитыми листовым железом. Сам Элиа Магюс устроился на третьем этаже в двухкомнатной мансарде, убого обставленной всяким хламом и насквозь еврейской, ибо и на старости лет он жил все так же, как и в молодости.

В первом этаже, отведенном под картины, перепродажей которых Магюс все еще занимался, и загроможденном ящиками, прибывавшими из-за границы, помещалась огромная мастерская, где постоянно работал, причем почти исключительно на Магюса, Морэ, самый

искусный из наших реставраторов, к услугам которого не мешало бы прибегнуть музеям. Там же находились и комнаты дочери бывшего антиквара, озарившей своим появлением на свет его старость, прекрасной, как и все еврейки, если они сохранили в чистоте свой благородный восточный тип. Ноэми жила под присмотром двух верных служанок евреек и под охраной польского еврея Абрамки, сторожившего вход в этот безмолвный, мрачный и безлюдный дом. Этот самый Абрамка по совершенно невероятной случайности оказался в свое время замешанным в польских событиях, и Элиа Магюс спас его из корыстных побуждений. Теперь Абрамка жил в сторожке с тремя свирепыми псами — ньюфаундлендом, пиренейской овчаркой и английским бульдогом.

Приняв такие меры предосторожности, старый еврей мог быть спокоен: мог без всякого страха надолго отлучаться из дому, спать крепким сном и не опасаться покушений ни на дочь, главное свое сокровище, ни на картины, ни на золото. Абрамка прошел школу старого еврея: занимался ростовщичеством в своем квартале. Каждый год он получал на двести франков больше жалованья, но знал, что в своем завещании Магюс не отказывает ему ни гроша. Абрамка никому не открывал двери, не посмотрев предварительно сквозь забранное крепкой решеткой оконце. Этот привратник, равный по силе Геркулесу, боготворил старика Магюса, как Санчо Панса боготворил Дон-Кихота. По приказу предусмотрительного еврея, собак, запиравшихся на день, не кормили; ночью Абрамка выпускал псов, одного в сад, где он не отходил от столба, на верху которого был привязан кусок мяса, другого во двор, где стоял такой же столб, а третьего в прихожую первого этажа. Вы легко поймете, что псов, которым уже по их собачьему инстинкту положено стеречь дом, самих стерег голод; они не покинули бы своего поста даже ради самой красивой суки, не отошли бы от мачты с призами, чтобы свести приятное знакомство. Если появлялся чужой человек, все три собаки воображали, что он покушается на их кусок, который Абрамка спускал со столба только утром. В такой дьявольской выдумке было одно огромное преимущество: собаки никогда не лаяли; изобретательный еврей превратил их в хищников, столь же злых и коварных, как могикане. Вот

что случилось однажды: полная тишина в доме придала смелости неким злоумышленникам, и они решили, что без труда обчистят кассу старого еврея. Один из шайки, которого отрядили на разведку, перелез через ограду и собирался спрыгнуть в сад; бульдог не залаял, хотя сразу почуял вора, но, как только тот спустил ногу, собака отгрызла ему ступню и тут же ее сожрала. Вор нашел в себе силы перелезть обратно, на огрызке ступни доковылял до своих приятелей и свалился без сознания, а они на руках унесли его домой. «Судебные ведомости» не преминули сообщить в отделе парижских происшествий об этом любопытном ночном эпизоде, но никто ему не поверил.

Магюс, которому тогда было семьдесят пять лет, мог свободно дотянуть до ста. При всем своем богатстве он жил не лучше Ремонанка. Все его расходы, включая и подарки дочери, укладывались в три тысячи франков. Он вел поразительно правильный образ жизни. Вставал со светом, съедал кусок хлеба, натертый чесноком, и этого завтрака ему хватало до самого обеда. Обедал он всегда дома и удовлетворялся монашески скудной пищей. С утра до полудня старый маниак проводил в залах, блистающих шедеврами. Сам стирал пыль с мебели и с картин и не уставал любоваться своими сокровищами; затем шел к дочери и там упивался отцовским счастьем; оттуда — в город, на аукционы, на выставки. Когда он находил произведение искусства, соответствующее его требованиям, он весь оживал. Надо было подготовить выгодную покупку, умело обстряпать дело,— словом, выиграть сражение при Маренго. Он изощрялся в хитростях, чтоб по дешевой цене приобрести в свой гарем новую султаншу. У Магюса имелась карта Европы, где были отмечены все первоклассные картины, а в каждом городе среди единоверцев у него были свои люди, которые за известную мзду зорко следили, чтобы картина не уплыла из его рук. Сколько хлопот, но зато и какая награда!

Магюс приобрел два полотна Рафаэля, которые упорно разыскивались рафаэлеманами, так как следы этих картин были потеряны. Магюс купил подлинный портрет возлюбленной Джорджоне, той самой, из-за которой погиб художник. Все остальные портреты, считаю-

щиеся оригиналами,— только копии этого шедевра, оцененного самим антикваром в пятьсот тысяч франков. Старому еврею принадлежит первоклассное полотно Тициана «Положение во гроб», написанное для Карла V и посланное великим художником великому императору вместе с собственноручным письмом; это письмо Тициана даже приклеено внизу картины. Ему же принадлежит оригинал, вернее, образец, по которому были написаны тем же художником все портреты Филиппа II. Остальные девяносто семь картин не уступают этим в талантливости и красоте. Магюс презирал Лувр, где замечательные полотна гибнут от солнца, лучи которого проникают сквозь окна, как сквозь линзу. Картинные галереи должны освещаться сверху. У себя в музее Магюс собственноручно открывал и закрывал ставни, уделяя своей коллекции не меньше забот и внимания, чем своему другому кумиру — дочери. Да, старый маниак, влюбленный в свои картины, хорошо знал законы живописи! Он считал, что произведения искусства живут своей особенной жизнью, непрестанно меняются, красота их зависит от освещения, оживляющего краски. Он говорил о картинах так, как когда-то говорили о тюльпанах голландцы; специально приходил полюбоваться дорогим его сердцу шедевром в те часы, когда он сиял во всей своей красе, когда небо было безоблачно и ясно.

Надо было видеть этого старикашку — настоящая живая картина в окружении неподвижных картин,— маленький, в обтрепанном сюртучишке, в шелковом жилете десятилетней давности, в засаленных панталонах, плешивый, худой, беззубый, крючконосый, морщинистый, с трясущейся взъерошенной седой бороденкой, с грозно заостренным подбородком, с горящим, как и у его псов, взглядом, с сухими, костлявыми руками — стоит и улыбается, созерцая гениальные творения! Еврей среди своих трех миллионов — навряд ли есть в мире другое столь же колоритное зрелище. Роберу Медалю, нашему знаменитому актеру, при всей его гениальности, далеко до такого поэтического образа. Париж — город, в котором водится особенно много оригиналов-фанатиков, создавших себе ту или иную религию. Лондонским *чудакам* в конце концов надоедает молиться на своего кумира, так же как надоедает им жить; а в Париже мономаны живут

в счастливом духовном сожительстве с предметом своей страсти. Там часто идет этакий скромно одетый Понс или Элиа Магюс, идет с независимым видом, словно он непременный секретарь Французской академии, никуда не спешит, на женщин не заглядывается, магазинами не интересуется, просто так себе гуляет, в кармане пусто, в голове, по-видимому, тоже — и никак не поймешь, какого звания и состояния такой человек. Ну, так знайте — это коллекционер с миллионным капиталом, одержимый, который готов пойти даже на преступление ради того, чтобы получить старинную чашку, картину, редкую вещь, как это и случилось однажды с Элиа Магюсом в Германии.

Таков был эксперт, к которому Ремонанк предложил сводить тайком тетку Сибо. Сам Ремонанк не упускал случая посоветоваться с Элиа Магюсом, когда встречался с ним на бульварах. По рекомендации Магюса Абрамка не раз ссужал деньгами бывшего маклака, честность которого была хорошо известна старому еврею. Шоссе Миним находилось в двух шагах от Нормандской улицы, и оба заговорщика, собиравшиеся вместе обстряпать выгодное дельце, через десять минут были уже там.

— Сейчас я вам покажу самого богатого из всех бывших антикваров, самого крупного парижского знатока...

Тетка Сибо очень удивилась, увидев небольшого роста старичка в оборванном лапсердаке, чинить который отказался бы даже Сибо; старичок следил за работой художника, реставрировавшего картины в холодном зале обширных покоев первого этажа; Магюс взглянул на привратницу холодным и хитрым, как у кошки, взглядом, и ей стало жутко.

— Вы зачем, Ремонанк? — спросил он.

— Надо бы оценить тут кое-какие картины; к кому как не к вам обратиться, чтоб узнать, сколько за них не жалко; я ведь не вы, у меня тысячей не водится, я бедный торговец.

— Где это? — спросил Элиа Магюс.

— Вот привратница из того дома, мы с ней договорились, потому как она ведет хозяйство у этого самого господина...

— Как фамилия владельца картин?

— Господин Понс! — сказала тетка Сибо.

— Что-то не слыхал,— отозвался с невинным видом Магюс, незаметно наступив на ногу реставратора Морэ.

Художник знал цену понсовского собрания и, услышав его имя, сразу насторожился. Хитрость старого еврея могла провести только Ремонанка и тетку Сибо. Магюс с первого взгляда оценил умственный уровень привратницы, ибо глаз его был точен, как весы для взвешивания золота. И Ремонанк и тетка Сибо, конечно, не знали, что Понс и Магюс не раз мерились силами. Действительно, эти ярые коллекционеры завидовали друг другу. И сейчас у старого еврея даже голова закружилась. Он и надеяться не смел проникнуть в сераль, который так тщательно охранялся. Во всем Париже только понсовский музей мог соперничать с музеем Магюса. У еврея проявилась та же страсть, что и у Понса, но на двадцать лет позднее. Для него музей Понса был так же недоступен, как и для Дюсоммерара, потому что он тоже был профессиональным торговцем. И Понс и Магюс — оба ревниво оберегали свои сокровища. Ни тот, ни другой не искали славы, к которой обычно стремятся владельцы коллекций. Возможность осмотреть редкостное собрание скромного музыканта для Элиа Магюса было такой же удачей, как для женолюба пробраться в будуар красавицы, которую скрывает от него ревнивый друг. Почтительное обращение Ремонанка с этим чудным стариком и уважение, которое всегда внушает реально ощутимое могущество, даже если оно непонятно, подействовали на тетку Сибо, и она присмирела и притихла. Она утратила властный тон, которым разговаривала у себя в швейцарской с жильцами и со своими двумя *господами*, беспрекословно согласилась на все условия и обещала в тот же день провести старого еврея в музей Понса. Это было все равно, что открыть врагу ворота в крепость или вонзить кинжал в сердце Понса, ведь в течение десяти лет он строго-настрого наказывал тетке Сибо никого не пускать к нему в музей и не расставался с ключами; пока привратница разделяла взгляды Шмуке на антикварные вещи, она не нарушала приказания. Действительно, добряк Шмуке, называвший эти великолепные художественные произведения *«безделюшками»* и сетовавший на пагубную страсть Понса, внушил ей пренебрежительное отно-

шение ко всей этой старине и надолго обезопасил музей Понса от всяких вторжений.

С тех пор как Понс слег, Шмуке заменял его в театре и в пансионах для девиц. Бедный немец видал своего друга только по утрам и за обедом, ведь для того, чтобы хватило на жизнь, ему приходилось работать за двоих. И он выбивался из сил, ибо горе его надломило. Видя, как он, бедняга, огорчается, и ученицы и сослуживцы по театру, которым он рассказал о болезни Понса, постоянно справлялись о здоровье старого музыканта; Шмуке был так опечален, что даже совершенно равнодушные люди придавали своему лицу то сокрушенное выражение, каким парижане встречают известие о катастрофе. Добряк немец чувствовал, что его силы тоже иссякают. Его мучило и собственное горе и болезнь друга. И случалось, он пол-урока повествовал о своем несчастье; он вдруг прекращал занятия и так искренне скорбел о больном друге, что юные ученицы не прерывали его обстоятельного рассказа. Между двумя уроками он забегал домой проведать Понса. С ужасом видел он, как пустеет их общая касса, как растут расходы на больного, которые тетка Сибо за последние две недели умышленно раздувала, чтобы напугать бедного учителя музыки, но все его страхи побеждало мужество, которого он раньше и не подозревал в себе. Впервые в жизни ему хотелось заработать побольше, столько, чтобы не терпеть недостатка в деньгах. Случалось, что ученица, искренне растроганная судьбой обоих друзей, спрашивала Шмуке, как он решается оставлять Понса одного, и тогда он отвечал с той святой улыбкой, которой улыбаются наивные, не подозревающие обмана люди:

— *Мамзелле, ми имеем мадам Зибо! Она есть кляд, бриллиант! За Понсом я буду ухашивать как за один принц!*

Итак, когда Шмуке выходил из дому, тетка Сибо оставалась полной хозяйкой в квартире. Ну как мог Понс, ничего в рот не бравший уже две недели, настолько слабый, что не имел сил без посторонней помощи перейти в кресло, пока привратница перестилала ему постель, как мог он следить за этим «ангелом-хранителем»? Совершенно ясно, что, пока Шмуке завтракал, тетка Сибо отправилась к Элиа Магюсу.

Она поспела домой в ту минуту, когда немец прощался с больным другом; с тех пор как ее вразумили насчет богатства Понса, она больше не отходила от холостяка, не спускала с него глаз! Она усаживалась в удобное кресло в ногах кровати и, чтоб развлечь Понса, занимала его сплетнями, на которые так падки женщины ее сорта. Дальше будет видно, с какой дьявольской хитростью вкралась она в доверие к Понсу, как подольщалась к нему, какую проявляла заботу, внимание. Напуганная предсказанием заветной колоды, привратница поклялась осуществить свой злодейский замысел чисто моральным воздействием и таким путем добиться, чтобы хозяин не позабыл ее в завещании. В течение десяти лет она не знала, какое богатство собрано в понсовском музее, и теперь решила предъявить ко взысканию свою десятилетнюю преданность, честность и бескорыстие. Уже двадцать пять лет она вынашивала в сердце змею — змею алчности, и с того самого дня, как слова Ремонанка, блеснувшие золотом, пробудили эту змею к жизни, она вскармливала ее всей скверной, которая таится в глубине человеческого сердца; в дальнейшем мы увидим, как она следовала тем советам, что нашептывала ей эта змея.

— Ну, как наш ангелок, попил как следует? Полегчало ему? — спросила она Шмуке.

— *Нитшуть не полегшаль, увашаемая мадам Зибо,*— ответил немец, утирая слезы.

— Нельзя же так убиваться, господин Шмуке, что ж теперь делать... Если бы мой Сибо умирал, я и то так не расстраивалась бы. Я вам, *значить*, говорю, наш ангелок крепкого здоровья. А потом, ведь он, кажется, всю жизнь скромником прожил! А скромники, ой, как долго живут! Он сильно болен, ничего не скажешь, но я, *значить*, уж постараюсь, я его выхожу. Не расстраивайтесь, идите куда вам надо, я с ним побуду и послежу, чтоб он выпил ячменный отвар.

— *Если би не ви, голюбушка мадам Зибо, я би до смерти себья вольноваль,*— сказал Шмуке, в приливе благодарности обеими руками пожимая руку своей доброй хозяюшке.

Тетка Сибо вошла в спальню к Понсу, утирая глаза.

— Что с вами, мадам Сибо? — спросил Понс.

— Да это господин Шмуке всю душу мне вымотал — плачет по вас, как по покойнику! — пожаловалась она.— Хоть вам и плохо, да зачем же хоронить раньше времени? А меня это так расстроило! Господи боже мой, ну где еще найдешь такую дуру, уж очень я привязчивая, полюбила вас больше, чем своего Сибо! Ведь в конце концов кто вы мне? Родственники-то мы только по Адаму, а вот, честное слово, как дело до вас коснется, так у меня душа и заноет. Вот хоть сейчас руку дам на отсечение, само собой левую, только бы вы опять встали, зажили по-прежнему, начали бы опять кушать да старьевщиков обхаживать... Если бы у меня ребенок был, вот его бы я, верно, так, как вас, любила! Ну, выпейте, золотце мое, нуте-ка, полный стакан! Да пейте же, сударь! Доктор Пулен сказал: «Если господин Понс не хочет отправиться на Пер-Лашез, пусть воду ведрами пьет». Ну, так пейте, ну же!..

— Да я пью, мадам Сибо... Пью, кажется, уж больше и пить-то некуда.

— Вот так! Теперь хватит! — сказала привратница, принимая пустой стакан.— Бог даст и поправитесь! У господина Пулена был один такой больной, как вы, только за ним никто не ходил, дети его покинули, так он от этой самой болезни умер, а все потому, что мало пил!.. Вот и надо пить, так-то, мой голубок! Два месяца всего как его схоронили... Если вы, наш дорогой, не встанете, господин Шмуке тоже не жилец на этом свете, так и знайте... он что дитя, честное слово, ягненок, а не человек; а вас как любит! Жена мужа и то меньше любит!.. Ни пьет, ни ест, исхудал за эти две недели не меньше вашего, а у вас у самого только кожа да кости... Я даже ревную, потому как я к вам очень привязанная; но я себя до того не допускаю, аппетита я не потеряла, какой там! Оттого, что я целый день по лестнице вверх и вниз бегаю, у меня ноги просто подкашиваются, вечером как мертвая на кровать валюсь. Ради вас бедного моего муженька совсем забросила, теперь его сестра Ремонанка кормит, а он на меня ворчит, что все невкусно. Ну, я ему говорю, ничего не поделаешь, не могу же я вас бросить, когда вы больны. А чтоб я здесь сиделку потерпела, когда я за вами уже десять лет хожу и все ваше хозяйство у меня на руках... Они все на еду жадные —

за десятерых жрут,— им вина, сахара подавай, им и грелку под ноги, и всякие *удобствия*... А потом они норовят больного обокрасть, если он им в завещании ничего не откажет... Пусти сегодня сюда сиделку, а завтра или картины, или чего другого не досчитаешься...

— Ах, не уходите от меня, мадам Сибо! — воскликнул Понс вне себя от страха.— Не уходите!.. Ничего чтоб здесь не трогали!..

— Я тут,— сказала тетка Сибо,— пока сил хватит, не уйду... будьте покойны! У доктора Пулена, может, что и было на уме насчет ваших сокровищ. Недаром он хотел навязать вам сиделку... Как я его отчитала! «Только меня одну господин Понс признает,— так я ему и сказала,— он ко мне привык, а я к нему». Доктор и замолчал. А сиделки все до одной воровки! Я этих баб терпеть не могу!.. Вот сейчас я вам расскажу, какие они пролазы... Был такой случай, один старый господин... мне это доктор Пулен сам рассказал... так вот женщина тут одна тридцати шести лет, мадам Сабатье, бывшая торговка туфлями на рынке Пале,— знаете те торговые ряды в Пале, что потом снесли...

Понс кивнул головой.

— Ну, так дела у этой женщины шли неважно, потому как муж у нее был пьяница и помер от *алкоголического* удара, но она была красавицей, надо прямо сказать, только ей это не помогло, хоть у нее, говорят, адвокаты дружки были... Вот, как она впала в бедность, она и начала за роженицами ухаживать, живет она здесь на улице Бар-дю-Бек. А потом пошла в сиделки к одному старику, который болел, простите за выражение, *мочепочниками*, так что в него, как в *арлезианский* колодец, трубку вставляли, за ним все время уход был нужен, так она у него в комнате на складной постели и спала. Подумать только, дела какие! Вы мне скажете: «Для мужчин ничего святого нет! Все они такие эгоисты!» Ну, так вот, разговаривала она с ним,— сами понимаете, она все время при нем, развлекала его, рассказывала разные истории, вот как мы сейчас с вами судачим... и узнала она, что его племянники — у больного старика племянники были,— что его племянники

просто аспиды; много он от них горя видел, и до болезни-то они его довели. Так вот, сударь вы мой, она выходила этого самого старика, а он на ней женился, и ребенка она с ним прижила, такой крепыш, его еще мадам Бордевен, та, что мясную на улице Шарло держала, крестила, они родственницы...Вот уж это повезло так повезло!.. Я замужем, а детей у меня нет, и должна сказать, *виноватый* тут Сибо, уж очень он меня любит, потому что, если бы только я захотела... Ну, хватит об этом. Что бы мы с мужем делали, будь у нас дети, у нас ведь ни гроша за душой, это после тридцати-то лет честной работы! Одно утешение, чужого добра у меня вот ни на столечко нет. Никогда я никого не обидела... Да чего там толковать, скажем, вы мне сколько там ни на есть по завещанию откажете,— это я так, к примеру говорю, почему не поговорить, раз через полтора месяца мы вас на ноги поставим и вы опять по бульварам гулять будете. Ну так вот, если бы вы мне даже сколько там ни на есть и отказали, так я все равно до тех пор не успокоюсь, пока не разыщу ваших наследников и не отдам им все дочиста... Я как огня боюсь тех денег, что не в поте лица заработаны. Пусть бы меня уговаривать стали: «Мадам Сибо, да что вы так волнуетесь; вы их честно заработали, ходили за своими господами, как за малыми детьми, каждый год экономию не меньше чем на тысячу франков наводили...» Ведь, по чести сказать, у другой кухарки на моем месте уже десять тысяч на книжке бы лежало. Пусть мне кто хошь говорит: «Ваш почтенный хозяин поступил правильно, оставив вам пожизненную ренту»,— я это только так, к примеру. Так вот нет же никакой во мне корысти, нет... И бывают же такие женщины, что когда выгодно, так они ласковы. Только какая же цена их доброте?.. В церковь я не хожу: времени нет; но мне совесть не позволит... Да вы не волнуйтесь так, золото мое!.. Не расчесывайтесь! Господи, как вы пожелтели! Такой желтый, такой желтый, ну просто коричневый стали... Вот поди ж ты, каких-нибудь три недели болеете, а уже желтый, как лимон!.. Честность — это богатство бедняков, надо же, чтоб и у нас какое ни на есть богатство было. Во-первых, даже если бы вы на краю могилы стояли, я бы первая вас уговаривала, чтобы вы все господину Шмуке

отказали. Это ваша прямая обязанность, потому как он — вся ваша семья! Он вам, как собака хозяину, предан.

— Ах,— вздохнул Понс,— только он один меня и любит!

— Ой, как нехорошо, как нехорошо, господин Понс,—попеняла ему тетка Сибо,—а я? Разве я вас не люблю?

— Что вы, что вы, дорогая мадам Сибо...

— Ведь я же не прислуга, не просто кухарка, ведь я от всего сердца! Вот и разбивайся в лепешку одиннадцать лет подряд ради двух холостяков: только и думай, как бы им услужить; у десяти торговок, бывало, всю зелень перерою, пока те ругаться не начнут; на рынок за свежим маслом ходила; а убирала-то всегда как аккуратно, за десять лет ничего не поломала, не разбила... Вот и ходи за людьми, как мать родная. А потом как тебе *преподнесуть* этакую «дорогую мадам Сибо», тут и поймешь, что ни капелечки-то твой хозяин тебя не любит, а ты за ним, как за царским сыном, ухаживаешь, потому что за королем римским, когда он ребенком был, так не ухаживали!.. Да, да, об заклад побьюсь, что за ним так, как за вами, не ухаживали!.. То-то вот он и умер во цвете лет... Знаете, господин Понс, нехорошо так.. Вы неблагодарные! А все потому, что я бедная привратница. Господи боже мой, *выходить*, вы тоже нас за собак считаете?..

— Да что вы, дорогая мадам Сибо...

— Вы человек ученый, ну, так объясните мне, почему на нас, на привратников, так смотрят, будто уж у нас и сердца нет, за людей нас не считают, и это теперь, когда все о равенстве говорят!.. Что же, я хуже других женщин? Я ведь красотой на весь Париж славилась, меня даже так *красавицей трактирщицей* и прозвали, по семи, по восьми раз на день мне в любви объяснялись!.. Да захоти я и сейчас... Вот, взять хотя бы этого замухрышку, что железом торгует, да вы его знаете, тут напротив. Ну, так будь я вдовой, это я только так, к примеру говорю, он бы меня с закрытыми глазами за себя взял, потому как он день-деньской эти самые глаза на меня пялит, только и слышишь: «Какие у вас руки красивые, мадам Сибо!.. Сегодня ночью мне снилось, будто ваши

руки не руки, а булки, а я масло, и так на них и ложусь, так и ложусь!..» Да, господин Понс, это, я вам скажу, руки! Вот поглядите...

Она засучила рукав и обнажила красивую руку, белую и крепкую, чего никак нельзя было ожидать, глядя на ее красные, заскорузлые кисти; полную, круглую руку, с ямочками на локтях, которая так и засверкала, освободившись от своего чехла из дешевой шерстяной материи, словно блестящий клинок, извлеченный из ножен; руке этой надлежало ослепить Понса, но он не посмел посмотреть на нее подольше.

— Вот эти руки,— продолжала она,— открывали сердца так же ловко, как мой нож открывал устрицы! Ну, так эти руки принадлежат Сибо, и неправа я была, что забросила моего дорогого муженька, а он по первому моему слову и в огонь и в воду пойдет, забросила ради вас, а вы меня *дорогая мадам Сибо* зовете, когда я для вас из кожи вон лезу...

— Да послушайте, не могу же я вас матерью или женой звать,— возразил бедный старик.

— Нет, больше ни за что в жизни никого жалеть не буду!..

— Да дайте же мне слово сказать! — взмолился Понс.— Я ведь о Шмуке говорил.

— Вот у господина Шмуке сердце золотое,— не унималась тетка Сибо.— Он меня любит, потому что он тоже бедный! От богатства люди всегда черствеют, а вы богач! Ну, что же, попробуйте взять сиделку, посмотрим, как вам с ней житься будет! Вы у нее как жук на булавке корчиться станете... Доктор вам пить велит, а она будет только есть давать! Она вас нарочно в гроб вгонит, чтоб обокрасть! Не заслужили вы того, чтоб при вас мадам Сибо была!.. Ладно, вот придет господин Пулен, попросите у него тогда сиделку!

— Да выслушайте же меня, черт вас возьми! — не выдержал наконец выведенный из себя больной.— Я говорил о моем дорогом Шмуке, а не о женщинах. Я сам знаю, что только двое людей и любят меня от всей души — вы да Шмуке!

— Пожалуйста, не волнуйтесь! — воскликнула тетка Сибо, подбегая к Понсу и насильно укладывая его в постель.

— Ну, как могу я вас не любить? — простонал бедняга Понс.

— *Значить*, вы меня любите, правда? Ну, простите, простите меня, золотце мое! — сказала она, плача и утирая слезы.— Правда, вы меня любите, но как любят служанку, да... как служанку, которой бросают подачку — получай свои шестьсот франков пенсии,— словно собаке кость.

— О мадам Сибо! — воскликнул Понс,— за кого вы меня принимаете? Да разве я такой!

— Ах, полюбите меня сильней,— воскликнула она, поймав на себе взгляд Понса,— полюбите добрую толстуху тетушку Сибо, полюбите как родную мать! Ведь так оно и есть, я для вас мать, а вы оба — мои сыночки! Знала бы я только, кто вас обидел, я бы в суд, в тюрьму пошла, а уж им, аспидам, глаза бы выцарапала! Да таких людей казнить у заставы Сен-Жак мало. Таким негодяям самую лютую казнь придумать надо! Вы такой добрый, такой ласковый, сердце-то у вас золотое, и на свет-то вы родились, чтобы женщине счастье дать... с вами бы всякая женщина счастлива была... это сразу видно, таким уж вас бог сотворил... Увидела я, как вы с господином Шмуке обходитесь, и тут же подумала: «Нет, господин Понс сам себе жизнь испортил! Из него бы вышел муж на славу...» Что там толковать, вы женщин любите!

— Да,— вздохнул Понс,— люблю, а вот женщины меня никогда не любили!

— Да не может быть! — воскликнула тетка Сибо с вызывающим видом, подойдя к Понсу и взяв его за руку.— У вас и любовницы не было, такой, что для своего дружка в лепешку разобьется? Да слыханное ли это дело! Я бы на вашем месте не согласилась отправиться на тот свет, не узнав самого большого счастья на земле!.. Бедный вы мой соколик! Будь я прежней мадам Сибо, честное слово, бросила бы для вас своего муженька! С таким-то носом, как у вас,— а нос у вас знаменитый! — и не удосужились? Да как же это вы так, золотце мое? Конечно, не все женщины в мужчинах толк знают! Беда, как они за первого встречного замуж выскакивают, просто жалость берет. А я-то думала, у вас целая дюжина любовниц, потому как вы очень часто

из дому отлучались,— и танцовщицы, и актрисы, и герцогини!.. Как увижу, что вы за дверь, так мужу и говорю: «Ишь ты, опять господин Понс шуры-муры крутить пошел!» Честное слово! Потому и говорила, что считала вас любимцем женщин. Да вы просто созданы для любви... Я это тут же поняла, в первый раз, как вы здесь обедали. Никак вы на господина Шмуке нарадоваться не могли! А он еще и на другой день от счастья плакал и говорил мне: *«Мадам Зибо, он здесь обьедаль!»*— А на него глядя, я тоже разревелась как дура. Зато уж и огорчился же он, когда вы опять за старое принялись! Когда опять пошли по гостям обедать! Бедняжка! И представить себе невозможно, как он убивался! Ему, ему вы должны все, что у вас есть, отписать. Ведь он один вам целую семью заменил. Это золотой человек!.. Смотрите не забудьте его, не то господь бог вас в рай не пустит: неблагодарным людям, что ничего своим друзьям после смерти не оставляют, там не место.

Напрасно Понс старался вставить слово, тетка Сибо трещала, как сорока. Останавливать паровые машины у нас, правда, научились, а вот как заткнуть рот разошедшейся привратнице, тут человеческий гений бессилен.

— Знаю, знаю, сударь, что вы хотите сказать! — не унималась она.— Да только никто еще не умирал от того, что напишет завещание; и на вашем месте — мало ли что может случиться! — я подумала бы о нем, о бедном ягненке. Ведь это же настоящая божья коровка. Ничего-то он в жизни не смыслит; разве можно надеяться на милость этих пройдох поверенных и на родственников, все они негодяи и мошенники! Ну скажите, навестил ли вас кто за три недели как вы в постели?.. А вы им все ваше добро откажете! Ведь, говорят, будто все, что у вас здесь собрано, денег стоит?

— Ну конечно,— сказал Понс.

— Ремонанк знает, что вы любитель, и сам он стариной поторговывает, так он говорит, что до самой вашей смерти платил бы вам тридцать тысяч франков, если бы ему достались ваши картины... Вот это выгодное дело! На вашем месте я согласилась бы! Но я думала, что он это мне на смех сказал. Вам надо бы предупредить господина Шмуке, что здесь все вещи дорогие, ведь он все одно, что дитя несмышленое, его всякий надует;

он и понятия не имеет, сколько стоят ваши сокровища! Он им цены не знает и отдаст их за щепотку табака или же из любви к вам до конца жизни не захочет с ними расстаться, только вряд ли он долго протянет, ваша смерть убьет его! Но я тут! Я не дам его в обиду... Ни я, ни муж!

— Дорогая мадам Сибо,— ответил Понс, растроганный этим потоком слов, в котором ему почудилось искреннее чувство простого человека во всей его непосредственности,— что бы я без вас и без Шмуке делал?

— Да, только мы двое и есть у вас на свете, это так! Но двое преданных друзей лучше всякой семьи... Не говорите мне о семье! Семья — это все равно как язык, помните, как в театре говорили,— и лучше ничего нет, и хуже тоже... Где они, ваши родственники? Да и есть ли у вас родственники? Что-то я их не видела...

— Родственники-то и довели меня до такого состояния! — с горечью сказал Понс.

— Ах, так у вас есть родственники! — воскликнула тетка Сибо, вскочив с кресла, словно ужаленная.— Ну и родственнички же, доложу я вам! Как, вот уже три недели, что вы при смерти, а им и горя мало! Да где ж это видано!.. Да будь я на вашем месте, я бы им гроша ломаного не оставила, лучше бы все свое состояние на приют пожертвовала.

— Видите ли, дорогая мадам Сибо, я хотел завещать все, что имею, моей двоюродной племяннице, дочери моего двоюродного брата, председателя суда Камюзо — знаете, того самого господина, который как-то утром, месяца два тому назад, приезжал сюда.

— А, такой маленький, толстенький, что еще своих слуг к вам присылал с извинением... за глупость своей жены... еще ее горничная меня о вас расспрашивала, старая грымза в бархатную мантилью вырядилась, так бы, кажется, и поправила ей прическу своей метлой. Где же это видано, чтоб горничные в бархатных мантильях разгуливали! Нет, честное слово, мир вверх дном перевернулся! И для чего только революции делают? Жрите в три горла, чертовы богачи, если у вас денег хватает. Но я только одно скажу — ежели Луи-Филипп не позаботится, чтобы каждый свое место знал, тогда и законы ни к чему, тогда и святого ничего на свете не оста-

нется! Раз мы все равны, почему же тогда горничная может щеголять в бархатных мантильях, а я, мадам Сибо, после тридцати лет честной службы — не могу; разве я не правду говорю, сударь? Подумаешь, какая птица! Нечего вороне в павлиньи перья рядиться. Горничная — так она горничная и есть, а я — привратница. Для чего-нибудь у военных эполеты заведены. По положению и почет! Хотите, я вам все в двух словах объясню: Франция погибла!.. Ведь при императоре совсем не тот порядок был, разве я не правду говорю, сударь! Я и мужу сказала: «Вот попомни мое слово,— господа, у которых горничная в бархатных мантильях разгуливает, люди бессердечные...»

— Ваша правда, бессердечные! — поддакнул Понс.

И Понс рассказал тетке Сибо все свои обиды и горести, а она то поносила его родственников, то вздыхала над каждой фразой его печальной повести. Под конец она даже расплакалась.

Чтоб понять такую внезапную дружбу между больным музыкантом и теткой Сибо, надо представить себе положение старого холостяка, первый раз в жизни тяжело занемогшего, одинокого, прикованного к постели и обреченного проводить целые дни с глазу на глаз с самим собой; а при болях, вызванных воспалением печени и способных омрачить самую светлую жизнь, день тянется бесконечно долго, и больной, томящийся от безделья, впадает в чисто парижскую тоску, скорбит по бесплатным развлечениям парижской жизни. Тягостное одиночество, мучительные приступы боли, действующие на душу не меньше, чем на тело, тщета жизни, житейская скука — все это вместе взятое ведет к тому, что холостяк, особенно ежели он слабохарактерен, мягкосердечен и доверчив, цепляется, как утопающий за соломинку, за свою сиделку, какова бы она и ни была. И Понс с наслаждением слушал болтовню тетки Сибо. Для него вселенная была ограничена спальней, а человечество исчерпывалось его другом Шмуке, теткой Сибо и доктором Пуленом. Если больные поневоле сосредоточивают свое внимание на том, что может охватить их взгляд, если все их эгоистические помыслы не выходят за пределы одной комнаты, то что же сказать о старом холостяке, не имеющем друзей, всю жизнь не

знавшем любви. За эти три недели какие только мысли не приходили в голову Понсу, он даже пожалел, что не женился на Мадлене Виве. И тетке Сибо за эти три недели удалось настолько втереться в доверие к больному, что он и подумать не мог остаться без нее. Шмуке он просто отождествлял с собой. Все искусство тетки Сибо, хотя она сама того и не ведала, заключалось в том, что она высказывала Понсу его же собственные мысли.

— А, вот и доктор,— сказала она, услышав звонок.

И она оставила Понса одного, отлично зная, что это пришел Ремонанк с евреем.

— Не шумите, господа...— сказала она,— чтоб он, упаси бог, ничего не заметил! Когда дело касается его сокровищ, с ним шутки плохи!

— Мне достаточно взглянуть! — ответил еврей, вооружившись лупой и зрительной трубкой.

Такие залы, как тот, где Понс разместил большую часть своей коллекции, не редкость в старинных особняках французской знати: двадцать пять футов в ширину на тридцать футов в длину и тринадцать в высоту. Понс развесил свои картины, общим числом шестьдесят семь полотен, по стенам зала, отделанного белым с позолотой деревом; но белая окраска пожелтела от времени, золото потускнело, и теперь блеклые тона стен не нарушали общей гармонии, в углах и в простенках между картинами возвышалось четырнадцать невысоких колонн, а на них, на постаментах работы Буля, стояли статуи. Вдоль стен тянулись низкие шкафы черного дерева, богато украшенные резьбой. В этих шкафах были размещены различные антикварные предметы. Посреди зала стояло в ряд несколько резных горок, где были собраны редчайшие произведения человеческих рук: слоновая кость, бронза, дерево, эмали, изделия из золота и серебра, фарфор.

Проникнув в это святая святых, еврей сразу направился к четырем лучшим полотнам кисти мастеров, которых не хватало в его коллекции. Для него это было то же, что desiderata [1] для натуралиста, в погоне за ними готового предпринять дальний путь с Запада на Восток, отправиться в тропики, в пустыню, в пампасы. са-

[1] Желанные экземпляры *(лат.)*.

ванны, девственные леса. Первая картина принадлежала кисти Себастьяно дель Пьомбо, вторая — фра Бартоломео делла Порта, третья была пейзажем Гоббемы и последняя — женским портретом Альбрехта Дюрера,— четыре подлинные жемчужины. Можно сказать, что три разные школы живописи соединили свои самые выдающиеся качества, чтобы создать блестящее дарование Себастьяно дель Пьомбо. Дель Пьомбо, венецианский художник, прибыл в Рим и там овладел манерой Рафаэля под руководством Микеланджело, который хотел противопоставить его Рафаэлю и восстать, таким образом, в лице одного из своих учеников против верховного жреца итальянского искусства. Итак, этот беспечный гений соединил венецианский колорит, флорентийскую композицию и рафаэлевский стиль в тех редких картинах, которые он соизволил написать, да и то еще говорят, что рисунки к ним были сделаны Микеланджело. И по портрету Баччо Бандинелли мы можем убедиться, какого совершенства достиг этот черпавший из трех источников художник, ибо этот портрет выдерживает сравнение с «Человеком с перчаткой» Тициана, с портретом старика, где Рафаэль соперничает в искусстве с Корреджо, и с «Карлом VIII» Леонардо да Винчи. Это четыре алмаза чистейшей воды, равноценные по блеску, по величине, по игре. Это предел человеческого искусства. Это выше, чем природа, ибо она дала жизнь оригиналу только на краткий миг. Понсу принадлежало одно произведение этого великого мастера и бессмертного живописца, страдавшего неизлечимой ленью,— «Молящийся мальтийский рыцарь»,— картина, написанная на шифере и отличающаяся еще большей свежестью красок, законченностью и глубиной, чем портрет Баччо Бандинелли. Картину фра Бартоломео «Святое семейство» даже знатоки приписали бы Рафаэлю. Пейзаж Гоббемы мог бы пройти на аукционе за шестьдесят тысяч франков. А женский портрет Альбрехта Дюрера не уступал знаменитому нюрнбергскому «Гольцшуеру», за которого короли баварский, голландский и прусский не раз тщетно предлагали двести тысяч франков. Кто изображен на этом портрете — может быть, жена или дочь рыцаря Гольцшуера, друга Альбрехта Дюрера?.. Такая гипотеза представляется весьма вероятной, ибо по позе жен-

щины из собрания Понса можно предположить, что это парный портрет, да и гербы на обоих портретах расположены одинаково. Кроме того, надпись aetatis suae XLI [1] вполне совпадает с годом, указанным на портрете, который так свято хранят нюрнбергские Гольцшуеры, не так давно заказавшие с него гравюру.

Элиа Матюс даже прослезился, разглядывая эти четыре первоклассные произведения.

— Я заплачу вам по две тысячи франков с картины, если вы устроите их мне за сорок тысяч! — шепнул он на ухо тетке Сибо, остолбеневшей от этого, будто с неба свалившегося богатства.

Старый еврей пришел в такой восторг или, вернее говоря, в такое восторженное исступление, что совершенно обезумел и позабыл свою обычную скупость.

— А мне как быть? — спросил Ремонанк, который плохо разбирался в картинах.

— Здесь все шедевры,— шепнул хитрый еврей на ухо овернцу,— выговори себе любые десять картин на тех же условиях, и твое благосостояние обеспечено!

Трое мошенников еще стояли друг перед другом, охваченные самой сильной страстью — предвкушением верного богатства, как вдруг раздался голос больного, прозвучавший для них ударом колокола.

— Кто там ходит? — кричал Понс.

— Ложитесь, ложитесь, сударь!—напустилась на него тетка Сибо, прибежав в спальню и насильно укладывая его в постель.— Да что ж это, уморить вы себя, что ли, хотите?.. Оказывается, это не доктор Пулен, а Ремонанк, вот душа-человек, как о вас беспокоится,— пришел справиться о здоровье!.. Вы общий любимец, весь дом из-за вас переполошился. Ну, чего вы напугались?

— Мне показалось, что там несколько человек,— сказал больной.

— Несколько человек! Ну и дела!.. Да это вам, верно, привиделось! Так и с ума спятить недолго, честное слово!.. Ну, сами поглядите.

Тетка Сибо быстро открыла дверь, мигнула старому антикварю, чтоб он отошел, а Ремонанка поманила поближе.

---

[1] В возрасте сорока одного года *(лат.)*.

— Ну, сударь, как дела? Я пришел справиться о вашем здоровье,— сказал овернец, слышавший слова тетки Сибо, сказанные нарочно для него,— все жильцы волнуются... кому приятно, когда смерть стучится в дверь!.. Да и папаша Монистроль, достаточно хорошо вам известный, поручил передать, что ежели вам нужны деньги, он к вашим услугам...

— Он подослал вас, чтобы высмотреть мои *вещицы!* — сказал старый коллекционер с недоверием и горечью.

Больные печенью почти всегда испытывают чувство внезапной неприязни; они срывают свое дурное настроение либо на каком-нибудь предмете, либо на человеке. Так и Понс вообразил, будто все зарятся на его сокровище, он вбил себе в голову, что необходимо зорко за ним следить, и потому время от времени посылал Шмуке поглядеть, не прокрался ли кто в его святая святых.

— Коллекция у вас недурная,— слукавил Ремонанк,— она может понравиться маклакам; я, правда, не разбираюсь в редкостных вещах, но вы, сударь, слывете великим знатоком, и хоть я по этой части не дока, но у вас куплю все, что угодно, с закрытыми глазами... Если вам, сударь, деньги понадобятся,— ведь на эти проклятые болезни уйма денег идет... вот моя сестра, когда к ней горячка пристала, за десять дней тридцать су на лекарство ухлопала, а все равно и так бы поправилась... врачи — жулики, они пользуются нашим положением...

— Прощайте, сударь, благодарю вас,— ответил Понс торговцу, не спуская с него тревожного взгляда.

— Я его провожу, а то, чего доброго, еще что стащит,— шепнула тетка Сибо больному.

— Да, да,— ответил он, с благодарностью взглянув на привратницу.

Тетка Сибо прикрыла дверь спальни, что снова пробудило в больном недоверие. Магюс стоял все в той же позе перед четырьмя картинами. Такое неподвижное созерцание, такой восторг понятны тем, чье сердце открыто чувству прекрасного, тому неизреченному чувству, которое вызывают совершенные произведения искусства; эти люди могут часами простаивать в музее перед «Джокондой» Леонардо да Винчи, перед «Антиопой» Корреджо — шедевром этого мастера, перед «Кра-

савицей» Тициана, «Святым семейством» Андреа дель Сарто, «Детьми, окруженными цветами» Доминикино, перед картиной Рафаэля, сделанной гризайлью, и перед портретом старика, тоже кисти Рафаэля,— перед самыми могучими произведениями искусства.

— Уходите живее, только, чур, не шуметь! — приказала тетка Сибо.

Еврей стал медленно пятиться к дверям, не спуская глаз с картин, словно любовник, расстающийся с возлюбленной. Когда он очутился на площадке, тетка Сибо, которую его восторг навел на некоторые мысли, хлопнула старика антиквара по костлявому плечу.

— Идет, четыре тысячи с картины? А нет, как хотите...

— Уж очень я беден! — вздохнул Магюс.— Картины я хочу приобрести из любви к искусству, исключительно из любви к искусству, красавица!

— Для такого сухаря, как ты, золотце мое, такая любовь самое подходящее дело! — сказала тетка Сибо.— Но ежели ты сегодня при Ремонанке не пообещаешь мне шестнадцать тысяч франков, завтра я потребую с тебя двадцать.

— Обещаю шестнадцать,— ответил еврей, испуганный ее жадностью.

— А чем такой нехристь побожиться может? — спросила она у Ремонанка.

— Ручаюсь вам за него, как за себя,— ответил торговец.— Он человек честный.

— Ну, а вы сколько мне дадите, если я устрою, чтобы хозяин и вам продал картины? — спросила привратница.

— Половину с барыша,— быстро ответил Ремонанк.

— Нет, мне лучше сразу дайте определенную сумму. Я не торговка,— возразила тетка Сибо.

— Вы прекрасно разбираетесь в делах,— с улыбкой заметил Элиа Магюс.— Из вас вышел бы отличный коммерсант.

— Я уж и то ей предлагаю себя в мужья и в компаньоны,— сказал овернец, сильно, словно молотом, хлопнув тетку Сибо по пышному плечу,— и другого пая, кроме ее красоты, не требую Дался вам ваш ревнивец Сибо, подумаешь, какое дело иглой ковырять! Ну что

для такой красивой женщины муж-привратник, с ним не разбогатеешь. Ваше место в антикварной лавке на бульварах. Занимали бы разговорами покупателей, приманивали бы коллекционеров. Вот загребете здесь побольше, и ну ее к черту, вашу каморку, увидите, как у нас с вами дела пойдут!

— Что сказал! Загребете побольше! — возмутилась тетка Сибо.— Да я здесь булавки не возьму, так и запишите, Ремонанк! Весь околоток знает, что я женщина честная, да!

Глаза тетки Сибо сверкали.

— Ну, ну, успокойтесь! — сказал Элиа Магюс.— Это он вам не в обиду сказал, а любя.

— Ах, скольких бы покупателей она привлекла! — воскликнул овернец.

— Будьте справедливы, золотые мои, сами посудите, какое мое здесь положение,— сказала тетка Сибо, сменив гнев на милость.— Вот десять лет, как я из кожи вон лезу, двум моим старикам угождаю, а от них еще ничего, кроме спасибо, не видела... Спросите у Ремонанка, я подрядилась их кормить и, что ни день, то двадцать, то тридцать су своих вкладываю, все, что на старость лет припасла, на них ушло; ежели я вру, пусть родительнице моей на том свете ни дна ни покрышки... родителя-то своего я в глаза не видела... Не сойти мне с этого места, не дожить до завтрашнего дня, кофеем подавиться, если я хоть настолечко соврала!.. Я за обоими, как за родными детьми, ходила, теперь один не сегодня-завтра помрет,— так ведь? — и как раз тот, что богаче. И что же бы вы думали, сударь? Двадцать дней подряд твержу ему, что он одной ногой в могиле стоит, потому как доктор Пулен сказал, что он не жилец, а он, старый скряга, о завещании ни слова, будто совсем и не знает меня! Честное слово! Эх, коли сама не возьмешь, нипочем свое же заработанное не получишь, вот ей-богу; на наследников надежда плохая... видали их! Уж отведу душу — брань-то на вороту не виснет,— скажу, что все люди сволочи!

— Это правда,— мрачно поддакнул Элиа Магюс,— из всех людей, пожалуй, мы еще самые честные,— прибавил он, переглянувшись с Ремонанком.

— Да что уж это вы... разве я о вас? — подхватила

тетка Сибо.— О присутствующих не *говорять*, как сказал тот старый актер. Вот ей-богу, они оба мне уж около трех тысяч задолжали, все мои крохи на лекарства да на все прочее пошли, а они, может статься, и не вернут!.. И далась мне, старой дуре, эта честность. Стесняюсь им о деньгах напомнить. Вы, сударь, человек деловой, так вы мне посоветуйте,— может быть, обратиться к адвокату?

— Зачем к адвокату, вы сами умнее всякого адвоката,— воскликнул Ремонанк.

Тут в столовой раздался грохот, словно тяжелое тело рухнуло на пол.

— Господи боже мой! — крикнула тетка Сибо.— Что случилось? Уж не шлепнулся ли мой хозяин с кровати да на пол!..

Она подтолкнула к выходу обоих своих сообщников, и те быстро сбежали со ступенек; затем вернулась обратно и бросилась в столовую, где ее взорам предстал Понс, лежащий в ночной рубахе, без чувств, на полу. Она схватила старого холостяка в охапку и легко, словно перышко, отнесла на кровать. Уложив умирающего, она поднесла ему к носу жженые перья, смочила виски одеколоном, привела его в чувство. Потом, когда сознание вернулось к нему и он открыл глаза, тетка Сибо подбоченилась и начала:

— Босиком, в одной сорочке! Этак вы себя до смерти доведете! Почему вы мне не верите?.. Коли так, прощайте, сударь. Вот она, награда за десятилетнюю службу. А я-то, я-то свои деньги на вас трачу, последние гроши ухлопала, а все жалеючи бедняжку господина Шмуке, ведь он, как ребенок, зайдет куда-нибудь в уголок и *плачеть*... Это за десятилетнюю-то службу и такая награда. Вы и сейчас за мной подсматривали!.. Вот бог вас и наказал... и поделом! Я-то вас, сил не жалеючи, на руках несу, *можеть*, на всю жизнь калекой останусь... Ах ты, господи боже мой! И дверь запереть позабыла!..

— С кем вы говорили?

— Что вам еще в голову взбрело? — воскликнула тетка Сибо.— Крепостная я вам, что ли? Уж не должна ли я обо всем вам докладываться? Так и знайте, мне это надоело, брошу все как есть! Берите себе сиделку!

Испугавшись такой угрозы, Понс, сам того не подозревая, дал в руки тетке Сибо опасное оружие — теперь она знала, что может угрожать ему этим дамокловым мечом.

— Это все моя болезнь виновата!—жалобно промямлил он.

— Ладно уж! — буркнула тетка Сибо.

И ушла, оставив смущенного Понса во власти раскаяния, умиленного крикливой преданностью своей сиделки, винящего во всем себя одного и даже не подозревающего, какие тяжелые последствия могло иметь для такого больного, как он, падение на пол.

На лестнице тетка Сибо встретила Шмуке, шедшего домой.

— Скорей, сударь... у нас не все ладно. Господин Понс с ума сходит!.. Понимаете, вскочил голый с постели, побежал за мной... и растянулся во всю длину... А спросите его, в чем дело,—и сам не знает... Ему плохо. И ничем я такого буйства не вызвала, разве что разволновала его разговорами о любовных проделках в молодые годы... Кто этих мужчин поймет? Старики, а туда же... Не надо мне было перед ним своими руками хвастаться, у него глаза так и загорелись, одно слово — *брулианты*...

Шмуке слушал тетку Сибо так, словно она говорила по-китайски.

— Я с ним надорвалась, теперь, *можеть*, на всю жизнь калекой останусь! — И тетка Сибо, почувствовав, что у нее немного ноет поясница, сразу сообразила, какую можно извлечь из этого выгоду, и так разохалась, словно у нее и вправду отнялись ноги.— Такая я дура! Увидела его на полу, схватила в охапку, как ребенка, и отнесла на кровать... да! А теперь чувствую, что надорвалась. Плохо мне! Пойду домой, а вы посидите с больным. Мужа я пошлю за господином Пуленом, пусть меня посмотрит. Лучше умереть, чем на всю жизнь калекой остаться...

Тетка Сибо схватилась за перила и сползла с лестницы, согнувшись в три погибели и так громко охая, что испугавшиеся жильцы повыскакивали на площадку. Шмуке поддерживал больную и со слезами на глазах расписывал всем ее преданность. Вскоре не только весь

дом—весь квартал говорил о великом подвиге мадам Сибо, которая якобы надорвалась чуть не до смерти, подняв на руки, словно ребенка, одного из стариков-щелкунчиков. Вернувшись к Понсу, Шмуке рассказал ему о тяжелом состоянии их верной домоправительницы, и теперь они с ужасом глядели друг на друга: «Что мы без нее будем делать?..» Шмуке, видя, как изменился Понс после своей выходки, не решился его пожурить.

— *Проклятие безделюшки! Лучше би они били сгореть, ведь мой друг из-за них тшуть не сталь погибать!..*— воскликнул он, узнав от Понса, чем была вызвана его прогулка.— *Ти не доверяль мадам Зибо, когда она на нас свои сберешения тратиль! Ой, как пльохо! Но во всем есть виновата больезнь...*

— Ах, эта болезнь! Я изменился, сам чувствую,— сказал Понс.— Я не хочу, чтоб ты страдал, добрый мой Шмуке.

— *Вортши на менья,*— сказал Шмуке,— *а к мадам Зибо не придирайсь...*

Доктор Пулен в несколько дней излечил привратницу, которая совсем уж собралась остаться на всю жизнь калекой, и после этого чудесного излечения слава его в квартале Марэ необычайно возросла. Понсу доктор Пулен объяснил свою удачу прекрасным организмом больной, которая, к великому удовольствию обоих стариков, уже через неделю приступила к исполнению своих обязанностей. После этого приключения влияние привратницы, тиранически взявшей в свои руки бразды правления, увеличилось вдвое, так как за эту неделю щелкунчики наделали долгов, с которыми расплатилась она. Тетка Сибо воспользовалась этим обстоятельством и получила (и надо сказать, без всякого труда!) от Шмуке расписку на две тысячи франков, которые, по ее словам, она на них издержала.

— Вот это доктор! — сказала привратница Понсу про г-на Пулена.— Он вас обязательно вылечит. Меня он от смерти спас! Бедный мой Сибо думал, что я уже не встану... Господин Пулен вам, верно, говорил, что пока я лежала, я все о вас вспоминала. «Господи,— молилась я,— возьми меня и оставь в живых дорогого нашего господина Понса...»

— Бедная, бедная, мадам Сибо, из-за меня вы чуть не стали калекой!..

— Да, не будь господина Пулена, лежать бы мне в сосновом ящике, от которого никто не уйдет. Что поделаешь, докатишься до конца горки и кувырк! — как говорил этот старый актер. Надо быть философом. Ну, как же вы без меня управлялись?

— Шмуке не отходил от меня; но это отразилось и на нашей кассе и на ученицах... Не знаю, как он устроился.

— *Не вольнуй себья, Понс!* — воскликнул Шмуке.— *Папаша Зибо нас вырутшиль...*

— Не стоит об этом говорить, золотой мой! Мы вас обоих, как детей, любим,— воскликнула тетка Сибо.— Наши денежки за вами не пропадут, вернее, чем в банке! Пока у нас самих кусок хлеба будет, мы всегда с вами поделимся. Не стоит об этом и говорить...

— *Голюбушка мадам Зибо!* — вздохнул Шмуке, уходя.

Понс ничего не ответил.

— Знаете, золотой мой,— сказала тетка Сибо больному, заметя его волнение,— что меня больше всего на пороге смерти заботило,— ведь я ей, курносой, в лицо взглянула,— что вы одни останетесь и что у бедного моего Сибо ничего за душой нет. Сбережений у меня почитай совсем никаких, и говорю-то я о них только потому, что собралась умирать и что мне Сибо жалко, это ангел, а не человек! Он за мной, как за королевой, ходил, а ревел надо мной, чисто теленок!.. Но я на вас надеялась, честно вам говорю. Я ему так и сказала: «Ладно, Сибо, мои господа тебя без куска хлеба не оставят...»

Понс ничего не ответил на эту атаку ad testamentum [1], и привратница тоже молчала, ожидая, что он скажет.

— Я поручу вас заботам Шмуке,— промолвил, наконец, больной.

— Ах, за все, что вы сделаете, я буду благодарна! — воскликнула привратница.— Я на вас, на ваше доброе сердце надеюсь. Не надо об этом говорить, мне стыдно, золотой мой, думайте только о том, чтоб поправиться! Вы дольше нашего проживете...

---

[1] На завещание *(лат.)*.

Тетка Сибо совсем растревожилась. Она решила добиться того, чтоб хозяин прямо объявил, сколько он намерен ей завещать; и первым делом, в тот же вечер, накормив обедом Шмуке, который, с тех пор как его друг заболел, кушал всегда у его постели, отправилась к доктору Пулену.

Доктор Пулен жил на Орлеанской улице. Он снимал небольшую квартирку в нижнем этаже: приемная, две спальни и передняя; комнатушка, смежная с передней и с одной из двух спален, с той, которую занимал сам доктор, была превращена в кабинет. Кухня, комната для прислуги и небольшой погреб принадлежали к этой же квартире, помещавшейся в крыле огромного дома, выстроенного в эпоху Империи вместо старого особняка, от которого уцелел только сад. Этот сад был разделен между тремя жильцами первого этажа.

Квартира доктора не ремонтировалась лет сорок. В живописи, в обоях, в украшениях — во всем чувствовалась эпоха Империи. Зеркала, бордюры, рисунок на обоях, потолки и живопись потускнели от сорокалетней пыли и копоти. И такая квартирка, в глухом квартале Марэ, все же стоила тысячу франков в год. Г-жа Пулен, мать доктора, шестидесятисемилетняя старушка, доживала свой век в другой спальне. Она работала на торговцев кожевенными изделиями, шила гетры, кожаные штаны, подтяжки, пояса — словом, все, что относится к этой отрасли промышленности, в настоящее время пришедшей в упадок. Она присматривала за хозяйством и единственной служанкой своего сына, никуда из дому не отлучалась и выходила только в свой садик подышать воздухом; туда вела застекленная дверь прямо из гостиной. Овдовев двадцать лет тому назад, г-жа Пулен продала после смерти мужа кожевенное заведение старшему мастеру, который обеспечивал ее заказами приблизительно на тридцать су в день. Она всем жертвовала ради воспитания единственного сына, во что бы то ни стало желая вывести его в люди. Она гордилась своим эскулапом, верила, что он сделает карьеру, по-прежнему жила только для него, радуясь, что может ухаживать за ним, сберегать его копейку; она мечтала о хорошей жизни для сына и любила его разумной любовью, на что способны далеко не все матери. Так, на-

пример, вдова Пулен понимала, что сама вышла из простых работниц, и не хотела мешать сыну, давать повод для насмешек, ибо она, вроде мадам Сибо, тоже говорила неправильно. Она не появлялась из спальни, когда к доктору случайно обращался за советом какой-нибудь высокопоставленный пациент или когда к нему приходили товарищи по коллежу либо сослуживцы по больнице. И доктору ни разу не пришлось краснеть за свою мать, недостаток воспитания которой вполне искупался ее нежной любовью. Он очень уважал мать. От продажи своего заведения вдова Пулен выручила около двадцати тысяч франков, которые поместила в 1820 году в государственные бумаги, и теперь весь ее капитал составляла рента в тысячу сто франков. Долгое время соседи любовались бельем доктора и его мамаши, сушившимся в саду: служанка с хозяйкой из экономии стирали сами. Эта мелочь быта очень вредила доктору: бедность не внушала доверия к его талантам. Тысяча сто франков ренты целиком шли за квартиру. Заработка вдовы Пулен, толстенькой, добродушной старушки, первое время хватало на все их скромные расходы. Двенадцать лет упорно трудясь на своей скудной ниве, доктор в конце концов начал зарабатывать до тысячи экю в год; таким образом, г-жа Пулен могла располагать теперь суммой, равной приблизительно пяти тысячам франков. Тому, кто знает Париж, ясно, что этого может хватить только на самое необходимое.

Приемная, где ожидали пациенты, была обставлена еще покойным г-ном Пуленом, согласно его мещанскому вкусу: неизменный диван красного дерева, обитый желтым в цветочек плюшем, четыре кресла, полдюжины стульев, подзеркальный и чайный столики. Часы, с которых не снимался стеклянный колпак, изображали лиру и стояли между двумя египетскими канделябрами. Оставалось загадкой, как могли выдержать такой долгий срок коленкоровые занавески мануфактуры Жуи, желтые с набивными красными розочками. Оберкампф в 1809 году получил за эту ужасающую продукцию хлопчатобумажной мануфактуры благодарность от самого императора. Кабинет доктора был обставлен в том же вкусе мебелью из спальни его отца — скупо, бедно и холодно. Какой больной может

поверить в искусство врача, если у него нет не только имени, но и обстановки, особенно в наше время, когда вывеска — это все, когда золотят фонари на площади Согласия, дабы утешить бедняка, убедив его в том, что он богатый гражданин.

Передняя была одновременно и столовой. Там же работала служанка, когда она не была занята на кухне или не помогала матери доктора. Пристойная бедность чувствовалась сразу же, как только вы переступали порог этой невеселой квартиры, почти полдня пустовавшей,— достаточно было взглянуть на жалкие желтенькие кисейные занавесочки на окне передней, выходившем во двор. В буфете, несомненно, хранились остатки черствого пирога, тарелки с отбитыми краешками, вековечные пробки, салфетки, не сменявшиеся целую неделю,— словом, вполне объяснимый при скудных средствах всякий унизительный хлам, которому прямая дорога в корзину старьевщика. Понятно, что в такое время, как наше, когда в глубине души каждый думает о наживе, когда разговоры о деньгах не сходят с языка, доктор, у матери которого не было никаких знакомств, оставался холостяком, хотя ему уже стукнуло тридцать лет. За десять лет ему ни разу не представилось случая завести роман в тех домах, куда он был вхож благодаря своей профессии, ибо обычно он лечил людей примерно одного с ним достатка; он бывал только в семьях, живших вроде него,— у мелких чиновников или мелких фабрикантов. Самыми богатыми его пациентами были соседние мясники, булочники, крупные лавочники, все люди, приписывающие свое выздоровление крепкому организму и считающие, что доктору, который ходит по больным пешком, за глаза хватит и двух франков за визит. В медицине кабриолет важнее знаний.

Обыденная, серенькая жизнь в конце концов засасывает даже самых предприимчивых людей. Человек примиряется с судьбой и удовлетворяется незавидным существованием. И доктор Пулен, практиковавший уже десять лет, тянул все ту же лямку, не впадая в отчаяние, первое время омрачавшее его жизнь. Но так или иначе, он лелеял некую мечту, ибо в Париже каждый лелеет какую-нибудь мечту. У Ремонанка была своя мечта, у тетки Сибо—своя. Доктор Пулен надеялся, что его

позовут к богатому и влиятельному пациенту, которого он обязательно вылечит, а затем при его содействии получит место старшего врача в больнице, при тюремном управлении, при театре или при министерстве. Он, впрочем, уже получил таким путем место врача при мэрии. Через тетку Сибо он был приглашен к г-ну Пильеро, владельцу того дома, где они с мужем служили привратниками; доктор Пулен пользовал его во время болезни и поставил на ноги. Г-н Пильеро, приходившийся по матери дядей графине Попино, жене министра, принял участие в молодом человеке, скрытую нужду которого понял, нанеся ему на дому благодарственный визит. Он-то и исходатайствовал у министра, своего внучатого племянника, очень его уважавшего, то место, которое доктор занимал вот уже пять лет; скудное жалованье пришлось очень кстати: оно удержало доктора от решительного шага — он уже собрался было эмигрировать. Для француза покинуть Францию равносильно смерти. Доктор Пулен побывал у графа Попино, чтобы выразить свою благодарность; но он понял, что через эту семью карьеры не сделаешь, ибо министра пользовал знаменитый Бьяншон. Бедный доктор некоторое время обольщал себя ложной надеждой приобрести покровительство одного из влиятельнейших министров, вытащить одну из тех двенадцати или пятнадцати карт, которые вот уже шестнадцать лет тасует за столом государственного совета могущественная, но невидимая рука; однако он так никуда и не выбрался из своего захудалого квартала, где по-прежнему возился с бедняками и мелкими лавочниками, и сверх того за жалованье в тысячу двести франков в год обязан был констатировать факты смерти.

Доктор Пулен выделялся еще студентом, работая в больнице; затем он стал довольно опытным и осторожным врачом-практиком. К тому же покойники народ смирный, и он мог изучать все болезни in animâ vili. Как тут было не стать желчным! И выражение его лица, и без того уже вытянутого и унылого, временами просто пугало. Вообразите желтую, как пергамент, физиономию в соединении с горящими глазами Тартюфа и озлобленным выражением Альцеста; а затем уже представьте себе походку, манеры, взгляд этого человека, который, чувствуя, что не уступает в знаниях знамени-

тому Бьяншону, не мог выбраться из безвестности, словно схваченный какой-то железной рукой. Доктор Пулен невольно сравнивал свой гонорар, доходивший в самые счастливые дни до десяти франков, с гонораром Бьяншона, равнявшимся пятистам — шестистам франкам. Как тут не зародиться у бедняка ненависти к богатому? К тому же этот не получивший признания честолюбец ни в чем не мог себя упрекнуть. Он уже попытал счастья, придумав слабительные пилюли вроде морисоновских. Он доверил изготовление своих пилюль одному из университетских товарищей, который работал с ним вместе еще в больнице, а затем открыл аптеку; но аптекарь разорился, влюбившись в фигурантку театра «Амбигю-Комик», а так как патент на изобретение слабительных пилюль был взят на его имя, то это поразительное открытие обогатило лишь его преемника. Бывший однокурсник уехал в Мексику — родину золота, прихватив с собой тысячу франков, скопленных беднягой Пуленом, который впридачу ко всему был еще обозван ростовщиком, когда обратился к фигурантке, желая вернуть свои деньги. После случайной удачи — излечения старика Пильеро — ему так больше и не повезло на богатых пациентов. Высунув язык, бегал он по всему Марэ и в результате из двадцати визитов только за два получал по сорока су. Хорошо платящий пациент был для него той легендарной птицей, которая во всем подлунном мире известна под названием *белой вороны*.

Молодой адвокат без практики, молодой врач без пациентов — вот два самых ярких образа типичной для Парижа безысходной, но пристойной нужды; фрак и черные панталоны, порыжевшие на швах и напоминающие облезлую крышу мансарды, залоснившийся атласный жилет, цилиндр, который берегут как зеницу ока, старые перчатки и коленкоровая сорочка скрывают подлинную нищету. Это исполненная грусти поэма, мрачная, как тайны Консьержери. Нужду поэта, художника, актера, музыканта скрашивают радости, присущие искусству, беспечность богемы, через которую проходят раньше, чем познают одиночество гения. Но фрак, обязательный для врача и адвоката, гранящих парижскую мостовую, олицетворяет собой две профессии, перед ко-

торыми человечество открывает все язвы, все свои унизительные стороны. Испытывая первые неудачи, и доктор и адвокат смотрят мрачно и вызывающе, их взгляды сверкают ненавистью и честолюбием, словно искры тлеющего пожара. Когда два товарища по коллежу встречаются через двадцать лет, богатый старается не заметить, не узнать своего бедного однокашника, он страшится той пропасти, которую вырыла между ними судьба. Один пронесся по жизни на резвых конях богатства или на облаках, позлащенных успехом; другой все это время пробродил в безвестности по парижским задворкам, и они наложили на него свой отпечаток. Сколько старых друзей отворачивались при встрече с доктором Пуленом при виде его сюртука и жилета!

Теперь легко будет понять, почему доктор Пулен так хорошо выполнил роль в комедии лженедугов, разыгранной теткой Сибо. Люди алчные и честолюбивые издалека видят друг друга. Не обнаружив никаких повреждений у привратницы, поразившись ее прекрасному пульсу, полной свободе движений и в то же время слыша ее громкие охи и вздохи, он понял, что она преследует какую-то цель, притворяясь умирающей. Слава о быстром излечении этой вымышленной серьезной болезни не замедлила бы распространиться по всему кварталу. Поэтому он нарочно преувеличил якобы произошедшее ущемление грыжи, уверяя, что, только захватив болезнь вовремя, ему удалось спасти тетку Сибо. Словом, он прописал привратнице будто бы необходимые средства, произвел над ней какие-то фантастические манипуляции, которые увенчались полным успехом Он выискал в арсенале чудесных излечений Деплена какой-то особый случай, применил соответствующее лечение к тетке Сибо и, скромно приписав удачу знаменитому хирургу, назвал себя только его последователем. Вот на что пускаются в Париже начинающие карьеристы. Хороша любая лестница, только бы взобраться повыше, но так как все в мире изнашивается, даже самая прочная лестница, начинающие в любой профессии часто испытывают затруднение, не зная, какое дерево пустить на ступеньки для своей лестницы. Выпадают такие периоды, когда парижане равнодушны к успеху. Им надоедает воздвигать пьедесталы, они начинают капризничать, как ба-

лованные дети, и не хотят больше создавать себе кумиров, или, вернее, иногда у парижан просто нет объектов для увлечения. Золотоносная жила, порождающая таланты, тоже временами иссякает. И тогда бывает, что парижане упрямятся и не желают творить из посредственностей гениев и боготворить посредственность.

Тетка Сибо со свойственной ей стремительностью влетела к доктору и застала его со старухой матерью за трапезой: салат из рапунцеля, самый дешевый из всех салатов, на десерт только кусочек сыра бри, тарелочка с изюмом, винными ягодами, орехами, миндалем и несколькими почти осыпавшимися кисточками винограда да тарелка с дешевыми яблоками.

— Не уходите, матушка,— сказал доктор, удерживая мать за руку,— это мадам Сибо, о которой я вам уже говорил.

— Мое почтение, госпожа Пулен, мое почтение, господин доктор,— сказала тетка Сибо, садясь на стул, пододвинутый доктором.— Так это ваша матушка? Вы счастливая женщина, сударыня, у вас такой ученый сынок; ведь это же мой спаситель, он меня из могилы вытащил.

Вдове Пулен очень понравилась тетка Сибо, которая так расхваливала ее сына.

— Я пришла к вам, дорогой господин Пулен, потому что бедный господин Понс совсем плох, я хочу поговорить с вами о нем...

— Пройдемте в приемную,— сказал доктор Пулен, выразительно посмотрев в сторону служанки.

В приемной тетка Сибо пустилась в пространные объяснения своих отношений с обоими щелкунчиками, снова повторила, еще приукрасив, историю о деньгах, данных взаймы, и описала те огромные услуги, которые вот уже десять лет она оказывает Понсу и Шмуке. По словам привратницы выходило, что без ее материнских забот оба старика уже давно были бы на том свете. Она изобразила себя их ангелом-хранителем и столько всего наплела, обильно поливая свое вранье слезами, что даже умилила старушку Пулен.

— Понимаете, дорогой господин Пулен,— сказала она в заключение,— мне надо бы знать, какие у господина Понса намерения на мой счет, на тот случай, ежели

он, не дай бог, помрет. Должна вам сказать, госпожа Пулен, что я всю бы жизнь так за этими двумя малыми ребятами и ходила; а не станет одного, буду ухаживать за другим. Уж такое у меня от природы сердце. Для меня жизнь не в жизнь, если я никого не приголублю, не полюблю, как родного ребенка... Вот и хорошо бы, господин Пулен, чтобы вы закинули обо мне словечко господину Понсу, я бы вам этого по гроб жизни не забыла. Господи боже мой! Разве это уж так много — тысяча франков пожизненной ренты, сами посудите?.. И для господина Шмуке это прямой расчет... Раз уж такое дело, что наш больной обещался наказать бедняжке немцу, чтоб он позаботился обо мне, *значить*, он *хочеть* его своим наследником сделать. Но разве это такой человек, что на него положиться можно, он по-французски двух слов связать не умеет... чего доброго, еще так расстроится после смерти друга, что возьмет да *уедеть* к себе в Германию...

— Дорогая мадам Сибо,—ответил доктор, став серьезным,— такого рода дела врачей не касаются, мне бы даже запретили практику, если бы стало известно, что я вмешиваюсь в предсмертные распоряжения пациентов. Закон не разрешает врачам наследовать после больных...

— Вот дурацкий закон! Кто же может мне помешать поделиться с вами наследством? — выпалила тетка Сибо.

— Больше того, врачебная этика не разрешает мне говорить с господином Понсом о смерти. Во-первых, пока еще ничто ему не угрожает; во-вторых, мои слова, возможно, на него плохо повлияли бы, повредили бы ему, и тогда его болезнь действительно могла бы привести к смертельному исходу...

— Ну, я-то с ним разговариваю без всяких церемоний, иначе никак не убедишь его привести в порядок свои дела,— не выдержала тетка Сибо,— и ему от этого не хужеет... Он уже привык... Будьте спокойны.

— Не говорите мне больше ни слова, дорогая мадам Сибо! Такие дела относятся не к врачам, а к нотариусам...

— Ну, а если господин Понс сам вас спросит, как его здоровье и не пора ли ему подумать о завещании, неужели же вы и тогда ему не скажете, что как он все уладит, так ему сразу и *полегчаеть*... А затем шепните ему обо мне...

— Ну, если он сам упомянет о завещании, я его отговаривать не стану,— согласился доктор Пулен.

— Вот и хорошо! — воскликнула привратница.— Я пришла поблагодарить вас за лечение,— прибавила она, сунув доктору в руку три золотых монеты, завернутые в бумажку.— Большего я сейчас не могу. Ах, дал бы мне господь разбогатеть, дорогой господин Пулен, я бы вас озолотила, вы святой человек... У вас, госпожа Пулен, не сын, а ангел!

Тетка Сибо встала, г-жа Пулен любезно с ней попрощалась, а доктор проводил ее до парадного. Там эту отвратительную леди Макбет с Нормандской улицы озарил адский домысел: она поняла, что доктор стал ее соучастником, раз он принял гонорар за лечение вымышленной болезни.

— Неужели же, дорогой мой господин Пулен, вы откажетесь, спасши меня от смерти, вытащить из нужды, раз вам достаточно сказать два слова?..— спросила она.

Врач почувствовал, что дал дьяволу ухватить себя за палец и теперь тот не выпустит его из своих цепких когтей. Испугавшись, что из-за таких пустяков он может потерять свое доброе имя, он ответил на дьявольскую выдумку тетки Сибо не менее дьявольской выдумкой.

— Послушайте, голубушка, мадам Сибо,— сказал он, вернув ее обратно и уведя к себе в кабинет,— я выполню свой долг благодарности, я помню, что обязан вам местом при мэрии...

— Я с вами поделюсь,— быстро сказала она.

— Чем? — спросил доктор.

— Наследством,— ответила привратница.

— Вы меня не знаете,— ответил доктор, становясь в позу Валерия Публиколы.— Не будем говорить об этом. У меня есть товарищ по коллежу, человек весьма смышленый, с которым мы очень близки, тем более что жизнь нас одинаково баловала. Когда я занимался медициной, он изучал право; когда я работал практикантом в больнице, он переписывал судебные постановления у нотариуса, метра Кутюра. Я сын кожевника, а он сын сапожника, и у нас обоих не было ни протекции, ни капиталов, так как в конце концов капиталы приобретаются лишь

при протекции. Он мог обзавестись конторой только в провинции, в Манте. Но провинциалы непонимающий народ,— где им оценить всю тонкость ума парижанина,— они стали всячески пакостить моему другу.

— Вот сволочи! — воскликнула тетка Сибо.

— Да,— сказал доктор,— они все ополчились на него, так что ему пришлось продать свою контору из-за якобы неблаговидных поступков; в дело вмешался прокурор и как тамошний уроженец принял сторону своих земляков. Теперь бедняга еще более нищ и гол, чем я, он поселился в нашем округе, зовут его Фрезье. Сейчас он вынужден выступать в мировом и в полицейском суде, так как он частный поверенный. Живет он неподалеку, на улице Перль, дом номер девять. Ступайте к нему, подымитесь на четвертый этаж и на двери увидите красный сафьяновый квадратик с надписью золотыми буквами: «Контора господина Фрезье». Фрезье набил себе руку на спорных делах, за умеренную плату он обслуживает привратников, мастеровых и весь бедный люд нашего округа. Он человек честный, будь он мошенником, то, при своих способностях, как вы сами понимаете, жил бы припеваючи. Сегодня вечером я его повидаю. А вы сходите к нему завтра с утра; он знает господина Лушара, члена коммерческого суда, господина Табаро, судебного пристава при мировом суде, господина Вителя, мирового судью, и нотариуса, господина Троньона,— он уже пользуется известностью среди самых уважаемых в нашем квартале юристов. Пусть он возьмется за ваше дело, пусть по вашему совету господин Понс обратится к нему; на Фрезье вы можете положиться, как на себя самое. Только не вздумайте предлагать и ему ту или иную сделку, оскорбительную для честного человека, он достаточно понятлив, вы договоритесь и так. А затем вы расплатитесь с ним за услуги при моем посредстве.

Тетка Сибо лукаво посмотрела на доктора.

— Скажите, это не тот ходатай, что выручил торговку галантереей с улицы Вьей-дю-Тампль, мадам Флоримон, помните, дело шло о наследстве, оставленном ее дружком?

— Тот самый,— подтвердил доктор.

— Разве это не срам,— воскликнула тетка Сибо,— он выхлопотал ей двухтысячную ренту, а она отказала

ему, когда он сделал ей предложение, и, как болтают, отделалась дюжиной рубашек голландского полотна и двумя дюжинами носовых платков? Подумаешь, нужно ему ее приданое!

— Голубушка, мадам Сибо,— сказал доктор,— приданое стоило тысячу франков, и Фрезье, который тогда еще только начинал практиковать в нашем квартале, очень в нем нуждался. Кроме того, она беспрекословно оплатила все судебные издержки. Выиграв это дело, Фрезье получил другое, так что теперь он очень занят; но что мои, что его клиенты, одни других стоят.

— Праведники здесь, на земле, всегда страдают,— вздохнула привратница.— Ну, прощайте, господин Пулен, спасибо вам.

С этого момента начинается драма, или, если хотите, страшная комедия смерти холостяка, попавшего силою обстоятельств в лапы к жадным и хищным людям, которые не отходили от его одра, подстрекаемые самыми сильными страстями: страстью коллекционера, жадностью оверпца, ради наживы способного на все, даже на преступление, алчностью стряпчего Фрезье, одно описание берлоги которого приведет вас в ужас. Впрочем, действующие лица этой комедии, для которой первая часть нашей повести служит как бы прологом, те же, что выступали и до сих пор.

Умаление смысла некоторых слов — одна из странностей людских нравов, и, чтоб объяснить ее, потребовались бы целые томы. Попробуйте назвать адвоката ходатаем по делам, и он обидится не меньше оптового торговца колониальными товарами, если вы адресуете ему письмо: «Господину такому-то, бакалейщику». Многие светские люди, которые должны бы знать эти тонкости обращения, потому что, по совести говоря, им и знать-то больше нечего, все же не ведают, что «сочинитель» — одно из самых обидных наименований для писателя. Слово «сударь» — яркий пример того, как живут и умирают слова. «Сударь» обозначает «государь». Этот столь почтенный в старину титул ныне сохранился только за особами царствующего дома, а между тем словом «сударь», которое образовалось из слова «государь» путем утраты одного слога, называют теперь первого встречного; в то же время слово «государь» сохранилось

в официальном обращении, в пригласительных билетах на свадьбы или похороны: «Милостивый государь». Чиновники судейского ведомства, члены судебного присутствия, юрисконсульты, судьи, адвокаты, присяжные поверенные, судебные приставы, советчики по юридическим делам, нотариусы, ходатаи, стряпчие, защитники— вот различные наименования для людей, отправляющих правосудие или содействующих его торжеству. На последней ступени этой лестницы стоят ходатаи по делам и подручные судебных исполнителей, в просторечии именуемые понятыми. Понятой — случайный помощник правосудия, его дело содействовать выполнению судебного постановления; это, так сказать, разовый палач в гражданских делах. А вот ходатай по делам — это уж особо обидное прозвище для профессионального юриста, все равно что «сочинитель» для профессионального писателя. У французов в каждой профессии есть такие уничижительные наименования, порожденные раздирающей все профессии конкуренцией. В каждом ремесле есть свое обидное прозвище. Но слова «ходатай» и «сочинитель» утрачивают пренебрежительное значение во множественном числе. Можно сколько угодно, не задевая ничьего самолюбия, употреблять слова «сочинители» и «ходатаи». Дело в том, что в Париже в каждой специальности есть не только профессора, но и свои уличные шарлатаны, то есть люди, клиентурой которых является, так сказать, улица, простонародье. Во многих кварталах и по сей день еще сохранились частные ходатаи по делам, мелкие законники, вроде того как на Центральном рынке не перевелись еще ростовщики, ссужающие на короткий срок под большие проценты: между ними и банкирами примерно та же дистанция, что между Фрезье и господами из адвокатского сословия. Странное дело! Простонародье боится официальных представителей юридического мира так же, как и шикарных ресторанов, народ предпочитает частных ходатаев и простые трактиры. Каждый социальный слой придерживается того, что ему ближе. Только избранные натуры не боятся высот, не испытывают мучительного стеснения в присутствии вышестоящих и смело завоевывают себе положение, как, например, Бомарше, который уронил часы вельможи, хотевшего его унизить;

но дело в том, что выскочки, особенно если они умеют скрыть сброшенную ими кожу,— редчайшее явление.

На следующий день в шесть часов утра тетка Сибо уже стояла перед домом на улице Перль, где жил ее будущий советчик, стряпчий Фрезье. Это был один из тех старых домов, в которых в былое время квартировала мелкая буржуазия. Туда вел крытый ход. Первый этаж, частично занятый швейцарской и лавкой краснодеревца, мастерская и склад которого загромождали задний дворик, был разделен на две части лестницей и сенями, с промозглыми от сырости стенами, казалось, дом изъеден проказой.

Тетка Сибо прошла прямо в швейцарскую, там в каморке в десять квадратных футов, выходившей на задний двор, помещался один из собратьев Сибо — сапожник с женой и двумя малолетними детьми. Вскоре обе женщины уже почувствовали себя закадычными друзьями,— достаточно было тетке Сибо сказать, кто она, чем занимается, и посудачить о жильцах в доме на Нормандской улице. За четверть часа, пока привратница г-на Фрезье готовила завтрак мужу и детям, кумушки наспдетничались всласть, и мадам Сибо перевела разговор на здешних жильцов и, в частности, на стряпчего.

— Я пришла посоветоваться с ним о делах,— сообщила она.— Один из его друзей, доктор Пулен, обещал сказать ему обо мне. Вы знаете господина Пулена?

— Еще бы! — ответила привратница с улицы Перль.— Он спас мою младшую девочку от крупа.

— Меня он тоже спас... А господин Фрезье что за человек?

—Такой человек, моя голубушка,— сказала привратница,— что в конце месяца из него деньги за письма клещами не вытащишь.

Ответ удовлетворил понятливую тетку Сибо.

— Можно быть бедным и все же честным,— заметила она.

— А как же,— подхватила ее сотоварка.— Мы тоже в золоте да в серебре не купаемся, медяка лишнего нет, но чужого гроша не возьмем.

Тетка Сибо услышала хорошо знакомые ей речи.

— Значит, голубушка, на него можно положиться?— спросила она.

— Еще бы! Мадам Флоримон не раз говорила, что таких стряпчих, как господин Фрезье, поискать надо, когда он за чье-нибудь дело возьмется.

— Почему же она не пошла за него, ведь она ему своим благосостоянием обязана? — быстро спросила тетка Сибо.— Подумаешь, кто она такая — хозяйка галантерейной лавки, да еще на содержании у старика была, а, тоже мне, от жениха, да еще адвоката, нос воротит!

— Почему не пошла? Вы собираетесь сейчас к господину Фрезье, так ведь? Ну, вот когда войдете к нему в кабинет, тогда поймете почему,— сказала привратница, провожая тетку Сибо в сени.

По лестнице, которую освещали небольшие окна, выходившие на задний двор, ясно было, что, за исключением владельца да стряпчего Фрезье, все остальные жильцы зарабатывают себе на хлеб трудами рук своих. На замызганных ступенях валялись образцы всяческих ремесел: поломанные пуговицы, лоскутки муслина, спаргри, обрезки меди. Подмастерья с верхних этажей измарали все стены непристойными рисунками. Последние слова привратницы, подстрекнув любопытство тетки Сибо, побудили ее обратиться за советом к приятелю Пулена, но окончательное решение она отложила до личной встречи.

— Иногда я просто не понимаю, как уживается у него мадам Соваж,— прибавила в виде комментария привратница, шедшая следом за теткой Сибо.— Я провожу вас, сударыня, мне нужно отнести хозяину молоко и газету.

Поднявшись на третий этаж над антресольным, промежуточным этажом, тетка Сибо очутилась перед очень неказистой, покрашенной в бурый цвет дверью, захватанной и почерневшей у замочной скважины не менее как сантиметров на двадцать в окружности; в роскошных квартирах архитекторы пробовали бороться с этой чернотой, приделывая зеркальные пластинки и над замком и под ним. Окошечко в двери, с мутным стеклом вроде того, что идет на бутылки, в которых владельцы ресторанов продают вам любое вино за выдержанное, достигало только одной цели: дверь походила на тюремную; впрочем, «глазок» вполне соответствовал оковке в виде трилистника, массивным петлям и крупным шляпкам на гвоздях. Такие дверные приборы мог выдумать

лишь какой-нибудь скряга или газетный писака, ненавистник рода человеческого. Ведро, куда сливали помои, отравляло и без того зловонную атмосферу; потолок был весь в узорах копоти, и в каких узорах! Когда тетка Сибо дернула за шнурок, на конце которого болталась липкая от грязи груша, раздался слабый дребезжащий звон явно надтреснутого колокольчика. Ничто не нарушало мерзости запустения. Тетка Сибо услышала тяжелые шаги и прерывистое дыхание, и взорам ее предстала женщина могучего телосложения — это и была мадам Соваж. Несомненно, она сильно напоминала тех старух, которых так удачно изобразил Андриен Брауэр в картине «Ведьмы, летящие на шабаш»,— на пороге стояла женщина-гренадер пяти футов шести дюймов роста, еще более усатая, чем тетка Сибо, болезненно грузная, в засаленном ситцевом платье, с повязанной головой, в папильотках, скрученных из прейскурантов, которые даром получал ее хозяин, и в серьгах, больше похожих на золотые каретные колеса. В руке у этого цербера в юбке была жестяная помятая кастрюля, от которой шел тошнотворный запах сбежавшего молока, при всей своей едкости почти растворявшийся в том зловонии, что царило на лестнице.

— Что угодно? — спросила она и угрожающе поглядела страшными, налитыми кровью глазами на тетку Сибо, которая, по всей вероятности, показалась ей слишком хорошо одетой.

— Нельзя ли повидать господина Фрезье, меня направил к нему его приятель, доктор Пулен.

— Войдите, мадам,— ответила тетка Соваж, сразу переменив тон, из чего можно было заключить, что она предупреждена об этом утреннем визите.

И с театральным поклоном мужеподобная служанка г-на Фрезье распахнула дверь в кабинет бывшего мантского стряпчего. Этот кабинет, выходивший на улицу, как две капли воды походил на конторы третьеразрядных судебных приставов: деревянные полки для бумаг почернели от времени, папки обтрепались по краям, жалкие красные завязки на них грустно болтались, мыши оставили на делах свои визитные карточки, пол посерел от пыли, потолок закоптел. Зеркало над камином потускнело; чугунная подставка для поленьев была

рассчитана только на скромную вязанку дров; часы с современной инкрустацией были приобретены франков за шестьдесят где-нибудь на аукционе, а подсвечники, стоявшие по обеим сторонам, были цинковые и облезлые, так что местами сквозь краску просвечивал металл, но зато с потугами на стиль рококо. Ходатай по делам, тщедушный и хлипкий, с красным прыщеватым лицом, что свидетельствовало об испорченной крови, то и дело почесывал правое плечо, парик, сдвинутый на затылок, не закрывал плешивого, красного, как кирпич, лба, внушавшего посетителю самые зловещие мысли. Г-н Фрезье приподнялся с плетеного кресла, где сидел на плоской подушке из зеленого сафьяна. Он любезно улыбнулся и сказал слащавым голоском, пододвигая гостье стул:

— Если не ошибаюсь, мадам Сибо?

— Да, сударь,— ответила привратница, утратившая свой обычный апломб.

Будущий советчик навел на нее жуть своим голосом, звучавшим совершенно под стать дверному колокольчику, и ядовитым взглядом своих ядовито-зеленых глаз. И от кабинета и от его хозяина шел тот же тлетворный дух. Теперь тетка Сибо поняла, почему мадам Флоримон не согласилась стать мадам Фрезье.

— Пулен говорил мне о вас, сударыня,— сказал ходатай по делам тем фальшивым голосом, который принято называть сладеньким, хоть он скорее отдает кислинкой, как деревенское вино.

Тут он сделал попытку задрапироваться в ветхий ватный халат, покрытый набивным коленкором, натянув на свои худые колени обе его полы, но под тяжестью ваты, нагло вылезавшей из многочисленных дыр, полы оттопыривались и не закрывали короткого фланелевого камзола, почерневшего от грязи, и чрезвычайно потертых молетоновых панталон. Фрезье с фатоватым видом туже стянул кисти непокорного халата, дабы обрисовалась его стройная, как тростинка, талия, и, взяв щипцы, пододвинул поближе друг к другу две головешки, которые уже давно лежали врозь, словно враждующие сестры. Потом, будто вдруг что-то вспомнив, встал и крикнул:

— Мадам Соваж!

— А дальше что?

— Меня ни для кого нет дома.

— Сама знаю! — ответила эта бой-баба зычным голосом.

— Это моя кормилица,— сказал стряпчий с смущенным видом.

— Ну, сейчас с нее ни *корма*, ни *лица*,— не полезла за словом в карман бывшая королева рынка.

Фрезье посмеялся над незатейливым каламбуром и закрыл дверь на задвижку, чтоб его домоправительница не помешала своим приходом доверительной беседе с теткой Сибо.

— Ну-с, сударыня, изложите мне ваше дело,— сказал он, садясь и все еще тщетно пытаясь запахнуться в халат.—Особа, обратившаяся ко мне по рекомендации моего единственного друга, может рассчитывать на меня... вполне может...

Тетка Сибо говорила в течение получаса, и ходатай по делам ни разу не позволил себе прервать ее. Он слушал привратницу с любопытством, словно новобранец ветерана наполеоновских походов. Молчание и подобострастие Фрезье, внимание, уделяемое им неудержимому потоку слов, образцы которого уже были даны в диалогах между теткой Сибо и несчастным Понсом, оказали свое действие на недоверчивую привратницу, и она позабыла о возникших у нее предубеждениях, вызванных отталкивающей обстановкой. Наконец тетка Сибо остановилась, ожидая, что теперь последует совет, но тут тщедушный ходатай по делам, пронзительные зеленые глаза которого за это время внимательно изучали будущую клиентку, вдруг закашлялся тяжелым, каким-то старческим кашлем, схватился за большую фаянсовую чашку, до половины наполненную отваром из трав, и выпил ее всю.

— Без Пулена меня бы уж давно не было в живых, дорогая мадам Сибо,— сказал Фрезье в ответ на жалостливый взгляд привратницы,— но он обещал вернуть мне здоровье.

Казалось, ему было не до рассказов своей клиентки, и она уже подумывала, что лучше с ним не связываться, раз он на ладан дышит, но тут бывший стряпчий вдруг перешел на деловой тон:

— Сударыня, когда речь идет о наследстве, прежде всего необходимо выяснить два пункта. Во-первых,

стоит ли того наследство, чтобы им заниматься; и, во-вторых, каковы наследники; потому что, если наследство — это трофей, то наследники — это противник.

Тетка Сибо рассказала об Элиа Магюсе и о Ремонанке и сообщила, что эти дошлые люди оценили собрание картин в шестьсот тысяч франков.

— А они его купят за эту цену? — осведомился бывший мантский стряпчий.— Потому что, видите ли, сударыня, люди деловые в картины не верят. Что такое картина? Может быть, кусок холста, цена которому сорок су, а может быть, живопись, цена которой сто тысяч! Но картины, которые ценятся в сто тысяч франков, известны наперечет, да и тут еще случаются ошибки, даже в самых прославленных собраниях! Рассказывали, что один богатый откупщик истратил миллионы на свою знаменитую картинную галерею, открытую для посетителей и воспроизведенную (да, воспроизведенную!) в гравюрах. Но вот он умирает, ибо в конце концов все умирают; и что же? Действительно ценных картин оказалось не больше чем на двести тысяч франков! Надо бы мне повидать ваших знатоков... А теперь перейдем к наследникам.

И Фрезье приготовился внимательно слушать. При упоминании о председателе судебной палаты г-не Камюзо он покачал головой и сморщил нос, и тетка Сибо сразу насторожилась; она попыталась понять выражение его противной физиономии, но не смогла ничего прочитать на этом непроницаемом лице.

— Да, сударь,— повторила тетка Сибо,— мой хозяин, господин Понс,— троюродный брат председателя судебной палаты господина Камюзо де Марвиля. Он по десять раз на день эту свою родню поминает. Первая жена господина Камюзо, торговца шелком...

— Которого недавно сделали пэром Франции...

— Была урожденная девица Понс, двоюродная сестра господина Понса.

— Значит, они в троюродном родстве.

— Ни в каком они больше не в родстве, потому как они поругались.

Господин Камюзо де Марвиль до своего переезда в Париж был в течение пяти лет председателем суда в Манте, где его не только не забыли, у него даже остались там известные связи; его преемник, член суда, с которым

он сошелся ближе всего в свою бытность в Манте, до сих пор еще председательствовал в суде и, само собой разумеется, знал Фрезье как свои пять пальцев.

— Известно ли вам, сударыня,— сказал стряпчий, когда поток красноречия тетки Сибо истощился и она сомкнула словоохотливые уста,— известно ли вам, что главным вашим противником будет человек, во власти которого казнить и миловать?

Привратница подпрыгнула на своем стуле, словно кукла на пружинке, неожиданно выскочившая из коробочки.

— Не волнуйтесь, сударыня,— успокоил ее Фрезье.— Ваша неосведомленность вполне понятна; откуда вам знать, кто такой председатель той камеры при парижском Королевском суде, которая специально занимается привлечением к суду, но вам следовало бы знать, что у господина Понса есть законный наследник. Господин председатель суда де Марвиль — единственный наследник вашего больного, но он приходится ему троюродным братом по боковой линии; следовательно, господин Понс имеет законное право поступить со своим достоянием, как ему заблагорассудится. Вы, вероятно, не знаете и того, что полтора месяца тому назад дочь господина Камюзо вышла замуж за старшего сына графа Попино, пэра Франции, бывшего министра земледелия и торговли, одного из самых влиятельных политических деятелей нашего времени. Это родство делает господина Камюзо еще опаснее, чем занимаемая им высокая судебная должность.

При этих словах тетка Сибо опять вздрогнула.

—Да, он может вас упечь куда угодно,— продолжал Фрезье.— Ах, сударыня, я вижу, вы не знаете, что такое красная тога пэра Франции! Я никому не пожелаю вооружить против себя и самую обыкновенную черную судейскую тогу!.. Вот хотя бы я, сижу здесь — нищий, облезлый, чуть живой, а все потому, что, сам того не зная, задел мелкую сошку — провинциального прокурора! Меня вынудили себе в убыток продать контору, и я еще счастлив, что сам ноги унес, хотя потерял все, что имел! Если бы я попытался бороться, адвокатская практика была бы для меня закрыта. И знайте, что председатель суда господин Камюзо — это еще полбеды,

но, видите ли, у него есть супруга!.. И если бы вы встретились с этой женщиной лицом к лицу, вас бросило бы в жар и в холод, словно вы уже на ступеньках эшафота, волосы встали бы у вас дыбом. Супруга председателя суда мстительна, она десять лет будет строить против вас козни и в конце концов добьется вашей погибели! Муж волчком вертится, только бы ей угодить. По ее вине кончил жизнь самоубийством в Консьержери очаровательный юноша; из-за нее поседел как лунь некий граф, которого обвинили в подлоге. Она чуть не добилась опеки над видным вельможей при дворе Карла Десятого. Наконец по ее проискам отрешили от должности прокурора господина де Гранвиля...

— Того, что жил на улице Вьей-де-Тампль, на углу улицы Сен-Франсуа? — спросила тетка Сибо.

— Того самого. Говорят, она хочет сделать своего супруга министром юстиции, и я уверен, что она этого добьется... Если бы ей вздумалось отправить нас обоих в тюрьму или на каторгу, то я, хоть я и невинен, как новорожденный младенец, взял бы паспорт и уехал в Соединенные Штаты. Я слишком близко знаком с правосудием. А для того чтобы устроить брак своей единственной дочери с молодым виконтом Попино, который, как говорят, унаследует состояние вашего домовладельца, господина Пильеро, госпожа Камюзо отдала все, что у нее было. Теперь председатель суда с супругой вынуждены жить на жалованье. И вы полагаете, сударыня, что при подобных обстоятельствах супруга председателя суда может пренебречь наследством вашего господина Понса? Да я лучше соглашусь подставить грудь под пулю, чем вооружить против себя такую женщину...

— Да ведь они разругались,— заметила тетка Сибо.

— Ну и что же? — возразил Фрезье.— Тем более. Уморить родственника, который тебе надоел, уже кое-что, а вот получить после него наследство — это настоящее удовольствие!

— Но старик ненавидит своих наследников; он то и дело твердит, что родственники,— я и имена их запомнила: господин Кардо, господин Бертье и другие еще,— что они утопили его, как паршивого котенка.

— Так вы хотите, чтобы вас тоже утопили?

— Господи боже мой! — воскликнула привратница.—

Правду говорила мадам Фонтэн, что на моем пути встретится много помех, но она сказала, что мое дело выгорит...

— Послушайте, сударыня, я допускаю, что вы можете заработать на этом деле тысяч тридцать франков; но о наследстве забудьте и думать... Вчера вечером мы с доктором Пуленом говорили о ваших делах...

Тут тетка Сибо опять подскочила.

— Что с вами?

— Да чего же ради я тут трещала, как сорока, раз вы мое дело знаете?

— Мадам Сибо, я знал ваше дело, но я совсем не знал, кто такая мадам Сибо! Что клиент — то свой норов...

Тут тетка Сибо бросила на будущего своего советчика странный взгляд, в котором ясно отразилось все ее недоверие, и Фрезье поймал этот взгляд.

— Продолжаю,— сказал он.— Итак, вы порекомендовали нашего общего друга Пулена старику Пильеро, двоюродному дедушке графини Попино, и это дает вам право на мою искреннюю преданность. Пулен каждые две недели навещает вашего домовладельца (заметьте это!) и узнал все эти подробности непосредственно от него. Сей ушедший на покой негоциант был на свадьбе своего внучатного племянника (ведь он дядюшка с наследством, тысяч пятнадцать дохода у него, конечно, есть, а последние двадцать пять лет он живет, как монах, он и тысячи экю в год не тратит...) и сам подробно рассказал Пулену про этот брак. По его словам, виноват в ссоре ваш старик музыкант, который из мести хотел опозорить семью председателя суда. Надо выслушать и другую сторону. Ваш больной уверяет, что он ни в чем не виноват, но в свете его считают отпетым негодяем.

— И ничего удивительного! — воскликнула тетка Сибо.— Можете себе представить, вот уже больше десяти лет, как я свои гроши на них трачу, он это знает, я все мои сбережения ухлопала, а он ничего мне в своем завещании не отказывает. Вот поди ж ты, не хочет, уперся, как осел... Десять дней подряд я ему об этом долблю. А он, подлец, хоть бы что, молчит, все равно как столб. Рта не разжимает и так на меня смот-

рит... Единственно, что он пообещал,— это что господин Шмуке меня не оставит.

— Значит, он собирается написать завещание в пользу этого самого Шмуке?

— Он все ему отдаст...

— Послушайте, дорогая мадам Сибо, чтобы составить себе окончательное мнение и обдумать план действия, мне надо бы познакомиться с господином Шмуке, посмотреть предметы, составляющие наследство, посоветоваться с евреем, о котором вы мне говорили; и тогда я смогу взяться за ваше дело...

— Там видно будет, господин Фрезье.

— Как видно будет? — переспросил Фрезье на этот раз своим естественным, данным ему от природы голосом и злыми, змеиными глазами поглядел на тетку Сибо.— Это что значит? Доверяете вы мне свое дело или нет? Давайте говорить начистоту.

Тетка Сибо поняла, что он ее разгадал, и по спине у нее побежали мурашки.

— Я вполне вам доверяю,— сказала она, чувствуя, что попала в лапы к тигру.

— Мы, стряпчие, привыкли к тому, что клиенты нас надувают. Обдумайте хорошенько ваше положение, и вы увидите, что лучшего вам и желать нельзя. Если вы будете во всем следовать моим советам, вы получите — это с полным ручательством — тридцать или сорок тысяч из понсовского наследства... Но у всякой медали есть оборотная сторона. Предположим, супруга председателя суда узнает, что после господина Понса остается миллионное наследство и что вы задумали его несколько пощипать: ведь всегда найдутся охотники ей об этом доложить,— заметил он как бы в скобках.

Перед тем как открыть эти скобки, он выдержал паузу и, закрыв их, тоже помолчал; тетку Сибо бросило в жар и в холод, так как она тут же подумала, что Фрезье как раз и будет этим охотником.

— Дорогая мадам Сибо, в течение десяти минут вашего домовладельца уговорят вас уволить, а вам прикажут очистить швейцарскую в течение двух часов...

— Подумаешь, испугалась! — сказала тетка Сибо, принимая воинственную позу богини Беллоны,— я останусь у своих *господ* экономкой.

— И вас так запутают, что в одно прекрасное утро вы вместе с мужем проснетесь в тюрьме, вас обвинят в тяжких преступлениях...

— Это меня-то, меня-то! Да я в жизни чужого сантима не взяла! — воскликнула тетка Сибо.

Она не смолкала в течение пяти минут, а Фрезье меж тем наблюдал эту великую комедиантку, воспевавшую свою добродетель. Он был холоден, насмешлив, словно буравчиком сверлил взглядом тетку Сибо, втихомолку ухмылялся, и реденький паричок вздрагивал у него на голове. Он чем-то напоминал Робеспьера в ту пору, когда этот французский Сулла слагал четверостишья.

— Это как же так? И за что? И по какой такой причине? — спросила привратница в заключение.

— Вы хотите знать, под каким предлогом вас могут гильотинировать?

Тетка Сибо побледнела как полотно, ибо при этих словах ощутила на шее нож правосудия. Она растерянно взглянула на Фрезье.

— Слушайте внимательно, голубушка,— сказал Фрезье, стараясь скрыть удовольствие, которое доставил ему страх его клиентки.

— Лучше я брошу все это дело,— пробормотала тетка Сибо.

И собиралась уже подняться с места.

— Не уходите, вы должны знать, что вам угрожает; как адвокат, я обязан открыть вам глаза,— властно сказал Фрезье.— Господин Пильеро вас увольняет, это ясно, не так ли? Вы поступаете в прислуги к господам Понсу и Шмуке,— отлично! Это равносильно объявлению открытой войны между вами и супругой председателя суда. Вы пускаете все в ход, чтоб завладеть наследством, чтоб урвать себе лакомый кусочек...

Тетка Сибо возмущенно пожала плечами.

— Я вас не осуждаю — это не входит в мои обязанности,— сказал Фрезье, от которого не ускользнул протестующий жест клиентки.— Вы затеваете войну и можете зайти дальше, чем думаете! Когда человек одержим одной мыслью, он себя не помнит и действует сгоряча.

Тетка Сибо опять сделала протестующий жест и надулась.

— Да, да, мамаша, вы можете далеко зайти...— заметил Фрезье зловеще фамильярным тоном.

— Что вы меня воровкой, что ли, считаете?

— Послушайте, мамаша, у вас есть расписка господина Шмуке, которая обошлась вам очень дешево... Вы здесь, моя красавица, как на исповеди... Так не лукавьте же с своим исповедником, тем более что ваш исповедник без труда читает в вашем сердце.

Тетка Сибо испугалась проницательности этого человека; теперь она поняла, почему перед тем он так внимательно ее слушал.

— Ну, так вот,— снова заговорил Фрезье,— вы сами понимаете, что в погоне за наследством госпожа Камюзо дороги вам не уступит... За каждым вашим шагом будут шпионить... Предположим, вы добились того, что господин Понс не забыл вас в завещании... Отлично. И вот в один прекрасный день являются представители закона, находят какой-то настой и обнаруживают на дне пузырька мышьяк; вас с мужем арестовывают, судят, обвиняют в намерении отравить старика, чтоб поскорей получить наследство. Мне случилось защищать в Версале простую женщину, так же не чувствовавшую за собой никакой вины, как не чувствовали бы вины и вы при подобных же обстоятельствах; все произошло именно так, как я вам говорил, и единственно, что мне удалось,—это спасти ей жизнь. Бедняжка получила двадцать лет каторжной тюрьмы, которые и отбывает в Сен-Лазаре.

Тетка Сибо была перепугана насмерть. Бледнея с каждой минутой, смотрела она на этого худосочного человечка с зелеными глазами примерно так, как смотрели несчастные мавританки, оставшиеся верными религии отцов, на инквизитора, приговаривающего их к сожжению.

— Так вы, дорогой господин Фрезье, обещаете, что, если я передам свое дело в ваши руки и поручу вам блюсти мои интересы, мне можно будет без всяких опасений кое-что получить?

— Ручаюсь вам за тридцать тысяч франков,— сказал Фрезье уверенным тоном.

— Вы же знаете, как я уважаю доктора Пулена,— начала тетка Сибо самым елейным голосом,— он и посоветовал мне обратиться к вам, не для того же напра-

ел он меня сюда, чтоб я сидела и слушала, как меня сочтут отравительницей и приговорят к гильотине.

И она разрыдалась, так взволновала ее мысль о гильотине; нервы не выдержали, сердце сжалось от страха, она совсем потеряла голову. Фрезье торжествовал. Заметив колебания своей клиентки, он испугался, что у него из-под носа уплывет выгодное дело, и решил усмирить тетку Сибо, запугать, застращать ее, связать по рукам и ногам, подчинить своей воле. Мелкий крючкотвор не собирался выпускать ее из своих лап, не удовлетворив лелеемых им честолюбивых замыслов, не высосав все соки из этой женщины, которая сама пошла к нему в кабинет, как муха в сети к пауку, где ей и суждено было безнадежно запутаться; взяв в свои руки это дело, Фрезье надеялся обеспечить себе на старость довольство, счастье, почет и уважение. Накануне вечером они с Пуленом все обмозговали, тщательно обсудили, так сказать, рассмотрели с лупой в руках. Доктор обрисовал своему другу добряка Шмуке, и они со свойственной им сметкой прикинули все возможности, взвесили заманчивые перспективы и опасности. Фрезье в порыве восторга воскликнул: «От удачи этого дела зависит наша судьба!» И он обещал Пулену место главного врача в больнице, а себе дал слово стать мировым судьей их округа.

Стать мировым судьей! Для Фрезье, человека способного, ученого, но нищего юриста, это было пределом мечтаний. Он мечтал о должности мирового судьи, как поверенные мечтают об адвокатской тоге, а итальянские прелаты — о папской тиаре. У него это стало навязчивой идеей! В том суде, где выступал Фрезье, мировым судьей был г-н Витель, семидесятилетний старик, собиравшийся в отставку, и Фрезье уже говорил Пулену, что займет его место, совершенно так же, как Пулен говорил ему, что спасет от смерти богатую невесту и женится на ней. Даже и представить себе нельзя, до чего гоняются за местами в такой столице, как Париж. Кто не мечтает жить в Париже! Стоит только открыться вакансии на торговлю табаком или гербовой бумагой, и сто женщин встанут, как один человек, и пустят в ход все свои связи, чтобы добиться этой торговли для себя. Предполагаемая вакансия на одну из двадцати четырех должностей сборщика налогов вызывает целую бурю страстей в палате

депутатов! Такие места распределяются по предварительному сговору, это дело государственной важности. Жалованье мирового судьи в Париже равняется приблизительно шести тысячам франков. Эта должность расценивается в сто тысяч франков и считается одним из самых завидных мест в судебном ведомстве. Фрезье уже видел себя мировым судьей, другом главного врача одной из парижских больниц, мысленно он уже делал выгодную партию и находил богатую невесту для доктора Пулена; они помогали друг другу выбраться в люди. Ночная бессонница прошлась своей свинцовой дланью по честолюбивым замыслам Фрезье, и к утру в голове бывшего мантского стряпчего созрел страшный своими хитросплетениями план, план, сулящий обильную жатву, чреватый интригами. Тетка Сибо должна была стать главной пружиной задуманной им драмы. И непокорность этого своего орудия следовало тут же пресечь. Правда, непокорность не была предусмотрена, но Фрезье пустил в ход все силы своего зловредного ума и поверг к своим ногам возмутившуюся привратницу.

— Ну, что вы, голубушка мадам Сибо, что вы, успокойтесь,— сказал он, беря ее за руку.

Прикосновение его холодной, как змея, руки возымело потрясающее действие на привратницу, оно вызвало как бы физическую реакцию, разом осушившую слезы на глазах тетки Сибо; она подумала, что куда менее страшно погладить жабу Астарту, нежели прикоснуться к этому человеку в рыжеватом парике, со скрипучим, как дверь, голосом, из всех своих пор источающему яд.

— Не думайте, что я вас зря пугаю,— сказал Фрезье, и на сей раз опять отметив, с каким отвращением тетка Сибо отдернула руку.— Дела, которым супруга господина Камюзо обязана своей страшной славой, известны всем в суде, спросите любого. Вельможа, которого чуть не взяли под опеку,— маркиз д'Эспар. Тот, кого удалось спасти от галер,— маркиз д'Эгриньон. Богатый, красивый молодой человек с блестящим будущим, который сватался к девице, принадлежащей к одной из самых знатных французских фамилий, и повесился в одиночной камере Консьержери,— знаменитый Люсьен де Рюбампре, чье дело так взбудоражило в свое время весь Париж. Все началось из-за наследства после некоей содержанки, зна-

менитой Эстер, от которой осталось несколько миллионов; молодого человека обвинили в том, что он ее отравил, так как завещание было составлено в его пользу. А молодого поэта даже в Париже не было, когда умирала эта девица, он и не знал, что она оставила все ему!.. Он был невиннее новорожденного младенца. И что же, после допроса у господина Камюзо он повесился в своей камере... Правосудие, как и медицина, требует жертв. В первом случае умирают ради общества, во втором — ради науки,— сказал Фрезье, и на губах его мелькнула страшная усмешка.— Как видите, мне известны опасности... Правосудие меня уже разорило, а кто я? Жалкий, никому не известный частный ходатай по делам. Мой опыт, который дорого мне обошелся, к вашим услугам, располагайте мною...

— Нет, покорно благодарю,— сказала тетка Сибо,— не надо мне никакого наследства! Никто мне за мое доброе сердце спасибо не скажет! Я прошу только то, что мне полагается! Я, сударь, честно прожила тридцать лет. Мой хозяин, господин Понс, обещал, что его друг Шмуке не оставит меня; ну, что же, буду спокойно доживать свой век у старичка немца...

Фрезье понял, что перестарался, он слишком запугал тетку Сибо, и теперь надо было смягчить впечатление, вызванное его словами.

— Не будем терять надежды,— сказал он.— Ступайте спокойно домой. Поверьте, мы доведем дело до благополучного конца.

— А как мне быть, дорогой господин Фрезье, чтоб получить пенсию и...

— И не знать упреков совести? — быстро перебил он тетку Сибо.— Вот для этого-то и существуют юристы; в таких делах ничего не добьешься, если не будешь действовать согласно закону... Вы законов не знаете, а я их знаю... Если вы пойдете законным путем, то получите деньги, и никто вас и словом не попрекнет, а совесть — это уж ваше личное дело.

— Ну, так как же мне быть? — опять спросила тетка Сибо, которую эти слова и заинтересовали и окрылили.

— Не знаю, я еще не изучил все возможности, которые открываются перед нами, до сих пор я занимался

только помехами. Во-первых, конечно, надо уговорить его написать завещание, это будет правильный путь; но прежде всего надо знать, в чью пользу он его составит, ибо, если бы он отказал все вам...

— Нет, нет, он меня не любит! Ах, если бы я раньше знала цену его вещицам, если бы я раньше знала то, что он мне рассказал о своих сердечных делах, я бы теперь ни о чем не беспокоилась...

— Так или иначе,— сказал Фрезье,— не унывайте. У умирающих бывают странные причуды, голубушка мадам Сибо, они часто обманывают ожидания. Важно, чтоб он написал духовную, а там видно будет. Но прежде всего надо оценить те вещи, которые составляют наследство. Поэтому устройте мне встречу с евреем и с этим вашим Ремонанком, они будут нам очень полезны... Положитесь на меня, я всегда к вашим услугам. За своего клиента я горой стою, если он на меня полагается. Либо ты мне друг, либо враг — уж такой у меня характер.

— Ну, так я во всем на вас полагаюсь,— сказала тетка Сибо,— и что касается оплаты, господин Пулен...

— Оставьте этот разговор,— прервал ее Фрезье.— Устройте так, чтобы Пулен был все время при больном, он один из самых честных, самых бескорыстных людей на свете, а нам нужен верный человек... Пулен лучше меня, я обозлен.

— Это и видно,— согласилась тетка Сибо,— но все же я на вас полагаюсь...

— И правильно делаете,— сказал Фрезье.— Заходите ко мне каждый раз, как будет что новое, и... Ну, да вы женщина умная, все пойдет хорошо.

— Прощайте, дорогой господин Фрезье; доброго здоровья... Мое почтение...

Фрезье проводил свою клиентку до выхода и, стоя уже на пороге, сказал ей свое последнее слово; таким образом, здесь повторилась та же сцена, что накануне у доктора Пулена.

— Если бы вы могли убедить господина Понса обратиться ко мне за советом, это было бы великое дело.

— Постараюсь,— ответила тетка Сибо.

— Я, мамаша, хорошо знаком с господином Троньоном,— сказал Фрезье, уводя тетку Сибо обратно в ка-

бинет,— он нотариус в нашем квартале. Если у господина Понса нет своего нотариуса, порекомендуйте ему господина Троньона, пусть обратится к нему.

— Понимаю,— сказала привратница.

Уходя, она услышала шелест платья и звук тяжелых, но осторожно крадущихся шагов. Очутившись одна на улице, привратница через некоторое время пришла в себя. Хотя она все еще находилась под впечатлением недавнего разговора и все еще очень боялась эшафота, суда и судей, она приняла весьма естественное решение, которое неизбежно должно было привести к скрытой борьбе с ее страшным советчиком.

«Чего ради брать кого-то в компанию? — раздумывала она.— Соображу и сама и тогда предложу им свои услуги, и посмотрим, что они мне дадут».

Это решение, как видно будет дальше, ускорило смерть бедняги музыканта.

— Ну как, господин Шмуке,— сказала тетка Сибо, входя в квартиру,— как чувствует себя наш золотой?

— *Не вашно*,— ответил немец.— *Понс бредиль всю нотшь.*

— Что же он говорил?

— *Всякую тшепуху, обещаль оставлять мне все свое зостояние, з условием нитшего не продавать... И плаkаль бедняшка, всю душу мне перевернуль!*

— Пройдет, все пройдет, золотце мое! — принялась его утешать привратница.— Вы заждались меня с завтраком, ведь уже девять часов; не сердитесь, уж очень я захлопоталась и все по вашим делам. У нас все деньги вышли, но я достала!

— *Где ви полютшили?* — спросил пианист.

— А заклад на что?

— *Што есть закляд?*

— Да ссудная казна!

— *Какая зудная касна?*

— Ах вы, мое золото! Вот святая-то душа! Да, да, вы ангел божий, святой, архисвятой! Вас надо в паноптикуме показывать, как говорил тот бывший актер. Как! Вы живете в Париже двадцать девять лет; своими глазами, собственными своими глазами Июльскую революцию видели и не знаете, что такое *ланбар*, где вам денег под залог всякой рухляди дают! Я снесла туда наши

серебряные ложки, восемь штук. Ничего! Муж и оловянной покушает: как говорят, еще вкусней будет. Нашему ангелочку об этом и заикаться не надо, разволнуется, еще желтей станет, а он и без того раздражительный. Первейшее дело — это его спасти, а там видно будет. Что ж теперь делать! Приходится мириться, по одежке протягивай ножки! Так-то!

— *Добрая шеншина! Зольотое зердце!* — сказал растроганный музыкант, с умилением прижимая к сердцу руку тетки Сибо.

Этот кристально чистый человек поднял глаза к небу, в них сверкали слезы.

— Бросьте, папаша Шмуке, ведь это же смешно. Подумаешь, какое дело! Я женщина необразованная, у меня что на сердце, то и на языке. Вот здесь,— она ударила себя в грудь,— здесь у меня не меньше, чем у вас обоих, а ведь вы, что один, что другой,— сама доброта.

— *Папаша Шмуке?* — повторил музыкант.— *Нет, ви только подумать, он випиль тшашу отшаяния, випляскаль все слезы, теперь умирает! Как вспомню, душа надривается! Я не перешиву Понса...*

— Еще бы! Так убиваетесь... Послушайте, ненаглядный...

— *Ненаглядний?*

— Ну, изумрудный..

— *Изумрудний?*

— Ну, пусть будет яхонтовый...

— *Яхонтовий? Мне все ше што-то неясно...*

— Дайте уж я за вами поухаживаю, вашими делами займусь, а то, если и дальше то же будет, у меня двое больных на руках окажутся... Я так рассудила — нам с вами надо чередоваться. Вам нельзя по урокам бегать, вы устаете, и дома уже от вас никакого толку, а здесь придется ночи не спать, потому что господину Понсу день ото дня хуже. Сегодня же обегаю всех ваших учениц и скажу, что вы захворали... И вы будете дежурить по ночам около нашего голубчика, а с пяти часов утра спать, скажем, до двух часов дня. На себя я возьму самое хлопотливое дежурство — денное, тут и завтраком и обедом накормить надо, и умыть, и посадить, и переодеть больного, и лекарство дать... Одна я и десяти дней не выдержу. Ведь мы уже месяц с ним

бьемся. А свалюсь я, что с вами будет?.. Да вы на себя посмотрите, на кого вы похожи, после того как продежурили ночь...

Она подвела Шмуке к зеркалу, и тот сам заметил, как он за это время изменился.

— Ну, если вы со мной согласны, я вам скоренько подам завтракать. Потом вы с нашим голубчиком еще до двух часов посидите, а мне дайте список учениц, и я мигом слетаю, на две недели будете свободны. Как только вернусь, вы ложитесь и отдыхайте себе до вечера.

Предложение тетки Сибо было настолько разумно, что Шмуке тут же согласился.

— Но господину Понсу ни гу-гу, а то, знаете, он решит, что ему уже конец, раз приходится на время оставить театр и уроки. Бедняжка будет бояться потерять учениц... Э-э... глупости... Господин Пулен сказал, что ему, нашему дорогому, полный покой нужен, а то не подымется.

— *Хорошо, хорошо, ви будете приготовлять завтрак, а я пойду заставлять список утшениц и давать вам их адреса!.. Ви прави, я могу свалиться!*

Час спустя тетка Сибо принарядилась и, к великому удивлению Ремонанка, отправилась в пролетке по всем пансионам, по всем домам, где у наших музыкантов были ученицы, изображая из себя достойную представительницу обоих щелкунчиков.

Не стоит пересказывать все те различные речи, все те вариации на одну и ту же тему, на которые не поскупилась тетка Сибо, беседуя с начальницами пансионов и мамашами учениц; достаточно будет описать сцену, которая произошла в директорском кабинете прославленного Годиссара, куда привратница проникла, преодолев невероятные трудности. Директора парижских театров охраняются лучше, чем короли и министры. Причину, почему они воздвигают неприступные стены между собой и остальными смертными, понять не трудно: королям приходится охранять себя только от честолюбцев, театральным директорам приходится опасаться актеров и сочинителей, отличающихся большим самолюбием.

Тетка Сибо сумела преодолеть все препятствия, так как сразу же подружилась с театральной привратницей. Привратники издали узнают друг друга, как,

впрочем, и все люди одинаковых профессий. У каждой профессии есть свое волшебное слово, у каждой есть свое обидное прозвище и свой отпечаток.

— Ах мадам, вы театральная привратница,— обратилась к ней тетка Сибо.— А я служу привратницей в самом обыкновенном доме на Нормандской улице, где снимает квартиру господин Понс, ваш капельмейстер. Какое счастье служить на этаком месте, видеть каждый день актеров, балерин, сочинителей. Вы, как говорил тот прежний актер, генерал среди нашего брата привратников.

— А как поживает наш старичок, господин Понс? — спросила привратница.

— Какое там поживает, не поживает, а помирает; вот уж два месяца с постели не встает. И вынесут его из дому ногами вперед, вот помяните мое слово.

— Ах, какая жалость...

— Да. Я пришла по его просьбе рассказать вашему директору, в каком он положении; постарайтесь, голубушка, чтоб меня к нему допустили...

— Дама от господина Понса!

Так доложил о тетке Сибо приставленный к кабинету директора театральный служитель, которому привратница передала ее с рук на руки. Годиссар только что приехал в театр на репетицию. Вышло так, что его никто не дожидался, что авторы пьесы и актеры запоздали; он обрадовался случаю узнать о здоровье своего капельмейстера и, когда тетка Сибо вошла в кабинет, принял наполеоновскую позу.

Бывший коммивояжер, поставленный во главе преуспевающего театра, обманывал коммандитное товарищество, он смотрел на него, как на законную жену. И материальное благополучие сказывалось на всем его облике. От сытой пищи и достатка он располнел, раздобрел, на лице заиграл румянец. Годиссар явно преобразился в Мондора.

— Скоро я превращусь в Божона! — говаривал он, сам над собой подтрунивая.

— Пока ты дошел только до Тюркаре! — возражал Бисиу, который часто исполнял его обязанности при прима-балерине их театра, знаменитой Элоизе Бризту.

Действительно, экс-прославленный Годиссар самым

откровенным образом извлекал из театра выгоду для себя лично. Он настоял, чтобы его сделали соучастником в постановке нескольких балетов, комедий и водевилей, а затем перекупил у вечно нуждавшихся авторов и их законную долю. Эти комедии и водевили, которые всегда давались в виде дивертисмента после тех драм, что шли с аншлагами, приносили Годиссару по нескольку золотых в вечер. Он наживался на билетах, продажа которых была доверена ему, и сверх того пользовался еще директорским правом брать «разовые» для себя лично, загребая и здесь десятину со сбора. Эти три вида директорской контрибуции да, кроме того, доход от продажи лож и подарки от плохих актрис, жаждавших получить хоть какую-нибудь роль и выйти на сцену в виде пажа или королевы, настолько увеличивали причитающуюся ему треть прибыли, что остальным компаньонам, которым полагались две другие трети, едва ли доставалась и десятая часть. Но даже эта десятая часть давала пятнадцать процентов прибыли со вложенного капитала. И Годиссар, основываясь на таком пятнадцатипроцентном дивиденде, хвастался своим умением, честностью, старанием и огромной удачей, выпавшей на долю его компаньонов. Когда граф Попино для приличия поинтересовался и спросил у г-на Матифа, у генерала Гуро, зятя Матифа, и у Кревеля, довольны ли они Годиссаром, Гуро, к тому времени уже пэр Франции, ответил:

— Говорят, что он нас обжуливает, но он такой умный и приятный жулик, что мы довольны.

— Совсем как в сказке Лафонтена,— улыбнулся ему в ответ бывший министр.

Годиссар помещал свои капиталы и в другие предприятия, помимо театра. Он правильно оценил таких людей, как Граффы, Швабы и Бруннеры, и вошел пайщиком в железнодорожные компании, которые они финансировали. Несмотря на благодушную, беззаботную внешность кутилы, занятого только удовольствиями и костюмами, он был очень оборотист, не упускал своего и извлекал выгоду из огромного опыта в делах, приобретенного им в бытность коммивояжером. Этот преуспевающий выскочка, который не прочь был пошутить на свой собственный счет, снимал роскошную квартиру, от-

деланную стараниями его декоратора, где задавались пиры всяким знаменитостям. Он был весельчак, любил жить на широкую ногу, старался со всеми быть в ладу, его считали добрым малым, тем более что профессия наложила на него свой *воск*, как говорил он вместо «лоск», пользуясь жаргоном закулисных остроумцев. Актеры не стесняются в выражениях, Годиссар набрался от них закулисных словечек — в театре в ходу разные словечки — и, желая прослыть человеком незаурядным, уснащал ими свою и без того бойкую речь бывшего коммивояжера. В данный момент он подумывал о том, чтобы продать свою привилегию и, по его собственным словам, *перейти к следующим упражнениям.* Он хотел стать во главе железной дороги, сделаться солидным человеком, ворочать делами, жениться на дочери одного из самых богатых парижских мэров — на девице Минар. Он надеялся пройти в депутаты и с помощью Попино попасть в государственный совет.

— С кем имею честь разговаривать? — произнес Годиссар, глядя на тетку Сибо директорским взглядом.

— Я, сударь, экономка господина Понса.

— Ну, как его дела?

— Плохи, очень плохи, сударь.

— Ах ты черт, как жалко... Надо бы его навестить, это редкий человек...

— Правда, правда, сударь, настоящий ангел... Просто понять не могу, как такой человек служил в театре...

— Что вы, сударыня, театр исправляет нравы,—изрек Годиссар.— Бедняга Понс! Честное слово, таких людей надо беречь... превосходный человек, талантливый музыкант. Как вы думаете, когда он сможет приступить к работе? Театр, к сожалению, все равно как дилижанс — проданы ли места или нет, отбывает в положенное ему время: ежедневно в шесть часов вечера занавес поднимается... Жалость жалостью, а слезами оркестра не заменишь. Ну, так как же его дела?

— Ах, сударь,— вздохнула тетка Сибо, доставая платок и прикладывая его к глазам,— страшно подумать, но я боюсь, как бы на наше горе мы его не потеряли, хоть мы и бережем его как зеницу ока... Господин Шмуке и я... Я даже для того и пришла, чтобы предупредить вас, сказать, чтобы вы больше не рассчитывали на

почтенного господина Шмуке, он все ночи напролет... Что поделаешь, до последней минуты надеешься, мы все старания прикладываем, чтобы вырвать из рук смерти нашего дорогого голубчика... Врач нас не обнадеживает...

— А от чего он умирает?

— От огорчений, от желтухи, от печени, да к тому же еще от всяких семейных неприятностей.

— И от врача тоже,— прибавил Годиссар.— Надо было позвать к нему доктора Лебрена, нашего театрального врача, это ничего бы не стоило...

— Его лечит такой врач, которому можно верить, как богу... но, при всем своем таланте, против стольких причин врач бессилен.

— А уж как мне сейчас оба наши щелкунчика здесь нужны, для музыкальной части новой феерии...

— А я не могла бы их в чем-нибудь заменить?—с наигранной наивностью спросила Сибо.

Годиссар рассмеялся.

— Сударь, я их экономка, они оба мне многое...

— Дорогуша, раз ты смеешься, значит, можно войти! — раздался женский голос, и прима-балерина влетела в кабинет и уселась на единственном диване, который там стоял.

Это была Элоиза Бризту в так называемом «бедуине» из великолепной шали.

— Кто тебя рассмешил?.. Эта дама? На какое амплуа она сюда пожаловала? — сказала балерина, смерив тетку Сибо взглядом, достойным кисти художника, тем взглядом, каким смотрят друг на друга только актрисы.

Элоиза, девица весьма начитанная, пользовавшаяся известностью в мире богемы, приятельница крупных художников, нарядная, изящная, очаровательная, была умнее, чем бывают обычно прима-балерины. Задав свой вопрос, она поднесла к носу флакончик с пачулями.

— Сударыня, красивые женщины одна другой стоят, и хоть я и не нюхаю разных пузырьков с зельями и не тру себе щеки толченым кирпичом...

— Ну, природа и так его на вас не пожалела, милочка, куда там еще от себя прибавлять, это был бы на-

стоящий плеоназм,— сказала Элоиза, строя глазки директору.

— Я женщина честная...

— Тем хуже для вас,— отрезала балерина.— Не всякую возьмут на содержание, черта с два! Вот я на содержании, да как еще меня шикарно содержат!

— Как же это так «тем хуже»! Сколько бы вы себе «бедуинов» на шею ни навесили и как бы нос ни задирали, а уж насчет обожателей вам за мной не угнаться, да-с, сударыня. Вы красотке-трактирщице из «Голубого циферблата» и в подметки не годитесь!

Танцовщица вскочила и вытянулась в струнку, приложив правую руку ко лбу, как солдат, отдающий честь генералу.

— Неужели вы та самая красотка-трактирщица, о которой мне рассказывал отец? — воскликнул Годиссар.

— В таком случае, сударыня, вы ни качучу, ни польку не танцевали? Вам уже за пятьдесят лет перевалило! — заметила Элоиза.

Танцовщица приняла позу и с пафосом продекламировала следующую строчку:

Будем друзьями, Цинна!

— Послушай, Элоиза, дама не настолько осведомлена, чего ты пристала.

— Так неужто же, сударыня, это вы Новая Элоиза? — сказала привратница с деланным простодушием, в котором сквозила насмешка.

— Вот так отбрила старушка! — воскликнул Годиссар.

— Сто раз говорено и переговорено,— отпарировала танцовщица,— у этой остроты седая борода, придумайте что-нибудь поновей, бабушка... или выкурите папироску.

— Извините, сударыня, у меня слишком большое горе, чтоб тут с вами шутки шутить,— сказала тетка Сибо.— *Мои господа* оба тяжело больны... чтоб их прокормить и от всяких неприятностей избавить, я сегодня утром все до последнего, даже мужнину одежу, в *ланбар* снесла, вот и квитанция тут...

— О, дело принимает трагический оборот,— воскликнула красавица балерина.— Что же случилось?

— Вы, сударыня, ворвались сюда, как...

— Как премьерша,— перебила ее Элоиза.— Видите, я вам даже суфлирую!

— Слушайте, я спешу,— сказал Годиссар.— Хватит дурить! Элоиза, это экономка нашего бедного капельмейстера; он при смерти; она пришла сказать, чтоб я больше на него не рассчитывал. Я не знаю, что делать.

— Ах, он бедняжка, надо дать спектакль в его пользу.

— Да это же для него разорение! — сказал Годиссар.— На следующий же день ему придется выложить пятьсот франков на богадельни, ведь они там думают, что, кроме их питомцев, в Париже и бедных нет. Нет, уж если вы, голубушка, претендуете на Монтионовскую премию...

Годиссар позвонил, тут же вошел служитель.

— Скажите кассиру, что я приказал принести тысячу франков. Садитесь, сударыня.

— Ах, бедная женщина, вот уж она и в слезы,— воскликнула танцовщица.— Как глупо получилось... Слушайте, мамаша, мы навестим его, успокойтесь. Поди-ка сюда, чудище,— сказала она директору, отводя его к сторонке.

— Тебе хочется, чтобы я танцевала первую роль в балете «Ариадна». Ты собрался жениться, и ты отлично знаешь, что я могу сделать тебя несчастнейшим человеком!..

— У меня, Элоиза, сердце одето железной броней, все равно как фрегат.

— Я приведу детей от тебя! Я их напрокат возьму.

— Я не скрывал нашей связи...

— Будь дусенькой, возьми на место Понса Гаранжо; он мальчик способный и без гроша в кармане; а я обещаю оставить тебя в покое.

— Да подожди хоть, пока Понс умрет... может, он еще поправится.

— Ох, уж это нет, сударь,— вмешалась тетка Сибо.— С той ночи, как стал заговариваться, он так в себя и не приходит, жаль бедняжку, долго он не протянет.

— Возьми Гаранжо хоть временно! — не отставала Элоиза.— За него вся печать...

В эту минуту вошел кассир с двумя билетами по пятьсот франков.

— Передайте деньги этой даме,— сказал Годиссар.— До свидания, голубушка, ухаживайте получше за нашим старичком да скажите ему, что я навещу его, завтра или как-нибудь на днях... Как только выберу время.

— Да, его песенка спета,— сказала Элоиза.

— Ах, сударь, таких добрых людей, как вы, только в театре и встретишь. Да благословит вас бог!

— По какой статье прикажете провести? — спросил кассир.

— Я подпишу чек. Проведите как наградные.

Уходя, тетка Сибо церемонно присела перед танцовщицей; уже в дверях она услышала, как Годиссар спросил свою бывшую любовницу:

— А Гаранжо за двенадцать дней накатает музыку к балету «Могикане»? Вот если он меня выручит, я возьму его на место Понса!

Привратница, вознагражденная за все свои злодеяния куда более щедро, чем за доброе дело, соверши она таковое, лишила обоих друзей доходов и отняла у них все средства к существованию, в случае, если бы Понс выздоровел. Хитрые происки тетки Сибо должны были в ближайшие же дни привести к желаемым результатам — к переходу в руки скупщика Элиа Магюса картин, на которые он так зарился. Чтобы осуществить этот грабеж, тетке Сибо надо было усыпить бдительность страшного человека, с которым она связалась,— адвоката Фрезье, и добиться полного молчания от Элиа Магюса и Ремонанка.

Овернцем мало-помалу овладела одна из тех сильных страстей, которым часто поддаются люди малообразованные, пришедшие из захолустья в Париж и одержимые какой-нибудь заветной мыслью, взлелеянной в деревенской глуши; эти темные и примитивные люди не знают удержу своим желаниям, которые постепенно тоже превращаются в навязчивую идею. Мужеподобная красота тетки Сибо, ее находчивость и бойкий язык торговки запали в душу старьевщика, который стал мечтать о сожительстве с ней; в Париже такого рода двоемужие— явление более распространенное среди низших классов общества, нежели это думают. Но жадность, словно

мертвая петля, день ото дня все туже сжимала его сердце и в конце концов заглушила доводы рассудка. И Ремонанк, сообразив, что от него и Магюса привратница получит около сорока тысяч франков, перешел от греховных помыслов к преступлению. Он пожелал взять тетку Сибо в законные жены. Любовные мечтания, которым он предавался, куря трубку за трубкой на пороге лавки, довели его до того, что он стал желать смерти хилому портному. Мысленно он уже видел свой капитал чуть не утроенным, он воображал, какая превосходная коммерсантка выйдет из тетки Сибо, которая уж, конечно, не ударит в грязь лицом даже в самом роскошном магазине где-нибудь на бульваре. Такая двойная страсть пьянила Ремонанка. Вот он уже снимает помещение под лавку на бульваре Мадлен, вот уже перетаскивает туда лучшие экземпляры из собрания покойного Понса. Он засыпал на золотой перине, убаюканный видением миллионов, пригрезившихся ему в голубых кольцах дыма, который струился из его трубки, а наутро, открывая лавку и выставляя в витрине товары, он сталкивался нос к носу с хилым портным, как раз в это же время подметавшим двор, крыльцо и улицу, ибо с тех пор как заболел Понс, Сибо заменял жену, исполняя обязанности, в свое время добровольно взятые ею на себя. И овернец считал тщедушного, захиревшего портного, который весь потемнел и усох, единственной помехой своему счастью и ломал себе голову, как бы от него избавиться. Разгоравшаяся с каждым днем страсть оверица льстила тетке Сибо, так как она достигла того возраста, когда женщины начинают понимать, что рано или поздно состаришься.

И вот однажды утром тетка Сибо, выйдя на улицу, мечтательно посмотрела на Ремонанка, расставлявшего в витрине всякие товары, и решила проверить силу его любви.

— Ну, как дела,— спросил овернец,— все устраивается по вашему желанию?

— Вот только вы меня беспокоите,— ответила тетка Сибо.— Боюсь, как бы вы не осрамили меня перед соседями, скоро все заметят, что вы на меня глаза пялите.

Она отошла от подъезда и шмыгнула в лавку к овернцу.

— Вот еще чего придумали! — отозвался Ремонанк.

— Подите-ка сюда, что я вам скажу,— продолжала тетка Сибо.— Наследники господина Понса скоро заше-велятся, пожалуй, мы с ними хлопот не оберемся. Кто его знает, вздумают еще прислать сюда своих поверенных, и те, как ищейки, всюду станут свой нос совать. Я хо-чу уговорить господина Шмуке продать несколько кар-тин, но только если вы меня достаточно любите и будете молчать, как могила... хоть вас ножом режь, ничего не скажете: ни откуда вам достались картины, ни кто их продал. После смерти господина Понса уже не важ-но, если у него вместо шестидесяти семи картин ока-жется пятьдесят три, никто их не считал! А может, господин Понс их еще при жизни продал, кому какое дело!

— Мне-то что,— ответил Ремонанк,— но господин Элиа Магюс потребует расписок, чтобы все в полном по-рядке было.

— Ладно уж, и вы тоже расписку получите! Сама я их, что ли, писать буду? Нет, господин Шмуке напи-шет! Но только чур, чтобы ваш еврей тоже молчал.

— Оба будем молчать, как утопленники. В нашем де-ле иначе нельзя. Я читать умею, а вот писать не научил-ся, потому мне и нужна такая образованная и умная женщина, как вы!.. Раньше я только об одном и думал— как бы на старость денег поднакопить, а теперь мне за-хотелось наследников... Бросьте вы своего Сибо!

— Вот ваш еврей идет,— заметила привратница,— сейчас бы и договорились.

— Ну, как дела? — спросил Элиа Магюс, который наведывался через день, с самого утра, ибо ему не терпе-лось знать, когда можно будет купить картины.

— Никто вас о господине Понсе и его старье не рас-спрашивал? — поинтересовалась тетка Сибо.

— Я получил письмо от какого-то адвоката,— ответил Элиа Магюс,— но, по-моему, он большая бестия и сутяга, а от таких людей лучше держаться подальше, я ему даже не ответил. Через три дня он пришел сам и оставил свою визитную карточку; я велел привра-тнику не принимать его, если он явится снова.

— Вы просто прелесть что за еврей! — воскликнула тетка Сибо, не знавшая, как осторожен Элиа

Магюс.—Ну, мои золотые, на днях я уговорю господина Шмуке продать вам семь или восемь картиночек, может быть, даже десяток; но с двумя условиями: первое — не проболтаться. Пригласил вас господин Шмуке, верно? Предложил вас господину Шмуке в качестве покупателя господин Ремонанк. Словом, что бы ни вышло, я тут ни при чем. Вы согласны дать сорок шесть тысяч франков за четыре картины?

— Что с вами поделаешь,— вздохнув, ответил еврей.

— Отлично,— сказала привратница.— Второе условие такое: вы покупаете картины у господина Шмуке за три тысячи, а остальные сорок три отдаете мне, Ремонанк покупает четыре картины за две тысячи франков, а что сверх того — отдает мне... А затем я устрою вам с Ремонанком очень выгодное дело, дорогой господин Магюс, с условием, что барыши мы поделим на троих. Я сведу вас к этому адвокату, или адвокат придет сюда. Вы определите стоимость собрания Понса по той цене, которую можете предложить, пусть господин Фрезье убедится, что наследство стоящее. Только нельзя его пускать сюда до продажи картин, понимаете?

— Понимаю,—сказал еврей,— но осмотреть и оценить коллекцию наспех нельзя.

— В вашем распоряжении будет полдня. Как я это устрою, не ваша забота. Поговорите промеж себя, золотые мои, и тогда послезавтра дело будет сделано. А я схожу к Фрезье, он все, что здесь творится, через доктора Пулена знает, и удержать этого голубчика, чтоб он нос сюда не совал, настоящая морока.

На полдороге между Нормандской улицей и улицей Перль тетка Сибо встретила г-на Фрезье, направлявшегося к ней,— ему не терпелось всесторонне, по собственному его выражению, изучить дело.

— Ишь ты! А я к вам шла,— сказала тетка Сибо.

Фрезье пожаловался, что Элиа Магюс его не принял, но привратница загасила искру недоверия, вспыхнувшую во взгляде ходатая по делам, сказав, что Магюс был в отсутствии и недавно только вернулся и что послезавтра самое позднее она устроит ему свидание со старым евреем на квартире у Понса для оценки картин.

— Не лукавьте со мной,— сказал Фрезье.— По всей вероятности, я буду представлять интересы наследников

господина Понса. При этом условии мне будет гораздо легче помочь вам.

Это было сказано настолько сухим тоном, что тетка Сибо вздрогнула. Изголодавшийся ходатай, несомненно, вел свою игру точно так же, как она свою, и тетка Сибо решила поторопиться с продажей картин. Она не ошиблась в своих предположениях. Адвокат и врач заказали вскладчину новый костюм, чтобы Фрезье мог явиться в приличном виде к супруге председателя суда, г-же Камюзо де Марвиль. Время, потребовавшееся на обмундирование, только и задерживало этот визит, от которого зависела судьба обоих друзей. Фрезье предполагал, повидав тетку Сибо, отправиться на примерку фрака, жилета и панталон. Костюм был уже готов. Фрезье вернулся домой, надел новый парик, около десяти часов нанял кабриолет и отправился на Ганноверскую улицу, так как надеялся, что супруга председателя суда его примет.

При виде надушенного одеколоном Фрезье, в белом галстуке, желтых перчатках, в новеньком парике, у каждого невольно возникала мысль о яде, налитом в красивый флакон с пробочкой, обтянутой белой лайкой; и этикетка и ленточка — все нарядное, но от этого яд не менее опасен. Ехидный вид, прыщавое лицо, экзема, зеленые глаза, злобная слащавость разряженного Фрезье поражали, как черные тучи на ясном небе. У себя в кабинете, в том виде, в каком он впервые предстал перед теткой Сибо, он походил на самый обыкновенный нож, с помощью которого убийца совершил преступление; но у парадного г-жи де Марвиль он преобразился в изящный кинжал, который молодая красавица кладет на этажерку среди прочих безделушек.

За это время на Ганноверской улице произошли большие перемены. Виконт и виконтесса Попино, бывший министр и его жена не пожелали, чтобы председатель суда с супругой покинули дом, который дали в приданое дочери, и сняли квартиру. Итак, супруги Камюзо де Марвиль поместились во втором этаже, откуда съехала жилица, на старости лет перебравшаяся на житье в деревню. Г-жа Камюзо, оставившая у себя Мадлену Виве, кухарку и лакея, опять испытывала недостаток в средствах, как и в первые годы замужества,— правда, теперь, при наличии

бесплатной четырехтысячной квартиры и жалованья в десять тысяч франков, недостаток был менее чувствителен. Но aurea mediocritas[1] уже не удовлетворяла г-жу де Марвиль, так как при ее честолюбии требовались совсем иные капиталы. Отдав дочери все свое состояние, председатель суда лишился избирательного имущественного ценза, а г-жа Камюзо хотела провести мужа в депутаты, ибо она не легко отказывалась от задуманного и все еще надеялась добиться избрания мужа от того округа, где находилось их имение Марвиль. И вот она два месяца не давала покоя барону Камюзо (новый пэр Франции был возведен в баронское достоинство), выклянчивая у него сто тысяч франков в счет будущего наследства, чтобы, говорила она, купить небольшое имение, вклинившееся в поместье Марвиль и дававшее примерно две тысячи франков чистого, по уплате налогов, дохода. Там-де они с мужем будут и у себя дома и недалеко от детей, покупка округлит и увеличит поместье Марвиль. Она то и дело напоминала свекру, что, выдав дочь замуж за виконта Попино и обеспечив ее счастье, лишила себя последнего, и спрашивала у старика — неужели же у него хватит духу закрыть старшему сыну доступ к высшим должностям судебного ведомства, ибо их можно получить, только опираясь на прочное положение в парламенте, а ее муж сумеет его завоевать, и — не беспокойтесь! — министры будут с ними считаться.

— Это такие люди, что ничего для тебя не сделают, пока ты не возьмешь их за горло,— говорила она.— Неблагодарные!.. Всем Камюзо обязаны! Камюзо добился июльских ордонансов и этим способствовал возвышению Орлеанского дома!..

Старик Камюзо отговаривался тем, что поместил все свободные деньги в железнодорожные акции и откладывал свои щедроты, хотя и признавал их необходимость, до ожидавшегося повышения акций.

Такое условное обещание, которое г-же де Марвиль удалось вырвать несколько дней тому назад, привело ее в полное уныние. Было весьма сомнительно, чтобы к моменту новых выборов в палату бывший владелец

---

[1] Золотая середина (*лат.*).

имения де Марвиль мог выставить свою кандидатуру: для этого требовалось владеть недвижимостью не менее года.

Фрезье без труда договорился с Мадленой Виве. Они сразу признали друг друга, так как оба принадлежали к змеиной породе.

— Мадемуазель,—елейным голосом запел Фрезье,— не может ли супруга председателя суда уделить мне несколько минут по вопросу, лично ее касающемуся и связанному с ее благосостоянием; вопрос идет — не забудьте обратить на это ее внимание — о наследстве... Я не удостоился чести быть лично известным супруге председателя суда, поэтому моя фамилия ничего ей не скажет... Обычно я принимаю только на дому, но я знаю, с каким уважением должно относиться к супруге председателя суда, и поэтому потрудился и пришел лично, тем более что дело не терпит отлагательства.

Просьба, высказанная в таких словах, повторенная и приукрашенная горничной, само собой разумеется, возымела желанное действие. Фрезье почувствовал, что наступил решительный момент,— теперь или никогда могут осуществиться две его заветные мечты. Поэтому, при всей своей настойчивости мелкого провинциального стряпчего, въедливого, резкого и язвительного, он почувствовал то, что чувствует полководец перед битвой, от которой зависит исход кампании. Когда он входил в гостиную, где ожидала Амели, у него проступил легкий пот на спине и на лбу — а до сих пор никакое самое сильное потогонное не могло вызвать у Фрезье испарину, так как от ужасных болезней кожа его огрубела и все поры закупорились.

«Возможно, мне и не добиться богатства и успеха,— подумал он,— но во всяком случае я спасен, ведь Пулен обещал, что я выздоровею, если у меня появится испарина».

— Сударыня,— начал он, увидев г-жу де Марвиль, вышедшую к нему в пеньюаре.

Фрезье умолк и отвесил угодливый поклон, что у чиновника означает признание превосходства того, к кому этот поклон относится.

— Садитесь, сударь,— сказала г-жа де Марвиль, сразу признав в нем судейского.

— Милостивая государыня, я взял на себя смелость обратиться к вам по поводу одного денежного дела, касающегося вашего супруга, ибо я уверен, что сам господин де Марвиль, занимающий столь высокую должность, может им пренебречь и потерять семьсот — восемьсот тысяч франков, а дамы, которые, как я полагаю, в частных делах разбираются лучше, нежели чиновники судебного ведомства, такими деньгами не погнушаются.

— Вы говорили о каком-то наследстве,— перебила его г-жа де Марвиль.

Пораженная названной суммой и желая скрыть свою радость, Амели спешила, подобно нетерпеливому читателю, узнать развязку романа.

— Да, сударыня, о наследстве, потерянном для вас, окончательно потерянном, но я берусь сделать так, чтобы оно досталось вам...

— Я вас слушаю, сударь! — холодно сказала г-жа де Марвиль, окинув гостя испытующим взглядом.

— Сударыня, мне известны ваши выдающиеся способности, я ведь переехал в Париж из Манта. Господин Лебеф, председатель мантского суда, друг господина де Марвиля, может дать обо мне исчерпывающие сведения.

Супруга председателя суда так выразительно пожала плечами, что Фрезье пришлось ввернуть в свою речь следующую фразу:

— Женщина столь редкой проницательности, как вы, сразу же поймет, отчего я заговорил о себе: через меня вы кратчайшим путем придете к наследству.

Госпожа де Марвиль ответила на это льстивое замечание молчаливым кивком.

— Сударыня,— заговорил Фрезье, поощренный этим кивком,— я был стряпчим в Манте, все мое будущее зиждилось на этой должности, так как я приторговал контору господина Левру, которого вы, вероятно, знали...

Госпожа де Марвиль снова кивнула.

— Накопив тысяч десять франков и взяв некую толику в долг, я расстался с конторой Дероша, одного из самых талантливых парижских адвокатов, у которого я шесть лет проработал старшим клерком. Но я имел несчастье прогневить мантского прокурора, господина...

— Оливье Вине.

— Так точно, сударыня, сына главного прокурора. Он ухаживал за одной дамой.

— Ухаживал? Он?

— За госпожой Ватинель...

— А, за госпожой Ватинель... Она была очень хороша собой, мы с ней... одних лет...

— Ко мне она относилась весьма благосклонно, inde irae [1],— продолжал Фрезье.— Я трудился как вол, хотел расплатиться с друзьями и вступить в законный брак; мне нужны были клиенты, я стал упорно их разыскивать; и вскоре один вел больше дел, чем все мои коллеги, вместе взятые. Ну вот на меня и ополчились мантские стряпчие, нотариусы и даже судебные пристава. Ко мне стали придираться. Вы сами, сударыня, знаете, что в нашей ужасной профессии погубить человека ничего не стоит. Меня уличили в том, что в одном и том же процессе я вел дело обеих сторон. Это, конечно, немного легкомысленно. Но в Париже в известных случаях это допускается, там адвокатская братия смотрит на такие дела сквозь пальцы... В Манте это не принято. Господин Буйонне, которому я уже раз оказал такую же небольшую услугу, выдал меня, подстрекаемый коллегами и под нажимом прокурора... Вы видите, я ничего от вас не утаил. Поднялся отчаянный шум. Меня очернили, ославили мошенником, изобразили каким-то Маратом. Вынудили продать контору, я потерял все. Я уехал в Париж, где попытался открыть контору в качестве частного присяжного поверенного, но пошатнувшееся здоровье не давало мне возможности работать больше двух часов в сутки. Сейчас у меня осталось только одно желание, и весьма скромное. Наступит день, когда вы станете женой министра юстиции, а может статься, премьер-министра; а я человек неимущий и немощный и стремлюсь только к одному: получить местечко и спокойно дожить свои дни; местечко самое незавидное, так, только бы существовать. Мне хочется получить должность мирового судьи в Париже. Для вас и для господина председателя суда добиться моего назначения ничего не стоит, ведь теперешний министр юстиции так вас опасается, что, конечно, рад будет вас задобрить... Я еще не кон-

---

[1] Отсюда и немилость *(лат.)*.

чил, сударыня,— прибавил Фрезье, заметив нетерпеливый жест г-жи де Марвиль, которая, по-видимому, собиралась что-то сказать.— У меня есть друг, он лечит того самого старика, от которого господин председатель суда мог бы получить наследство. Вот я и подошел к сути дела... Этот врач, в содействии которого мы нуждаемся, в том же положении, что и я: он даровит, но незадачлив!.. От него-то я и узнал, что могут пострадать ваши интересы, ведь возможно, что все уже кончено, что, пока я с вами беседую, уже составлено завещание, согласно которому господин председатель лишится наследства... Мой друг хотел бы получить место главного врача где-нибудь в больнице или в казенных учебных заведениях — словом, вы понимаете, ему нужна должность в Париже, соответствующая моей... Вы простите, что я коснулся таких щекотливых вопросов, но между нами не должно быть ничего недоговоренного. Этот врач, к тому же очень уважаемый, знающий человек, он спас господина Пильеро, которому ваш зять, виконт Попино, приходится внучатным племянником. Итак, если вы будете столь добры и обещаете мне эти два места—должность судьи для меня и медицинскую синекуру для моего друга, я берусь вручить вам наследство почти полностью... Я говорю «почти полностью», потому что надо будет взять на себя некоторые обязательства по отношению к лицу, в пользу которого составлено завещание, и к тем лицам, чье содействие нам совершенно необходимо. Вы выполните ваше обещание только после того, как я выполню свое.

Госпожа де Марвиль, которая с некоторых пор сидела, скрестив руки, как человек, слушающий скучное наставление, переменила позу, поглядела на Фрезье и сказала:

— Надо отдать справедливость, вы весьма ясно изложили все, что имеет отношение к вам, но что касается меня, вы выражались так туманно...

— Сударыня, я разъясню вам все в двух словах,— поспешил успокоить ее Фрезье.— Ваш супруг — единственный законный наследник по боковой линии господина Понса. Господин Понс очень болен, он собирается составить завещание, если уже не составил, в пользу своего друга немца, по фамилии Шмуке, а сумма наследства выражается не меньше чем в семьсот тысяч фран-

ков. Через три дня я надеюсь получить самые точные сведения.

— Если это верно,— как бы продолжая думать вслух, сказала г-жа де Марвиль, которую потрясла названная Фрезье цифра,—я допустила большую ошибку, поссорившись с ним, обидев его...

— Нет, сударыня, потому что, не будь этой ссоры, он был бы весел, как чижик, и прожил бы дольше вас, вашего супруга и меня, вместе взятых... Пути судьбы неисповедимы, не будем ее искушать! — прибавил он, желая смягчить отвратительный цинизм своих слов.—Хочешь не хочешь, наш брат, деловой человек, обязан ко всему подходить с практической точки зрения. Вы понимаете, что, занимая высокий пост, ваш супруг ничего не сделает и не сможет сделать в данном случае. Он рассорился не на жизнь, а на смерть со своим кузеном, вы больше не принимаете господина Понса, вы изгнали его из общества,— не сомневаюсь, что у вас для этого были все основания; но старик болен, он оставляет все свое имущество единственному другу. Председатель палаты Парижского королевского суда не может возражать против завещания, составленного при подобных обстоятельствах и по всей форме. Но, между нами говоря, очень уж обидно иметь право на наследство в семьсот — восемьсот тысяч франков,— как знать, возможно даже и миллион,— быть единственным законным наследником и упустить это наследство. Но, хлопоча о наследстве, попадаешь в такую паутину грязных интриг, запутанных, мелочных козней, сталкиваешься с такими низкими людишками, с прислугой, и не только с прислугой, вступаешь с ними в самое близкое соприкосновение, и вряд ли найдется в Париже поверенный или нотариус, который взялся бы за этакое дело. Здесь требуется адвокат не у дел, человек вроде меня, с большой практической сметкой, без лести преданный и лишь вследствие непрочности своего положения стоящий на одной доске с такими людьми, как мои клиенты — мелкие торговцы, мастеровые, простонародье того квартала, где я проживаю. Да, сударыня, вот в какое положение я попал по милости невзлюбившего меня мантского прокурора, ныне товарища прокурора в Париже, который так и не простил мне моего умственного превосходства... Сударыня, я знаю вас, я знаю, что значит заручиться вашей

протекцией, и потому я понял, что, оказав вам эту услугу, я положу конец собственной нищете и буду способствовать преуспеянию моего друга доктора Пулена...

Госпожа де Марвиль задумалась, и Фрезье пережил минуту ужасного волнения. Г-н Вине, один из ораторов центра, уже шестнадцать лет исполнявший обязанности прокурора кассационного суда, на которого не раз указывали как на будущего министра юстиции, отец мантского прокурора, год тому назад переведенного в Париж товарищем прокурора, числился личным врагом завистливой супруги председателя суда. Высокомерный прокурор не скрывал своего презрительного отношения к г-ну Камюзо. Фрезье не знал и не должен был знать последнего обстоятельства.

— У вас на совести только тот грех, что вы одновременно взялись вести дело обеих тяжущихся сторон? — спросила хозяйка дома, пристально глядя на Фрезье.

— Можете справиться у господина Лебефа, сударыня. Господин Лебеф был ко мне благосклонен.

— Вы уверены, что господин Лебеф даст о вас хороший отзыв моему мужу и графу Попино?

— За это я ручаюсь, особенно теперь, когда господина Оливье Вине уже нет в Манте; потому что, между нами говоря, наш уважаемый господин Лебеф побаивается этой мелкой судейской сошки. Впрочем, если вы разрешите, я съезжу в Мант и лично повидаюсь с господином Лебефом. Задержки это не вызовет, узнать точную сумму наследства я могу не раньше чем через два-три дня. Я не смею и не хочу открыть вам, сударыня, все тайные пружины этого дела, но неужели же награда, которую я прошу за свою самоотверженную службу, не является для вас залогом успеха?

— Ну, хорошо, расположите в свою пользу господина Лебефа, и, если наследство действительно так велико, как вы говорите, в чем я, однако, сомневаюсь, я обещаю вам оба места, разумеется, в случае успеха...

— За успех я ручаюсь, сударыня. Только будьте любезны пригласить сюда ваших нотариуса и поверенного, когда у меня явится в них надобность, соблаговолите выдать мне доверенность, чтобы я мог действовать от имени господина председателя, и прикажите вашим до-

веренным лицам следовать моим указаниям и ничего не предпринимать по собственному почину.

— Вы за все отвечаете, вам должна принадлежать и вся полнота власти,— торжественно изрекла супруга председателя.— А господин Понс действительно тяжело болен? — спросила она с улыбкой.

— Пожалуй, с болезнью он и справился бы, особенно при таком добросовестном враче, как доктор Пулен, потому что мой друг, сударыня, выступает в роли невольного соглядатая, которым я руковожу в ваших интересах; доктор Пулен, может быть, и спас бы старого музыканта, но у больного есть привратница, которая, ради того чтоб получить тридцать тысяч, охотно сведет его в могилу... На убийство она не решится, мышьяка не подсыплет, она не так милосердна, но она сделает хуже, она его изводом возьмет, всю душу ему вымотает. В тишине, в покое, окруженный заботами и лаской друзей, на свежем воздухе старик поправился бы, но если его денно и нощно будет донимать этакая мадам Эврар, жадная, болтливая, грубая, в молодости принадлежавшая к тридцати красивейшим трактирщицам, прославившимся на весь Париж, если она будет приставать к больному, чтобы он отказал ей крупную сумму, болезнь неизбежно приведет к уплотнению печени; возможно, что у него уже образовались камни, и, чтоб извлечь их, надо будет прибегнуть к операции, которую он не перенесет... У доктора Пулена золотое сердце... представьте себе его положение. Ему следовало бы прогнать эту женщину!

— Но ведь эта мегера настоящая гадина! — воскликнула супруга председателя суда своим самым сладеньким голоском.

Фрезье по себе знал, что даже скрипучему голосу можно придать ангельскую мягкость, и он внутренне усмехнулся, обнаружив родственную душу в грозной супруге председателя суда. Ему припомнился герой одной из повестушек, приписываемых Людовику XI,— судья, которого этот монарх охарактеризовал в последних словах новеллы. Судьба одарила некоего судью женой того же нрава, что и жена Сократа, но не наделила его мудростью великого философа древности. Однажды он приказал подмешать соли в овес, которым кормили лошадей, а поить их не велел. Когда жена, отправившаяся в деревню,

ехала по берегу Сены, лошади бросились в воду и утонули вместе с ней, а судья возблагодарил провидение, которое помогло ему избавиться от жены, не беря греха на душу.

В этот момент г-жа де Марвиль благодарила бога за то, что около Понса оказалась женщина, которая поможет ей избавиться от кузена, не беря греха на душу.

— Мне не надо и миллиона, если из-за этого приходится обижать человека...— сказала она.— Ваш друг должен открыть глаза Понсу и прогнать эту женщину.

— Прежде всего и господин Шмуке и господин Понс считают эту женщину ангелом и не послушаются моего друга. Кроме того, эта отвратительная тварь — благодетельница доктора, она порекомендовала его господину Пильеро. Доктор предписывает ей быть как можно терпеливее с больным, но его предписаниями она пользуется лишь для того, чтобы повредить здоровью больного.

— Что думает ваш друг о положении *моего кузена?* — спросила г-жа де Марвиль.

Совершенно недвусмысленный ответ Фрезье потряс г-жу де Марвиль, которая поняла, что стряпчий заглянул в тайники ее души, столь же алчной, как и у тетки Сибо.

— Через полтора месяца можно будет получить наследство.

Супруга председателя суда опустила глаза.

— Бедняжка,— сказала она, тщетно пытаясь придать лицу печальное выражение.

— Не угодно ли вам написать несколько слов господину Лебефу? Я еду в Мант по железной дороге.

— Подождите, пожалуйста, я приглашу его приехать завтра обедать, мне надо с ним повидаться и попросить у него совета, как исправить несправедливость, жертвой которой вы стали.

Когда г-жа де Марвиль вышла, Фрезье, мысленно уже видевший себя мировым судьей, совершенно преобразился: он расправил плечи и полной грудью вдыхал атмосферу благополучия и успеха. Припав к новому для него источнику — источнику воли, он огромными глотками пил божественный напиток и, подобно Ремонанку, чувствовал, что ради успеха способен на преступление, только с одним условием: не оставлять улик.

Он не спасовал перед супругой председателя суда, утверждая то, в чем не был убежден сам, догадки выдавал за действительные факты, и все с одной целью: получить полномочия на спасение наследства и приобрести покровительство г-жи де Марвиль. В лице Фрезье были представлены два ужасающе нищенских существования и два столь же ужасающе ненасытных аппетита—и вот он уже с презрением отворачивался от своего омерзительного логова на улице Перль. Он предвкушал тысячу экю гонорара от тетки Сибо и пять тысяч франков от супруги председателя суда, а это означало возможность снять приличную квартиру и, кроме того, расплатиться с доктором Пуленом. Иногда такие человеконенавистники, черствые и озлобленные страданиями и недугами, способны столь же страстно испытывать противоположные чувства: Ришелье был в равной мере и добрым другом и жестоким врагом. За доктора Пулена благодарный ему Фрезье пошел бы в огонь и в воду. Возвращаясь в гостиную с письмом в руках, г-жа де Марвиль, не замеченная Фрезье, посмотрела на этого человека, который предвкушал счастливую, обеспеченную жизнь, и нашла, что у него не такая уж богомерзкая наружность; к тому же теперь он должен был служить ее интересам, а на того, кто служит твоим интересам, смотришь всегда другими глазами, чем на того, кто служит интересам соседа.

— Господин Фрезье,— сказала она,— вы доказали мне, что вы человек с головой, я полагаю, что вы способны быть искренним.

Фрезье сделал выразительный жест.

— В таком случае я прошу вас ответить мне без утайки на следующий вопрос: могут ли предпринимаемые вами шаги скомпрометировать господина де Марвиля или меня?

— Я не стал бы беспокоить вас, сударыня, если бы предполагал, что могу забрызгать вас грязью, пусть даже то была бы одна-единственная крохотная капелька грязи, ибо и неприметное пятнышко показалось бы больше луны. Вы, сударыня, забываете, что я должен заслужить ваше покровительство, так как иначе мне не быть мировым судьей в Париже. Однажды жизнь уже проучила меня, и проучила жестоко, так что у меня нет никакой охоты снова подставлять спину под ее удары.

Еще одно слово, сударыня: я вменяю себе в обязанность предварительно испрашивать ваше согласие на все шаги, касающиеся вас.

— Очень хорошо. Вот письмо для господина Лебефа. Теперь я жду сведений о стоимости наследства.

— В этом все дело,— тонко заметил Фрезье, поклонившись супруге председателя суда со всею приятностью, возможной при его наружности.

«Какое счастье,— думала г-жа Камюзо де Марвиль.— Наконец-то я разбогатею! Муж пройдет в депутаты. Ведь если послать такого Фрезье в Больбекский округ, он завербует нам нужное большинство. Какой таран в наших руках!»

«Какое счастье! — думал Фрезье, спускаясь по лестнице.— Вот так баба госпожа Камюзо! Мне бы такую жену. Ну, а теперь за работу!»

И он отправился в Мант, где ему предстояло снискать благоволение человека, которого он почти не знал; но он рассчитывал на г-жу Ватинель, причину всех его несчастий, а любовные огорчения, так же как опротестованный вексель надежного должника, часто приносят проценты.

Через три дня после этого свидания, пока Шмуке спал (мадам Сибо и старик музыкант поделили между собой бремя ухода за больным и по очереди бодрствовали у его изголовья), привратница опять, как она выражалась, поцарапалась с бедным Понсом. Небесполезно будет здесь отметить, что воспаление печени имеет одну весьма неприятную особенность. Больные, страдающие печенью, нетерпеливы, легко раздражаются, подвержены вспышкам гнева, и эти вспышки на короткое время приносят им облегчение, подобно тому как во время жара человек чувствует иногда небывалый прилив сил. Как только жар проходит, наступает упадок, коллапс, как называют это врачи, и тогда ясно видно, какой вред нанесен организму больного. При заболеваниях печени, особенно ежели они вызваны душевным потрясением, больной после таких вспышек гнева сильно ослабевает, что весьма опасно при строгой диете, на которой его держат. Это своего рода горячка, воспаление, но не крови и не мозга, а всей гуморальной системы. Раздраженное состояние организма вызывает сильную подавленность, и больной сам себе делается противен. Всякая мелочь его злит; это

усиливает опасность. Тетка Сибо, женщина простая и необразованная, не верила, несмотря на предостережения врача, что нервная система раздражается вследствие порчи гуморальной системы. Советы г-на Пулена казались ей докторскими бреднями. Как и все простолюдинки, она хотела во что бы то ни стало пичкать Понса едой и обязательно тайком накормила бы больного ветчиной, вкусным омлетом или шоколадом с ванилью, если бы не решительный запрет доктора Пулена.

— Если вы дадите господину Понсу чего-нибудь поесть, вы отправите его на тот свет, так сказать, всадите пулю ему в сердце.

Простой народ в этом отношении никак не переубедить, неприязнь к лечебницам коренится в уверенности людей малограмотных, что больных там морят голодом. Ввиду нередких смертных случаев, вызванных тем, что жены тайком приносили мужьям еду, в больницах существует приказ тщательно обыскивать родственников, навещающих больных в приемные дни. Чтобы вызвать ссору, необходимую для быстрого осуществления ее корыстных целей, тетка Сибо рассказала Понсу о своем посещении директора театра и не позабыла упомянуть, что поцапалась с танцовщицей Элоизой.

— Да что вам там понадобилось? — в третий раз спросил музыкант, который никак не мог остановить поток ее слов.

— Ну, а когда я ее отчитала как следует, *мамзель* Элоиза поняла, с кем имеет дело, и пошла на попятный, и мы стали такими друзьями, что водой не разольешь. Да, так вы хотите знать, что мне там понадобилось? — сказала она, повторив вопрос Понса.

Некоторые говоруны, и как раз говоруны талантливые, накапливают про запас возражения, замечания, вопросы собеседника, чтобы иметь пищу для своих бесконечных разглагольствований, хотя источник их болтливости и без того не иссякает.

— Да я пошла, чтобы выручить вашего господина Годиссара; ему нужна музыка к балету, а вам, ненаглядный мой, не под силу сейчас царапать пером по бумаге и исполнять свои обязанности... Вот я и узнала, что сочинить музыку к «Могиканам» пригласят господина Гаранжо...

— Гаранжо! — воскликнул Понс, придя в ярость.— Гаранжо — бездарность, я его не взял в первые скрипки! Он умный человек и прекрасно пишет статейки о музыке, но чтоб он мог сочинить мелодию, никогда не поверю!.. И какого черта понесло вас в театр?

— Ну и вредный же старик! Послушайте! Золото мое, чего вы кипятитесь?.. Ну где же вам, больному, сочинить музыку? Да вы посмотрите на себя в зеркало! Подать вам зеркало? Кожа да кости... Все одно как птенчик слабенький, а туда же, хотите, чтоб с вами в театре считались... да вы и со мной-то сосчитаться не можете... Вот, кстати, и вспомнила, надо к жилице с четвертого этажа сходить, она нам семнадцать франков задолжала... семнадцать франков нам сейчас ох как пригодятся! Вот уплачу аптекарю, так у нас и двадцати франков не останется... Ведь должна же я была сказать этому человеку,— он, кажется, очень хороший человек,— должна же я была сказать Годиссару... и фамилия-то какая приятная: настоящий Роже Бонтан, такой же весельчак, прямо по мне... у этого печенка не разболится, будьте спокойны... Ну так вот, должна же я была ему сказать, что с вами... Ничего не поделаешь, вы больны, он взял временно другого...

— Другого! — в ужасе воскликнул Понс и сел в постели.

Надо сказать, что больные, особенно те, над которыми смерть уже занесла косу, цепляются за свое место с той же яростью, с какой добиваются места начинающие карьеру. Несчастный Понс, стоявший уже одной ногой в могиле, воспринял приглашение другого на свою должность как предвестие смерти.

— Но доктор говорит, что мои дела идут отлично! Что скоро я смогу вернуться в театр. Вы меня убили, разорили, зарезали!..

— Ну, ну, ну, поехали! — прикрикнула на него тетка Сибо.— Значит, я вас тиранию? Стоит мне только отвернуться, вы сейчас же господину Шмуке такие приятные вещи говорите. Я все слышу, так и знайте! Неблагодарный изверг, вот вы кто!

— Да вы ничего не понимаете; если я проболею еще две недели, мне скажут, когда я приду в театр, что я старая кляча, что мое время прошло, что такие древности в

стиле ампир или рококо никому теперь не нужны! — воскликнул больной, которому не хотелось умирать.— Гаранжо со всеми в театре заведет дружбу, от билетера до рабочего сцены! Для безголосой актрисы он переменит диапазон, Годиссару будет сапоги лизать; его приятели всех в газетах расхвалят, и тогда в таком заведении, как наш театр, найдут к чему придраться!.. И чего вас понесло в театр?

— Ах ты, боже мой! Да мы с господином Шмуке уже неделю и так и этак прикидывали... Что поделаешь! Вы все о себе думаете, вы эгоист, вам бы только самому поправиться, а другие хоть помирай! Да бедный господин Шмуке валится от усталости, еле ноги волочит, он уже не может никуда ходить ни по урокам, ни в театр. Вы что ж, ничего не видите? Он за вами ночью ухаживает, а я днем. Если бы я и сейчас еще ночи напролет при вас просиживала, как вначале, когда я думала, что все обойдется, мне бы пришлось днем высыпаться! А как тогда с хозяйством, как с деньгами быть?.. Что вы хотите — болезнь есть болезнь! То-то и оно...

— Шмуке не мог этого придумать...

— Здравствуйте, так, по-вашему, я это сама придумала! По-вашему, мы железные! Да если бы господин Шмуке и теперь давал по семь-восемь уроков в день, а вечером с половины седьмого до половины одиннадцатого в театре оркестром управлял, он бы через десять дней ноги протянул. Что вы, смерти ему желаете, что ли? Такому хорошему человеку, ведь он за вас жизнь отдаст! Вот чтоб моим родителям на том свете ни дна ни покрышки, никогда я таких больных, как вы, не видала... Куда ваш разум девался, в *ланбар* вы его, что ли, снесли? Стараемся вам угодить, из кожи вон лезем, а вы все недовольны... Да этак мы совсем с ума сойдем!.. Я уж и сейчас-то из сил выбилась.

Тетке Сибо никто не мешал трещать сколько душе угодно. Понс задыхался от злости и не мог произнести ни слова, он метался в постели, делал попытки что-то крикнуть,— казалось, он умирает. Как это и раньше бывало, ссора, достигнув своего апогея, неожиданно закончилась миром. Сиделка подбежала к больному, схватила его за плечи, уложила в постель, накрыла одеялом.

— Ну можно же себя до такого доводить! Да вы не виноваты. Это все болезнь! Господин Пулен так и говорит. Ну, ну, успокойтесь. Будьте паинькой, золотой мой. Все мы на вас не насмотримся, доктор и то к вам два раза на день приходит! Что бы он сказал, ежели бы увидел, что вы так разволновались! И я-то с вами совсем голову потеряла. Уж если мадам Сибо взялась за вами ухаживать, так извольте ее слушаться... Ишь ты, как раскричался, как разговорился! Знаете ведь, что запрещено. Разговорами вы себе только кровь портите... И чего злитесь? Сами кругом виноваты... все время ко мне придираетесь! Ну, неужели мы с господином Шмуке не хотим вам добра? Он на вас не наглядится!.. Нет, мы правильно сделали, так-то, мой ангелок!

— Шмуке не мог послать вас в театр, не посоветовавшись со мною...

— Прикажете разбудить его, бедняжку, и привести сюда, чтоб он сам сказал?

— Нет, нет, не надо! Если мой добрый, мой любящий Шмуке так решил, может быть, мне и вправду хуже, чем я думаю,— сказал Понс, окинув бесконечно тоскливым взглядом произведения искусства, украшавшие спальню.— Пора, значит, расставаться с моими любимыми картинами, с вещами, к которым я привязался, как к друзьям... и с моим чудесным Шмуке! Неужели же это так?

Омерзительная комедиантка приложила платок к глазам. Ее молчаливый ответ поверг Понса в уныние. Он был сражен потерей должности и мыслью о близкой кончине — двумя тяжелыми ударами, поразившими его в самое уязвимое место, жестокими ударами, нанесенными его общественному положению и здоровью; он настолько обессилел, что даже не мог уже злиться. Он помрачнел, как чахоточный в предсмертной тоске.

— Знаете, ради господина Шмуке вам следовало бы послать за соседним нотариусом, за господином Троньоном, он очень честный человек,— предложила тетка Сибо, поняв, что жертва ее усмирена.

— Все время вы ко мне с вашим Троньоном пристаете,— проворчал больной.

— Ах, да мне решительно все равно, он или кто дру-

гой, подумаешь, много вы там мне откажете.— Она пожала плечами в знак презрения к богатству. Снова наступило молчание.

В это время Шмуке, спавший уже больше шести часов, проснулся от голода, встал, вошел в спальню к Понсу и несколько мгновений молча смотрел на него, потому что тетка Сибо приложила палец к губам и прошипела:

— Ш-ш-ш!..

Затем она встала, подошла к немцу и шепнула ему на ухо:

— Слава богу, он, кажется, засыпает, на него сегодня как что нашло! Ничего не поделаешь, это он с болезнью борется...

— Нет, я, наоборот, очень терпелив,— отозвался бедный мученик слабым голосом, указывающим на полное изнеможение.— Но посуди сам, дорогой Шмуке, она пошла в театр и добилась, чтоб меня уволили.

Он замолк, силы оставили его. Тетка Сибо воспользовалась паузой и знаками показала Шмуке, что у Понса помутился рассудок, затем прошептала:

— Не перечьте ему, еще не дай бог умрет!

— И она утверждает, что послал ее ты,— снова заговорил Понс, смотря на верного Шмуке.

— *Да*,— героически ответил Шмуке.— *Это биль нушно. Леши смирно, не мешай нам, и ми тебья виходим... Глюпо работать из последних зил, ешели у тебья такие зокровишша. Поправляйся, ми будем продавать кое-какие из твоих безделюшек и спокойно дошивать свой век где-нибудь в мирном угольке вместе с нашей потшенной мадам Зибо.*

— Она тебя подменила! — с горечью воскликнул Понс.

Не видя больше тетки Сибо, которая зашла за изголовье кровати, откуда тайком от Понса делала знаки старому немцу, больной подумал, что она вышла.

— Она меня убьет! — прибавил он.

— Это я вас убью?..— крикнула привратница и вышла вперед, подбоченившись и сверкая глазами.— Господи помилуй, так вот она, благодарность за мою собачью преданность!

Она разразилась слезами, упала в кресло, и ее траги-

ческая поза произвела самое удручающее впечатление на Понса.

— Хорошо,— сказала тетка Сибо, вставая и смотря на обоих друзей злобным взглядом, столь же убийственным, как пуля или яд.— Мне надоело, я из кожи вон лезу, а все никак не угожу. Ищите себе сиделку.

Старички-щелкунчики испуганно посмотрели друг на друга.

— Нечего смотреть, как актеры в театре! Скажу доктору Пулену, пусть ищет сиделку! А мы давайте посчитаемся. Возвратите мне деньги, что я на вас потратила... никогда бы прежде я их не потребовала... А я-то, я-то опять к господину Пильеро ходила, еще пятьсот франков у него заняла...

— *Это все есть больезнь виновата!* — сказал Шмуке, подходя к привратнице и обнимая ее за талию.— *Не сердитесь на него!*

— Вы другое дело. Вы ангел господень, я следы ващих ног целовать готова,— сказала она.— Но господин Понс меня всегда не любил, ненавидел! Да он, может быть, думает, что я его завещанием интересуюсь...

— *Тсс! Ви его будете убивать!* — воскликнул Шмуке.

— Прощайте, сударь,— сказала привратница, подходя к Понсу и испепеляя его взглядом.— Поправляйтесь поскорей, я вам зла не желаю. Когда вы будете со мной вежливы, когда поверите, что я для вашей же пользы стараюсь, я вернусь. А пока буду сидеть дома... Я за вами, как за своим дитем, ходила, где же это видано, чтобы дети да против матери шли!.. Нет, нет, господин Шмуке, и слышать ничего не хочу... я буду приносить вам обед, буду прислуживать, но возьмите сиделку, поговорите с господином Пуленом.

И она вышла, так хлопнув дверью, что зазвенел хрупкий ценный фарфор. Для измученного Понса этот звон означал примерно то же, что последний удар, прекращающий страдание человека, вздернутого на дыбу.

Час спустя тетка Сибо, не входя в спальню к Понсу, через дверь позвала Шмуке и сказала, что обед подан. Бедный немец вошел в столовую, измученный и заплаканный.

— *Бедный мой Понс сталь заговариваться, ругает*

вас последней забакой. Это все болъезнь наделяль,— сказал он, желая разжалобить тетку Сибо и обелить Понса.

— Его болезнь у меня вот где сидит! Господин Понс мне не отец, не муж, не брат, не сын, так ведь? Он меня возненавидел, мне это надоело, хватит! За вами я хоть на край света пойду, но когда отдаешь все — жизнь, душу, последние гроши, когда собственного мужа позабываешь, до болезни его доводишь, а тебя называют мерзавкой! Это уже курам на смех!

— *Дурам на спех?*

— Курам, курам! Нечего попусту время на разговоры терять. Перейдем к делу! Вы мне задолжали за три месяца: по сто девяносто франков в месяц, это выходит пятьсот семьдесят франков; затем я два раза за вас за квартиру платила, вот и квитанции, шестьсот франков, да пять процентов положенной нам надбавки и налоги, всего без малого тысяча двести франков, и еще те две тысячи, без всяких процентов, разумеется... Итого — три тысячи сто девяносто два франка... Не забывайте, что надо по крайней мере две тысячи франков на сиделку, доктора, лекарства и еду для сиделки. Вот почему и я заняла тысячу франков у господина Пильеро,— сказала она, вытащив тысячу франков, данные ей Годиссаром.

Шмуке слушал ее подсчеты с вполне понятным выражением ужаса, так как в финансовых делах он понимал столько же, сколько кошка в музыке.

— *Мадам Зибо, Понс з ума зошель! Не зердитесь, не оставляйте его, будьте по-прешнему нашим ангель-хранитель. На коленьях вас прошу.*

И немец упал к ногам тетки Сибо и принялся целовать руки мучительнице Понса.

— Послушайте, золотце,— сказала она, подымая Шмуке и целуя его в лоб.— Сибо болен, с постели не встает, я послала за доктором Пуленом. Сами понимаете, мне нужно привести в порядок свои дела. Да и Сибо, когда увидел, что я пришла от вас вся в слезах, так рассердился, что запретил мне и нос сюда показывать. Он требует обратно свои деньги, а деньги-то это его. Мы, женщины, тут ничем помочь не можем. Но если отдать ему деньги, три тысячи двести франков, он, может быть, успокоится. Ведь это все, что у него, у бедняжки, есть,

все, что он за двадцать шесть лет скопил, тяжелым трудом заработал. Он требует, чтоб деньги завтра же здесь были, вынь да положь... Вы Сибо не знаете: ежели его разозлить, он человека убить *можеть*. Попробую его уговорить, чтоб он позволил мне за вами за обоими ухаживать. Успокойтесь, пусть сколько хочет ругается. Из любви к вам я пойду на эту муку, потому что вы ангел.

— *Нет, я нестшастний тшельовек, но я люблю своего друга и хотшу отдать шиснь, только би его спазать.*

— А деньги? Хороший мой господин Шмуке, скажем,— это я только так, к примеру,— вы мне ничего не отдадите, а ведь три тысячи франков на жизнь все равно раздобыть надо. Ей-богу, я бы на вашем месте знаете как поступила? Я бы недолго думая продала штук семьвосемь картинок похуже и повесила на их место те, что стоят у вас в спальне, лицом к стенке. Не все ли равно, какая там будет картиночка?

— *А затшем ми будем повесить на их место другие?*

— Ух, он прехитрый! Это все болезнь виновата,— когда господин Понс здоров, он настоящий ягненок! Он может встать и всюду нос сунуть; что, как он в гостиную забредет? Хоть он и слаб, хоть у него сил нет за порог ступить, а картинам он счет знает!..

— *Это ви правильно говориль!*

— А вот о продаже мы ему скажем, только когда он совсем поправится. Если вы не захотите утаить от него продажу, так валите все на меня, скажите, я, мол, деньги потребовала. У меня спина широкая, выдержит...

— *Я не могу распоряшаться вешшами, которие мне не принадлешат,*— просто ответил Шмуке.

— Ну, так я подам на вас в суд, на вас и на господина Понса.

— *Ви его будете убивать!*

— Выбирайте сами! Господи боже мой, да продайте картины, а ему потом признаетесь, покажете ему повестку в суд.

— *Хорошо, мошете подавать на нас в зуд, это будет послюшить мне оправданием, я покашу ему решение зуда...*

В тот же день в семь часов вечера привратница, которая успела посоветоваться с судебным приставом, позвала к себе Шмуке.

Немец очутился лицом к лицу с Табаро, который предложил ему уплатить долг. После отказа дрожащему с ног до головы Шмуке была вручена повестка, вызывавшая его вместе с Понсом в суд для решения по делу об уплате долга. И Табаро всем своим видом и испи-санная гербовая бумага произвели потрясающее впечатление на Шмуке, и он сдался.

— *Будем продавать картини,*—сказал он со слезами на глазах.

На следующий день в шесть часов утра Элиа Магюс и Ремонанк снимали со стены приобретенные ими картины. Две расписки на две тысячи пятьсот франков каждая были составлены по всем правилам:

«Я, нижеподписавшийся, являясь представителем г-на Понса, сим удостоверяю, что получил от г-на Элиа Магюса сумму в две тысячи пятьсот франков в уплату за четыре проданные мною ему картины; вышеозначенной сумме надлежит быть израсходованной на нужды г-на Понса. Одна картина — приписываемая Дюреру, женский портрет; вторая — итальянской школы, также портрет; третья — голландский пейзаж Брегеля; четвертая картина неизвестного флорентийского мастера, изображающая «Святое семейство».

Расписка Ремонанка, составленная в тех же выражениях, была выдана за картины Греза, Клода Лоррена, Рубенса и Ван-Дейка, скромно обозначенные как картины французской и фламандской школы.

— *Пошалюй, теперь я буду повсрить, што эти безделюшки што-то стоят,*— сказал Шмуке, получив пять тысяч франков.

— Кое-что стоят,— отозвался Ремонанк.— Я охотно дам за все сто тысяч франков.

Овернец по просьбе Шмуке вставил в прежние рамки другие картины того же размера, выбрав их из числа тех менее редких произведений, которые стояли в спальне Шмуке. Элиа Магюс, получив четыре шедевра, увел тетку Сибо к себе домой под тем предлогом, что ему надо с ней сосчитаться. Дома он начал прибедняться, клялся, что картины попорчены, что их надо реставрировать, и предложил ей тридцать тысяч франков за комиссию. Она согласилась, когда он повертел у нее перед носом новенькими банковскими бумажками,

на каждой из которых было напечатано: тысяча франков!

Ремонанку пришлось ублаготворить тетку Сибо такой же суммой. Магюс дал ему эти деньги взаймы под залог его четырех картин. Эти четыре картины так пленили Магюса, что у него не хватило духу с ними расстаться; на следующий день он принес старьевщику шесть тысяч отступного, и тот отдал ему картины по своей цене. Привратница, получившая шестьдесят восемь тысяч, снова потребовала от своих двух соучастников полной тайны; она попросила у еврея совета, как лучше распорядиться деньгами, чтобы никто не узнал об их существовании.

— Приобретите акции Орлеанской железной дороги, они сейчас котируются на тридцать франков ниже стоимости, через три года вы удвоите свой капитал, а бумаги места не пролежат.

— Не уходите, господин Магюс, я сейчас сбегаю за поверенным родственников господина Понса, он хочет знать, сколько вы дали бы за весь хлам, что собран там наверху... Я сейчас за ним схожу.

— Эх, была бы она вдова,— сказал Ремонанк еврею,— как раз бы мне подошла, она ведь теперь богачка...

— А если она поместит деньги в акции Орлеанской железной дороги, через два года у нее вдвое больше будет. Я вложил туда мои скромные сбережения,— сказал еврей,— приданое дочери... Пойдемте пройдемтесь по бульварам в ожидании поверенного.

— Прибрал бы господь старика Сибо, он и то все прихварывает,— снова начал Ремонанк,— какая бы у меня жена была, как бы она в лавке управлялась! Я бы тогда открыл настоящую торговлю.

— Здравствуйте, дорогой господин Фрезье,— сказала тетка Сибо елейным голосом, входя в кабинет к своему советчику.— Ваш привратник мне сейчас сказал, будто вы переезжаете?

— Да, дорогая мадам Сибо, я снял квартиру в том же доме, где доктор Пулен, как раз над ним, во втором этаже. Сейчас я ищу, где бы перехватить две-три тысчонки, чтобы прилично обставить новую квартиру, кстати, очень недурную,— домохозяин отделал ее заново.

Я уже говорил вам, что взял на себя защиту интересов председателя суда господина де Марвиля, и ваших тоже... Я ухожу из частных ходатаев и собираюсь записаться в адвокаты, мне нужна хорошая квартира. Парижские адвокаты принимают в свое сословие только тех, у кого приличная обстановка, библиотека и все прочее. Я доктор прав, я проработал положенный срок помощником присяжного поверенного и уже приобрел могущественных покровителей... Ну-с, как наши дела?

— Если хотите, я могу предложить вам мои сбережения, они у меня на книжке,— сказала тетка Сибо,— деньги, правда, небольшие — три тысячи франков, все, что нажила за двадцать пять лет, ночей недосыпала, куска недоедала... Вы дадите мне вексель,— так Ремонанк говорит, я сама малограмотная, что мне скажут, только то и знаю...

— Нет, по уставу нашего сословия адвокату запрещено подписывать векселя; я напишу вам расписку из пяти процентов, которую вы мне вернете, если я устрою так, чтобы после Понса вы получали пожизненную пенсию в тысячу двести франков.

Попавшаяся на удочку, тетка Сибо ничего не ответила.

— Молчание — знак согласия,— заметил Фрезье.— Приносите деньги завтра.

— Я охотно заплачу вам вперед,— сказала тетка Сибо,— тогда я уж буду спокойна, что получу пенсию.

— Ну-с, так как же наши дела? — повторил Фрезье, утвердительно кивнув головой.— Я был у Пулена вчера вечером. Как видно, вы с больным времени даром не теряете, еще один такой приступ, как вчера,— и в желчном пузыре образуются камни... Будьте с ним поласковей, голубушка мадам Сибо, чтоб потом вас совесть не мучила. Все мы не два века живем.

— Оставьте меня в покое с вашей совестью!.. Вы, может быть, опять про гильотину говорить собираетесь? Господин Понс — старый упрямец! Вы его не знаете! Не я, а он меня изводит! Такой вредный старик, его родственники правы: ехидный, мстительный, упрямый... Господин Магюс вернулся, как я вам говорила, и ждет вас.

— Отлично!.. Я сейчас приду. От ценности коллек-

ции зависит сумма вашей пожизненной ренты; если она стоит восемьсот тысяч франков, вы будете получать пожизненно полторы... целый капитал!

— Ладно, я скажу, чтоб они ценили по совести.

Час спустя Понс уснул крепким сном, приняв из рук Шмуке прописанное врачом снотворное, дозу которого тетка Сибо, без ведома немца, увеличила вдвое. А тем временем трое пройдох, один чище другого — Фрезье, Ремонанк и Магюс,— рассматривали поштучно коллекцию старого музыканта, состоявшую из тысячи семидесяти предметов. Шмуке тоже лег отдохнуть, и поле брани осталось за злым вороньем, слетевшимся на добычу.

— Тсс... не шумите,— предостерегала тетка Сибо каждый раз, как Магюс приходил в восторг и вслух вразумлял Ремонанка насчет ценности того или иного произведения искусства.

Чье сердце не содрогнулось бы при этом зрелище: четыре человека — четыре ипостаси жадности — оценивают наследство, между тем как за стеной спит тот, смерти которого они все ждут с таким нетерпением. Оценка коллекции длилась три часа.

— В среднем,— сказал прижимистый старик еврей,— здесь любая вещь стоит тысячу франков...

— Значит, можно получить миллион семьсот тысяч франков! — воскликнул пораженный Фрезье.

— Только не с меня,— отозвался Магюс, глаза которого сразу приняли холодное выражение.— Я не дам больше восьмисот тысяч франков, потому что нельзя знать, сколько времени все это пролежит в магазине... Некоторые шедевры продаются десять лет подряд,— значит, к цене, заплаченной при покупке, надо прибавить еще сложные проценты. Но зато я плачу наличными.

— У него в спальне есть еще витражи, эмали, миниатюры, золотые и серебряные табакерки,— заметил Ремонанк.

— Можно их посмотреть? — спросил Фрезье.

— Пойду взгляну, крепко ли он спит,— ответила тетка Сибо.

И по знаку привратницы три хищника вошли в спальню к Понсу.

— Там шедевры! — указывая на гостиную, сказал

Магюс, седая бороденка которого, казалось, трепетала каждым своим волоском.— А здесь — богатство! И какое богатство! В королевской казне и то не найти ничего лучше.

Глаза Ремонанка, загоревшиеся при виде табакерок, сверкали, как карбункулы. Фрезье, спокойный, холодный, вытянул шею, словно змея, поднявшаяся на хвосте, и вертел во все стороны плоской головой; он замер в той позе, в которой обычно изображают Мефистофеля. Все три скупца, жаждущие золота в той же мере, в какой дьявол жаждет райских кущей, словно по уговору впились взглядом во владельца такого несметного богатства, который забеспокоился во сне, будто его мучил кошмар. И вдруг, ощутив на себе эти три дьявольских луча, больной открыл глаза и завопил истошным голосом:

— Воры!.. Воры!.. Караул! Режут!

Несомненно, он, и проснувшись, еще продолжал видеть сон, потому что он сел в кровати, уставился в одну точку вытаращенными глазами и как бы оцепенел.

Элиа Магюс и Ремонанк шагнули было к двери, но тут их как громом поразили слова Понса:

— Магюс здесь!.. Меня предали!..

Больного разбудил инстинкт сохранения своего сокровища, инстинкт, во всяком случае равный инстинкту самосохранения.

— Мадам Сибо, кто этот господин? — крикнул он, содрогнувшись при виде Фрезье, замершего на месте.

— Боже мой, да ведь не могла же я выставить его за дверь,— сказала привратница, подмигнув Фрезье,— господин пришел по поручению ваших родственников.

При этих словах Фрезье не мог удержаться от жеста восхищенья, вызванного такой находчивостью.

— Да, сударь, я пришел по поручению господина де Марвиля, его супруги и дочери, чтобы передать вам их соболезнование; они случайно узнали, что вы больны, и выразили желание взять на себя заботы о вашем здоровье... Они предлагают вам переехать на поправку в их Марвильское имение; виконтесса Попино — ваша любимица Сесиль — будет сама ходить за вами. Она выступила вашей заступницей и убедила мать, что та неправа.

— Так вас прислали мои наследники! — крикнул возмущенный Понс.— Да еще дали вам в проводники самого искушенного знатока, самого сведущего парижского оценщика. Недурное поручение,— продолжал он, расхохотавшись безумным смехом.— Вы пришли, чтоб оценить мои картины, древности, табакерки, миниатюры!.. Оценивайте! Оценивайте! Вы привели с собой не только знатока, но человека, который может все здесь купить, архимиллионера... Моим дорогим родственникам не придется долго дожидаться наследства,— добавил он с глубокой иронией,— они меня прикончили... Ах, мадам Сибо, говорите, что вы мне как мать родная, а сами, пока я сплю, впустили сюда торговцев, моего конкурента и соглядатая моих родственников Камюзо!.. Все вон отсюда!

И, измученный, худой, как скелет, Понс под влиянием гнева и страха поднялся с постели.

— Возьмите меня под руку,— крикнула тетка Сибо, подбегая к больному, который чуть было не упал.— Успокойтесь, они ушли.

— Я хочу посмотреть, что делается в гостиной! — сказал умирающий старик.

Тетка Сибо подмигнула трем воронам, что пора улетать, затем схватила в охапку Понса, подняла его как перышко и, не слушая его криков, уложила в постель. Убедившись, что несчастный коллекционер совсем обессилел, она пошла запереть входную дверь. Три понсовских мучителя стояли еще на площадке; тетка Сибо велела им подождать, так как услышала слова Фрезье, обращенные к Магюсу:

— Напишите мне письмо за вашей общей подписью, что вы согласны приобрести коллекцию господина Понса за девятьсот тысяч наличными, и я позабочусь, чтоб вы не остались в накладе.

Потом он шепнул на ухо тетке Сибо одно слово, одноединственное слово, которое никто не расслышал, и спустился с обоими торговцами в швейцарскую.

— Мадам Сибо, они ушли? — спросил несчастный Понс, когда привратница вернулась.

— Кто... ушел? — переспросила она.

- Эти люди?

— Какие люди?.. Вам люди померещились! — ска-

зала она.— Это вам в горячке привиделось, не будь тут меня, вы бы из окна выпрыгнули, а вы ко мне с какими-то людьми пристаете... Вы все еще бредите!

— Как, разве тут только что не был господин, который сказал, что его послали мои родственники?

— Да когда же вы от меня отвяжетесь,— огрызнулась она.— Знаете, куда вас посадить надо? В *Шарлатон*... какие-то ему еще люди мерещатся...

— Элиа Магюс и Ремонанк!..

— А, вот Ремонанка вы могли видеть, потому как он приходил сюда за мной. Сибо совсем плох, так что мне теперь не до вас, поправляйтесь сами. Муж для меня дороже, понимаете! Когда он болен, мне ни до кого дела нет. Постарайтесь успокоиться и поспать часок-другой, потому как я послала за господином Пуленом и приду к вам вместе с ним... Попейте, будьте умником!

— В спальне никого не было, вот только что, когда я проснулся?..

— Никого! — сказала она.— Вы, верно, Ремонанка в зеркале увидели.

— Вы правы, мадам Сибо,— сказал больной, став смирным, как овечка.

— Ну, вот вы и пришли в себя... Прощайте, золотце мое, лежите спокойно, через минуту я опять приду.

Когда Понс услышал, что входная дверь захлопнулась, он собрался с последними силами и встал.

«Меня надувают, меня грабят! Шмуке — дитя, его ничего не стоит вокруг пальца обвести...» — думал он.

И больной, которому придавало силы желание уяснить себе ужасную сцену, слишком реальную, чтобы ее можно было счесть бредом, добрался до порога спальни, с трудом открыл дверь и вошел в гостиную, где сразу оживился при виде дорогих своих полотен, статуй, флорентийской бронзы, фарфора. В халате, босиком, с пылающей головой, прошел он по двум проходам, между стойками и шкафами, которые разделяли залу на две половины. Окинув хозяйским глазом свой музей и пересчитав картины, он решил, что все цело, и уже собрался уходить. Но тут его внимание привлек портрет Грёза, повешенный вместо «Мальтийского рыцаря» Себастьяно дель Пьомбо. Страшное подозрение сверкнуло у него в уме, словно молния, прорезавшая грозовое небо.

Он посмотрел на то место, где висели восемь его лучших полотен, и убедился, что все они заменены другими. У него потемнело в глазах, ноги подкосились, и он рухнул на пол.

Два часа Понс пролежал в глубоком обмороке; его нашел Шмуке, когда, проснувшись, вышел из спальни, чтоб посидеть со своим другом. Шмуке с большим трудом поднял и уложил в постель чуть живого Понса; но когда он заговорил с ним, когда этот полутруп посмотрел на него стеклянными глазами и пробормотал какие-то неразборчивые слова, бедный немец не только не потерял голову, но проявил героизм истинной дружбы. Отчаяние обострило все способности, вдохновило этого взрослого ребенка, как то бывает с любящими женами или матерями. Он велел нагреть полотенца (он сумел найти полотенца!), обернул ими руки Понса, положил нагретую салфетку ему на живот; потом сжал обеими ладонями его голову, его холодный влажный лоб и с силой воли, достойной Аполлония Тианского, попытался вернуть его к жизни. Он поцеловал своего друга в глаза, уподобившись тем Мариям, которых великие итальянские ваятели изобразили на барельефах, известных под названием Pieta, лобзающими Христа. Его святой подвиг, его стремление вдохнуть свою жизнь в другого, его ласка и забота, достойные матери и нежной подруги, увенчались полным успехом. Через полчаса согревшийся Понс стал опять похож на человека: глаза заблестели жизнью, под влиянием внешнего тепла органы снова заработали. Шмуке напоил Понса мелиссовой водой с вином, жизненные силы вернулись в полумертвое тело, на лице, только что казавшемся бесчувственнее камня, вновь появилось осмысленное выражение. И тогда Понсу стало ясно, что он обязан возвращением к жизни поистине святой преданности, великой силе дружбы.

— Без тебя я бы умер! — сказал он, чувствуя, что лицо его смочено слезами Шмуке, который и смеялся и плакал одновременно.

От этих слов, которых он ждал с отчаянной надеждой, не уступающей в силе отчаянной безнадежности, бедный Шмуке, уже и без того совершенно обессилевший, весь как-то сник, словно мячик, из которого выпустили воздух. Он сам был близок к обмороку, он опустился в крес-

ло, сложил руки и в горячей молитве возблагодарил бога. Ради него свершилось чудо! Он верил не в действенную силу своей молитвы, а во всемогущество господа бога, к которому воззвал. Меж тем такие чудеса, не раз отмечавшиеся врачами,— явление совершенно естественное.

Больной, окруженный любовью и заботами людей, которым дорога его жизнь, при прочих равных условиях выживает там, где человек, за которым ухаживают наемные сиделки, гибнет. Врачи не желают признать в этом действие бессознательного магнетизма, они приписывают благополучный исход болезни разумному уходу, точному соблюдению их предписаний; но многие женщины знают, какую чудодейственную силу излучает их пламенная материнская любовь.

— Шмуке, хороший мой!

— *Мольтши, я зердцем знаю все, что ти скашешь... Отдохни, отдохни!* — сказал Шмуке, блаженно улыбаясь.

— Бедный друг! Благородное сердце! Чадо божье, живущее в боге! Ты один меня любил! — воскликцал Понс, и в голосе его слышались незнакомые ноты.

Душа, собиравшаяся отлететь в вечность, вся отразилась в этих словах, которые звучали для Шмуке почти так же сладостно, как слова любви.

— *Ти не будешь умирать, не будешь умирать, и я стану зильний, как лев, я буду работать за двоих!*

— Послушай, мой добрый, мой верный, мой чудный друг, мне остались считанные минуты, ведь я умираю, я не поправлюсь после стольких приступов.

Шмуке рыдал как ребенок.

— Выслушай меня, плакать ты будешь потом...— продолжал Понс.— Ты христианин, смирись. Я ограблен, ограблен теткой Сибо... Раньше, чем тебя покинуть, я должен просветить тебя насчет житейских дел, потому что ты не знаешь жизни... У меня украли восемь картин, которые стоят больших денег.

— *Прости менья, это я их продаваль.*

— Ты?

— *Я...*— сказал бедный немец,— *на нас било подано в зуд ко взисканию.*

— Подано в суд?.. Кем?

— *Подошти!..*

Шмуке пошел за гербовой бумагой, оставленной судебным приставом, и принес ее.

Понс внимательно прочитал всю эту тарабарщину. Потом отложил бумагу и долго молчал. До этого дня он интересовался только зримыми плодами человеческого труда и пренебрегал отвлеченной моралью, но теперь вдруг прозрел и увидел все нити интриги, которую плела тетка Сибо. На несколько минут в нем опять проснулся темперамент художника, изощренный ум ученика Римской академии, проснулась молодость.

— Добрый мой Шмуке, повинуйся мне беспрекословно. Слушай! Сойди вниз в швейцарскую и скажи этой мерзкой бабе, что я хотел бы повидать того человека, которого присылал мой кузен де Марвиль; ежели он не придет, я намерен завещать мою коллекцию музею; скажи, что я собираюсь писать завещание.

Шмуке выполнил данное ему поручение, но привратница рассмеялась ему в лицо.

— Наш ненаглядный был в бреду, ему померещилось, что у него в спальне народ. Ей-богу же, от его родственников никто не приходил...

Шмуке в точности передал Понсу ее ответ.

— Я не ожидал, что она такая хитрая, такая зловредная, такая продувная бестия,— сказал Понс, усмехнувшись.— Она лжет в глаза и за глаза! Послушай, сегодня утром она приводила сюда еврея, по имени Элиа Магюс, Ремонанка и еще кого-то третьего, какого-то неизвестного мне человека, но этот почище тех обоих. Привратница рассчитывала, что, пока я буду спать, они оценят мое наследство, но я случайно проснулся и увидел, как все трое разглядывали мои табакерки. Затем тот, незнакомый мне человек сказал, что его послал мой кузен Камюзо, я сам говорил с ним. А эта подлая тетка Сибо уверяет, будто все это мне приснилось... Шмуке, друг мой, я не спал!.. Я действительно слышал голос того человека, он говорил со мной... оба торговца испугались и шмыгнули за дверь. Я думал, что тетка Сибо выдаст себя!.. Моя попытка оказалась безуспешной. Ну, теперь я расставлю другие сети, и эта мерзавка в них попадется. Бедный мой Шмуке, ты считаешь тетку Сибо ангелом,—вот уже месяц, как она ради своих корыстных целей делает все, чтоб меня уморить. Мне трудно

было поверить, что женщина, несколько лет честно служившая нам, может быть такой бездушной. Доверчивость погубила меня... Сколько тебе дали за восемь картин?..

— *Пять тысяч франков.*

— Господи боже мой, они стоили в двадцать раз больше! — воскликнул Понс.— Это лучшее, что есть в моем собрании. У меня остается слишком мало времени, чтоб начать судебное дело, да, кроме того, тебя бы тоже привлекли, как сообщника этих мерзавцев... Судебный процесс тебя убьет! Ты даже не знаешь, что такое правосудие! Это сточная канава, где скапливается вся нравственная грязь. Твоя душа не выдержит такой бездны мерзостей. Да, кроме того, ты и так будешь богачом. За эти картины я заплатил четыре тысячи франков, они у меня уже тридцать шесть лет... Нас с тобой обокрали с поразительной ловкостью. Я уже стою одной ногой в могиле, меня беспокоит только твое будущее... да, только твое будущее... И я не хочу, чтоб ограбили тебя, самого лучшего человека на свете, ведь все, что у меня есть, принадлежит тебе. Нельзя никому доверять, а ты всегда был очень доверчив. Правда, бог хранит моего Шмуке, это я знаю, но он может на мгновение позабыть о тебе, и они ограбят тебя, как пираты торговое судно. Тетка Сибо — изверг, она моя убийца, а ты считаешь ее ангелом; я позабочусь, чтоб ты узнал, какова она на самом деле, пойди попроси ее указать тебе нотариуса, чтоб я мог составить завещание... И мы поймаем ее с поличным.

Шмуке слушал Понса так, словно тот читал ему апокалипсис. Где же провидение божье, если Понс прав и на свете существуют такие испорченные натуры?

— *Моему бедному другу Понсу отшень пльохо,*— сказал Шмуке, спустившись в швейцарскую и обращаясь к тетке Сибо,— *он хотшет заставить заветшание, пошалюста, ходите за нотариус.*

Это было сказано в присутствии нескольких людей, собравшихся здесь, так как положение старика Сибо было почти безнадежно. В воротах стояли Ремонанк, его сестра, служанки здешних жильцов и жилец со второго этажа, из квартиры, выходившей на улицу.

— Сами за нотариусом ступайте,— воскликнула тетка Сибо, заливаясь слезами,— пусть кто хочет вам за-

вещание пишет... Никуда я не пойду, когда у меня муж кончается. Да я всех Понсов на свете отдам, только бы Сибо поправился... ведь мы с ним тридцать лет душа в душу прожили!

И она ушла в швейцарскую, не обращая внимания на растерявшегося Шмуке.

— Сударь,— обратился к Шмуке жилец со второго этажа,— значит, господину Понсу очень плохо?..

Этот жилец, по имени Жоливар, служил регистратором в суде.

— *Он зейтшас чуть не умираль!* — с глубоким горем ответил Шмуке.

— Здесь поблизости, на улице Сен-Луи, живет нотариус — господин Троньон,— заметил г-н Жоливар.— Это наш квартальный нотариус.

— Сходить за ним? — спросил Ремонанк у Шмуке.

— *Пошалюста,*— ответил тот,— *потому што я не хотшу оставлять моего друга одного в том зостоянии, в каком он зейтшас, а мадам Зибо отказивалься за ним ухашивать.*

— Мадам Сибо сказала нам, что он сошел с ума! — вступил в разговор Жоливар.

— *Понс зошель з ума?* — воскликнул Шмуке в ужасе.— *Никогда ешше он не биль в таком здравом уме... потому-то я и вольноваюсь за его здоровье.*

Все собравшиеся слушали этот разговор с вполне естественным любопытством и потому хорошо его запомнили. Шмуке, не знавший Фрезье, не обратил внимания на сатанинское выражение его лица и на его лихорадочно горящий взгляд. Фрезье, шепнувший на лестнице несколько слов тетке Сибо, был вдохновителем этой дерзко задуманной сцены, до которой привратница, пожалуй, не дошла бы собственным умом, но разыграла она ее превосходно!

Выдать умирающего музыканта за сумасшедшего входило в план стряпчего, на этом краеугольном камне он собирался возвести свое здание. Фрезье ловко использовал утреннее происшествие в своих целях; не будь здесь стряпчего, тетка Сибо, чего доброго, смутилась бы и выдала себя в ту минуту, когда Шмуке в простоте душевной чуть было не поймал ее в ловушку, попросив вернуть человека, посланного к Понсу его родственни-

ками. В это время Ремонанк, который увидел, что идет доктор Пулен, поспешил исчезнуть. И неспроста: уже десять дней как Ремонанк взял на себя функции провидения, что обычно очень не нравится правосудию, ибо правосудие само претендует на эту роль. Ремонанк решил любой ценой устранить единственное препятствие, мешавшее его счастью. А счастье свое он полагал в женитьбе на привратнице и в приумножении своих капиталов. И вот однажды, увидя, как хилый портной пьет лекарственный отвар, Ремонанк подумал, что не худо бы превратить простое недомогание в смертельную болезнь, а найти средство для этого ему помогла его скобяная торговля.

Как-то утром, когда он курил трубку, прислонясь спиной к двери своей лавки, и мечтал о роскошном магазине на бульваре Мадлен, где за кассой будет восседать расфуфыренная мадам Сибо, на глаза ему попалась медная покрывшаяся зеленью плашка. И тут его осенила мысль: а что, если помыть эту медяшку, окунув ее в отвар, которым поят Сибо. Ремонанк привязал медный кружок, величиной с монету в сто су, на веревочку и стал ежедневно навещать своего друга-приятеля портного в те часы, когда тетка Сибо хозяйничала у своих господ. Пока он сидел в швейцарской, медяшка мокла в отваре, а уходя, он вытягивал ее за веревочку. Легкая примесь окиси меди, которая в просторечье зовется зеленью, незаметно вводила в лекарственный отвар яд, но и в гомеопатических дозах она причиняла огромный вред больному. Эта злодейская гомеопатия принесла свои плоды: на третий день у бедняги Сибо начали лезть волосы, расшатались зубы, ибо даже такая незаметная доза яда нарушила правильную работу организма. Доктор Пулен недоумевал, как мог лекарственный отвар вызвать такие явления: он был знающий врач и сразу определил, что тут действует какое-то ядовитое вещество; потихоньку, без ведома супругов Сибо, унес он отвар и дома произвел анализ, но ничего не обнаружил. Случилось так, что в этот день Ремонанк, испугавшийся содеянного, не окунул зловредную медяшку в микстуру. Доктор Пулен, обманывая себя и науку, удовлетворился выводом, что от сидячей жизни у Сибо развилось злокачественное худосочие, ибо портной никуда не выходил

из своей каморки и вечно сидел, скрючившись в три погибели, на столе перед решетчатым окном, да к тому же еще постоянно дышал вредными испарениями зловонной канавы. Нормандская улица — одна из тех старых, плохо мощенных улиц, где парижский муниципалитет еще не поставил водоразборных колонок, где помои со всех домов стекают в грязные канавы, застаиваются там, просачиваются под мостовую и образуют ту особую грязь, которую не встретить нигде, кроме Парижа.

Сама тетка Сибо хлопотала по хозяйству, бегала по делам, а ее муж, неутомимый труженик, неподвижно, словно факир, сидел все перед тем же окном. Колени уже плохо разгибались, кровь застаивалась в груди; худые, искривленные ноги, можно сказать, отмирали за ненадобностью. И багровый цвет лица тоже естественно было объяснить давнишним недомоганием. Поэтому доктор Пулен счел здоровье жены и хворость мужа вполне закономерным явлением.

— Что же за болезнь у бедного моего Сибо? — спросила привратница у доктора.

— Голубушка,— ответил доктор,— ваш муж умирает от профессиональной болезни привратников... Он хиреет от злокачественного худосочия.

Возникшие было в душе доктора подозрения окончательно исчезли, ибо он никак не мог объяснить такое бесцельное, бесполезное, бессмысленное преступление. Кому понадобилось убивать Сибо? Жене? Доктор видел, как она пробовала отвар, когда подбавляла в него сахар. Довольно много преступлений остаются не отомщенными обществом; обычно это те преступления, после которых не обнаружено страшных улик: пролитой крови, следов удушения или ударов — словом, доказательств грубого насилия или неумелости преступника; это особенно верно относительно тех случаев, когда не видишь корыстного умысла в преступлении, а действующие лица принадлежат к низшим классам общества. Открыть преступление часто помогают ненависть и явная алчность, которые ему предшествуют и которые обычно трудно скрыть от окружающих. Но в данном случае дело касалось тщедушного портняжки, его жены и Ремонанка, и вряд ли кому-нибудь, кроме доктора, могло прийти в голову доискиваться причины смер-

ти. Жена обожала своего хворого мужа, денег у него не было, врагов тоже. Побуждения и страсть Ремонанка для всех были тайной, равно как и богатство, привалившее тетке Сибо. Доктор видел привратницу насквозь, он знал, что она способна извести Понса, но он не понимал, какой ей расчет идти на преступление, да и не считал ее достаточно решительной. Кроме того, она несколько раз при докторе сама пробовала отвар, которым поила мужа. Только Пулен мог бы пролить свет на это дело, но он подумал, что болезнь приняла какой-то неожиданный оборот, что это один из тех редких случаев, которые делают занятия медициной столь неверным ремеслом. И действительно, на свое несчастье, тщедушный портной так захирел от своего нездорового образа жизни, что даже самая незначительная примесь окиси меди могла оказаться для него смертельной. По разговорам кумушек и соседей тоже выходило, что ничего удивительного не будет, если Сибо неожиданно умрет, и потому на Ремонанка не могло пасть и тени подозрения.

— Ох,— вздыхал один сосед,— я уж давно говорил, что у Сибо здоровье никуда.

— Слишком много работал,— уверял другой,— вот и довел себя до злокачественного худосочия.

— Не слушался меня,— добавлял третий,— советовал я ему гулять по воскресеньям, не работать и по понедельникам, не вредно отдохнуть два дня в неделю.

Итак, молва всего квартала, молва-разоблачительница, к которой охотно прислушивается правосудие в лице полицейского комиссара, грозы низших классов, отлично объясняла смертельный недуг Сибо. Все же задумчивый вид и тревожный взгляд г-на Пулена очень смущали Ремонанка; поэтому-то, увидя доктора, направлявшегося к их дому, он услужливо предложил Шмуке сбегать за г-ном Троньоном, знакомым стряпчего Фрезье.

— Я вернусь к тому времени, когда будет составляться завещание,— шепнул Фрезье на ухо тетке Сибо,— и хоть у вас и большое горе, а все-таки вам надо быть начеку.

Неказистый стряпчий, исчезнувший словно тень, встретился на улице со своим приятелем—доктором.

— Эй, Пулен,— крикнул он,— дела идут отлично. Мы спасены!.. Сегодня вечером я тебе все объясню. Подумай, какое место ты бы желал занять, и считай, что оно уже за тобой. А я, можно сказать, уже мировой судья! Табаро не откажет мне, когда я посватаюсь к его дочери... Тебе же я берусь устроить брак с мадемуазель Витель, внучкой нашего мирового судьи.

Повергнув Пулена в недоумение своими возбужденными речами, Фрезье помчался дальше, резво прыгая по бульвару; он махнул омнибусу, и через десять минут сия современная карета подвезла его к улице Шуазель. Было около четырех часов, и Фрезье рассчитывал застать г-жу де Марвиль одну, так как обычно судейские возвращаются из присутствия после пяти часов.

Госпожа де Марвиль приняла Фрезье с любезностью, свидетельствовавшей о том, что г-н Лебеф, как и было им обещано г-же Ватинель, дал благоприятный отзыв о бывшем мантском поверенном. Амели постаралась его обворожить,— так в свое время старалась, вероятно, обворожить Жака Клемана герцогиня де Монпансье, ведь захудалый стряпчий был тем кинжалом, которым орудовала она. Когда же Фрезье показал совместное письмо Элиа Магюса и Ремонанка, в котором они предлагали приобрести оптом всю коллекцию Понса за девятьсот тысяч франков наличными, супруга председателя посмотрела на своего гостя взглядом, в котором золотом блеснула эта сумма. Поток разыгравшихся вожделений захлестнул стряпчего.

— Муж,— сказала г-жа де Марвиль,— поручил мне пригласить вас завтра к обеду; будут только свои: господин Годешаль — преемник господина Дероша, моего поверенного, потом Бертье — наш нотариус, и зять с дочерью... После обеда мы — вы, я, нотариус и поверенный — обсудим, как вы и хотели, наши дела, и я передам вам все полномочия. И господин Годешаль и господин Бертье, согласно высказанному вами желанию, будут неукоснительно следовать вашим указаниям и позаботятся, чтобы все прошло хорошо. Вы получите доверенность от господина де Марвиля, как только она вам потребуется..

— Она будет нужна в день кончины...

— Не беспокойтесь, все будет наготове.

— Сударыня, если я прошу дать мне доверенность, то лишь потому, что считаю нежелательным для себя, а главным образом для вас, появление вашего поверенного... Уж если я взялся за дело, то отдаюсь ему весь. Поэтому я прошу такого же беззаветного доверия со стороны моих покровителей — я не позволю себе назвать вас моими клиентами. Вы, может быть, подумаете, что я действую так, боясь упустить это дело из своих рук; нет, сударыня, нет! Но если обнаружится какой-либо факт, скажем, не совсем благовидный... вы понимаете, что под тяжестью наследства... особенно если это наследство в девятьсот тысяч франков... легко споткнуться... вам неудобно будет опорочить такого человека, как мэтр Годешаль, известного своей неподкупной честностью, но свалить всю вину на ничтожного стряпчего можно...

Госпожа де Марвиль в восхищении посмотрела на Фрезье.

— Вы взлетите очень высоко или падете очень низко,— сказала она.— На вашем месте я не стала бы домогаться такой богадельни, как должность мирового судьи, я бы метила в... мантские прокуроры! Надо выйти на торную дорогу.

— Не беспокойтесь, сударыня! Для господина Вителя должность мирового судьи — смирная пастырская лошадка, а для меня она станет боевым конем.

Таким образом, Фрезье сумел довести супругу председателя суда до полной откровенности.

— Мне кажется, что вы всей душой преданы нашим интересам,— сказала она,— и я могу поделиться с вами трудностями, которые мы в данный момент испытываем, и надеждами, которые лелеем. В ту пору, когда предполагался брак нашей дочери с одним интриганом, впоследствии ставшим банкиром, мой муж очень хотел округлить наше Марвильское имение, подкупив к нему луга, которые тогда продавались. Вам известно, что мы дали это великолепное поместье в приданое за дочерью, но, так как она у меня единственная, я очень хочу приобрести еще прилегающие луга. Частично эти угодья уже проданы, они принадлежат какому-то англичанину, который прожил двадцать лет у нас, а теперь собирается обратно в Англию; он построил очаровательный коттедж в живописном месте между марвильским парком

и лугами, прежде входившими в это же владение, и, чтоб разбить парк, скупил по бешеной цене ремизы, рощи, сады. Дом со службами, который весьма способствует красоте пейзажа, примыкает к ограде парка, принадлежащего моей дочери. Все эти угодья вместе со строениями можно было бы приобрести за семьсот тысяч франков, так как луга дают двадцать тысяч чистого дохода... Но если господин Уордмен прослышит, что покупатели — мы, он, несомненно, запросит на двести, триста тысяч больше, потому что это цена строений, при покупке же земли под пахоту и покосы строение не ценится ни во что.

— Сударыня, по моему разумению, вы можете считать, что наследство уже у вас в кармане, и поэтому я предлагаю вам себя в качестве подставного покупателя и ручаюсь, что приобрету землю по сходной цене, а с вами мы заключим частный договор, как это делается, когда имение приобретает скупщик. Я так и отрекомендуюсь англичанину. Эти дела я знаю, в Манте я на них напрактиковался. Контора Ватинеля стала приносить вдвое больше дохода, потому что я работал под его маркой.

— Ага, теперь я понимаю ваши отношения с мадам Ватинель... Верно, этот нотариус теперь очень богат?..

— Но госпожа Ватинель очень расточительна... Итак, будьте спокойны, сударыня, англичанина я беру на себя...

— Если это удастся, я буду вам вечно признательна. Прощайте, дорогой господин Фрезье. До завтра...

Фрезье поклонился г-же де Марвиль несколько менее угодливо, чем в прошлый раз, и вышел.

«Завтра я обедаю у председателя суда, господина де Марвиля! — повторял про себя Фрезье.— Ну, эта семья у меня в руках. Теперь, чтоб стать хозяином положения, надо бы через Табаро, судебного пристава при мировом суде, войти в доверие к этому немцу. Табаро не хочет отдать за меня дочь, она у него единственная... еще как отдаст, когда я буду мировым судьей. Конечно, мадемуазель Табаро — рыжая, да к тому же слабогрудая, но ей достался после матери дом на Королевской площади; значит, у меня будет избирательный ценз. Когда умрет отец, она получит еще шесть тысяч ливров ренты, не меньше. Правда, красотой она не блещет, но, господи бо-

же мой, переход от нуля к восемнадцати тысячам ренты столь приятен, что не будешь особенно приглядываться к мостику, по которому совершаешь этот переход!..»

Возвращаясь бульварами на Нормандскую улицу, Фрезье видел наяву золотые сны и тешился мыслью, что настал конец нужде; он обдумывал брак своего друга Пулена с мадемуазель Витель, дочерью мирового судьи. Мысленно он уже воображал себя и доктора царьками квартала, влияющими на городские, военные и политические выборы. Парижские бульвары кажутся очень короткими, когда тебя подгоняют честолюбивые мечты.

Поднявшись наверх, Шмуке сказал своему другу, что Сибо при смерти и что Ремонанк пошел за нотариусом Троньоном. Понса поразила эта фамилия, которую часто упоминала болтливая тетка Сибо, отзывавшаяся о Троньоне, как об образце честности. И больному, с сегодняшнего утра всюду видевшему подвох, пришла блестящая идея, завершавшая придуманный им план действия, целью которого было посрамить и окончательно разоблачить тетку Сибо в глазах доверчивого Шмуке.

— Шмуке,— сказал он, взяв за руку несчастного немца, совсем растерявшегося от стольких событий и новостей,— если привратник при смерти, в доме сейчас, наверное, полное смятение, мы на время свободны, то есть за нами не шпионят, потому что, будь уверен, за нами давно шпионят. Возьми кабриолет и поезжай в театр, скажи мадемуазель Элоизе, нашей прима-балерине, что перед смертью я хочу повидать ее, пусть она приедет в половине одиннадцатого, когда освободится. Оттуда отправляйся к твоим друзьям Швабу и Бруннеру и попроси их быть здесь завтра к девяти часам утра, пусть сделают вид, будто зашли по дороге справиться о моем здоровье, и подымутся к нам...

План, задуманный стариком музыкантом на смертном одре, заключался в следующем: он хотел обогатить Шмуке, сделав его своим единственным наследником, но в то же время избавить его от всяких кляуз, поэтому он решил продиктовать свою последнюю волю нотариусу в присутствии свидетелей, чтобы потом не могло возникнуть никаких сомнений относительно его умственных способностей и чтобы у семейства Камюзо не

было ни малейшего повода оспаривать завещание. Фамилия Троньона заставила его насторожиться, он решил, что придумана какая-то каверза, какой-то юридический подвох, предательство, исподволь подготовленное теткой Сибо, поэтому он решил воспользоваться услугами этого самого Троньона и в его присутствии собственной рукой написать завещание, а затем запечатать его и спрятать в ящик комода. Он был убежден, что тетка Сибо полезет в комод, распечатает завещание, прочтет его, а затем запечатает снова, и он рассчитывал, что Шмуке, спрятавшись в спальне, сможет собственными глазами убедиться, какова их привратница. Затем он собирался на следующий день в девять часов утра заменить завещание, написанное собственной рукой, другим, нотариальным, составленным по всем правилам закона и неоспоримым. Когда тетка Сибо стала уверять, будто он рехнулся и бредит, он понял, что это вторая г-жа де Марвиль, такая же злая, мстительная и жадная. За два месяца, что он пролежал в постели, бедняга в бессонные ночи и долгие часы одиночества мысленно перебирал все события своей жизни.

И древние и современные скульпторы часто помещали по обеим сторонам надгробия гениев с зажженными факелами. Пламя факелов, освещая умирающим дорогу смерти, в то же время освещает всю картину их ошибок и заблуждений. Здесь в произведении ваятеля выражена глубокая мысль, сформулировано некое реально существующее явление. В агонии есть своя мудрость. Не раз самые обыкновенные девушки, умиравшие в юном возрасте, поражали зрелостью своих суждений, предрекали будущее, здраво судили о своих родных и близких, не поддаваясь на обманы и притворства. В этом поэзия смерти. Но вот что странно и что заслуживает нашего внимания — люди умирают по-разному. Такая поэзия пророчества, такой дар проникновения, все равно в будущее или в прошлое, даны тем умирающим, у которых поражено только тело, которые гибнут от разрушения жизненно важных органов. Такое высшее просветление бывает у больных гангреной, подобно Людовику XIV, у чахоточных, у погибающих от горячки, как Понс, от желудочного заболевания, как г-жа де Морсоф, у солдат, умирающих в расцвете сил от ран, и в этих

случаях смерть достойна всяческого удивления. Люди же, умирающие от болезней, если можно так выразиться, умственных, когда поражен мозг, нервная система, которая служит посредником, снабжая мысль необходимым топливом, поставляемым телом, эти люди умирают целиком. У них и дух и плоть угасают одновременно. Первые — души, освободившиеся от бренной оболочки, они уподобляются ветхозаветным призракам; вторые — просто трупы. Слишком поздно постиг чистый сердцем, можно сказать, почти безгрешный праведник Понс, этот Катон во всем, кроме чревоугодия, что у г-жи де Марвиль вместо сердца желчный пузырь. Он понял, что такое свет, уже стоя на краю могилы. И за эти последние часы он с легким сердцем покорился своей участи, посмотрел на все глазами жизнерадостного художника, для которого все предлог к сатире, к насмешке. Сегодня утром были порваны последние нити, связывавшие его с жизнью, разбиты крепкие цепи, приковывавшие страстного знатока к его излюбленным шедеврам. Поняв, что тетка Сибо его обокрала, Понс смиренно простился с суетной пышностью искусства, с своим собранием, с любимыми творцами стольких шедевров, к которым был нежно привязан, и обратил все помыслы к смерти, по примеру наших предков, считавших смерть праздником для христианина. Нежно любя Шмуке, он хотел и после смерти быть его ангелом-хранителем. Вот эта-то отеческая забота и побудила его остановить свой выбор на прима-балерине, он искал поддержки, ибо трудно было надеяться, что его единственный наследник не станет жертвой происков окружающих.

Элоиза Бризту, прошедшая школу Женни Кадин и Жозефы, была из тех натур, которые остаются сами собой даже в ложном положении; она могла сыграть любую шутку с оплачивающими ее любовь обожателями, но товарищем была хорошим и не боялась начальствующих лиц, так как знала, что и у начальников бывают слабости, и привыкла сражаться с полицейскими на маскарадах и на балах в залах Мабиль, которые отнюдь нельзя назвать идиллическими развлечениями.

«Она тем более сочтет себя обязанной оказать мне услугу, что сунула на мое место своего протеже Гаранжо»,— подумал Понс.

Так как в швейцарской царила суматоха, Шмуке удалось проскользнуть незамеченным, он постарался вернуться как можно скорей, чтобы не оставлять Понса долго одного.

Господин Троньон пришел для составления завещания одновременно со Шмуке. Хотя Сибо и был при смерти, жена его поднялась наверх вслед за нотариусом, проводила его в спальню и вышла, оставив Шмуке, г-на Троньона и Понса одних; но она вооружилась ручным зеркальцем мудреной работы и остановилась за дверью, которую слегка приоткрыла. Так она могла не только слышать все, что говорится, но и видеть все, что происходит в эту решающую для нее минуту.

— Сударь,— начал Понс,— к сожалению, я в полном сознании, ибо чувствую, что скоро умру; смертные муки не минуют меня, такова, верно, господня воля!.. Позвольте представить вам господина Шмуке...

Нотариус поклонился.

— Это мой единственный друг на земле,— сказал Понс,— и я хочу сделать его своим единственным наследником; скажите, как нужно составить завещание, чтобы никто не мог его оспорить, ибо мой друг — немец и ничего не смыслит в наших законах.

— Сударь, оспаривать можно всегда и все,— заметил нотариус.— В этом и заключается неудобство человеческого правосудия. Но есть неоспоримые завещания...

— Какие же? — спросил Понс.

— Нотариальное завещание, составленное в присутствии свидетелей, которые удостоверят, что завещатель был в здравом уме и твердой памяти, и если у завещателя нет ни жены, ни детей, ни отца, ни братьев...

— У меня нет никого, всю свою любовь я сосредоточил вот на нем, на моем дорогом друге...

Шмуке молча плакал.

— Итак, если у вас только дальние родственники по боковой линии, закон предоставляет вам право свободно распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом, и если вы завещаете его не на условиях, осуждаемых моралью (ибо мы знаем такие завещания, которые оспаривались из-за странностей завещателя), то нотариальное завещание не может оспариваться. Действительно, личность завещателя удостоверена, нотариус

констатировал состояние его рассудка, подпись не вызывает никаких сомнений... Однако завещание, написанное собственной рукой завещателя четко и согласно установленной форме, тоже вряд ли может оспариваться.

— По некоторым соображениям, я решил собственноручно написать завещание под вашу диктовку и вручить его моему другу, который здесь присутствует... Так можно?

— Вполне! — сказал нотариус.— Угодно вам писать? Я буду диктовать...

— Шмуке, дай сюда мой письменный прибор Буль. Сударь, прошу вас диктовать мне вполголоса, возможно, что нас подслушивают.

— Итак, прежде всего скажите мне, какова ваша воля? — спросил нотариус.

Через десять минут тетка Сибо, которую Понс заметил в зеркало, увидела, как нотариус перечитал завещание, пока Шмуке зажигал свечу, а затем запечатал его; Понс отдал завещание Шмуке, наказав запереть его в потайном ящичке секретера. Завещатель попросил ключ от секретера, завязал его в уголок носового платка и спрятал платок под подушку. Нотариус, которого Понс из вежливости сделал душеприказчиком и которому завещал ценную картину, ибо закон не запрещает нотариусам принимать такие подарки, выйдя из спальни, наткнулся в гостиной на тетку Сибо.

— Ну, как, сударь, господин Понс не забыл меня?

— Где же это, голубушка, видно, чтобы нотариус выдавал доверенную ему тайну,— ответил г-н Троньон.— Одно могу вам сказать: корыстолюбивые планы многих будут расстроены и надежды их обмануты. Господин Понс составил прекрасное, разумное завещание, завещание, достойное патриота, которое я вполне одобряю.

Даже и представить себе нельзя, как разыгралось от этих слов любопытство тетки Сибо. Она сошла вниз и провела ночь у постели мужа, но твердо решила в третьем часу оставить около больного сестру Ремонанка, а самой подняться наверх и прочитать завещание.

Приход мадемуазель Элоизы Бризту в половине одиннадцатого ночи не вызвал подозрений у тетки Сибо. Но она очень боялась, что танцовщица упомянет о тыся-

че франков, которую дал Годиссар, и потому с почетом, как знатную особу, проводила прима-балерину наверх, рассыпаясь в любезностях и льстивых уверениях.

— Да, милочка, здесь вы куда больше к месту, чем в театре,— сказала Элоиза, подымаясь по лестнице.— Советую вам не выходить из своего амплуа!

Элоиза, которая приехала в карете вместе со своим другом сердца Бисиу, была в роскошном наряде, так как собиралась на вечер к Мариетте, одной из самых известных примадонн театра Оперы. Жилец со второго этажа, г-н Шапуло, владелец позументной торговли на улице Сен-Дени, возвращавшийся с женой и дочерью из «Амбигю-Комик», был ослеплен, так же как и его супруга, красотой и нарядом особы, с которой они повстречались на лестнице.

— Кто это, мадам Сибо? — спросила г-жа Шапуло.

— Да так, нестоящая плясунья... Заплатите сорок су и хоть каждый вечер любуйтесь, как она в полуголом виде перед публикой ломается,— шепнула тетка Сибо на ухо бывшей лавочнице.

— Викторина, ангел мой, посторонись, дай пройти даме,— сказала г-жа Шапуло дочери.

Элоиза правильно истолковала возглас испуганной мамаши и повернулась к ней.

— Сударыня, ежели ваша дочь не спичка, она не воспламенится, потершись об меня.

Самого г-на Шапуло Элоиза подарила взглядом и приятной улыбкой.

— Ей-богу, она очень красива и не на сцене,— заметил г-н Шапуло, задержавшись на площадке.

Супруга так ущипнула его, что он чуть не вскрикнул, и втолкнула в квартиру.

— У вас третий этаж почище, чем у людей пятый,— сказала Элоиза,— никак не долезешь.

— Ну, лезть-то вам дело привычное,— съязвила тетка Сибо, открывая дверь в квартиру к Понсу.

— Что же это, голубчик, вы себя так плохо ведете? — воскликнула Элоиза, входя в спальню, где старый музыкант лежал на кровати, бледный и исхудавший.— В театре беспокоятся. Но, знаете, у всех дела, и при всем желании не выберешь минутки навестить друзей. Годиссар каждый день собирается, а потом как

пойдут с утра всякие неприятности по театру... Но мы все вас любим...

— Мадам Сибо, будьте добры, оставьте нас,— сказал больной,— нам надо поговорить о театре, о месте капельмейстера, которое я занимал... Шмуке проводит мою гостью.

Понс кивнул Шмуке, и тот выставил тетку Сибо из комнаты и запер дверь.

«Вот чертов немец, и он туда же!..— подумала она, услышав, как многозначительно щелкнула задвижка.— Уж конечно, это господин Понс его подучил... Ну, вы мне за это заплатите, голубчики...— утешала себя тетка Сибо, спускаясь по лестнице.— Ладно, если эта плясунья упомянет про тысячу франков, я скажу, что это театральные штучки».

И она уселась у изголовья Сибо, который жаловался, что у него все внутри огнем жжет: Ремонанк, воспользовавшись отсутствием жены, дал ему попить отвару.

— Прелесть моя,— сказал Понс танцовщице, в то время как Шмуке выпроваживал тетку Сибо,— я верю только вам и потому прошу вас найти мне честного нотариуса, который мог бы завтра утром ровно в половине десятого прийти сюда для составления завещания. Я хочу оставить все, что имею, моему другу Шмуке и рассчитываю, что нотариус поможет своим советом моему бедному немцу, если его начнут донимать. Вот почему мне нужно, чтобы нотариус был человеком всеми уважаемым, очень богатым, чтобы он стоял выше всяких соображений, которые заставляют служителей закона поступаться совестью,— бедный мой наследник должен найти в нем верного защитника. Бертье, преемнику Кардо, я не доверяю, а у вас такое обширное знакомство...

— Есть у меня один на примете! — воскликнула танцовщица.— Нотариус Флорины и графини дю Брюэль — Леопольд Аннекен, человек добродетельный, он даже не знает, что такое лоретка! Настоящий папаша, посланный нам судьбой, прекрасный человек, он не позволяет нам тратить на глупости наши же денежки, я так его и называю — кордебалетный папаша, ведь он всех моих подружек научил бережливости. Прежде всего, дорогой мой, у него шестьдесят тысяч ренты, сверх конторы. Потом таких нотариусов, как он, теперь и нет!

Всем нотариусам нотариус. Идет — сразу скажешь: нотариус, спит — то же самое: нотариус. И детей он, верно, наплодил сплошь одних нотариусят... Конечно, человек он тяжелый и педант; но зато во время исполнения обязанностей ни перед каким начальством не спасует. Никогда у него не было мимолетных «бабочек», такой муж — ископаемое! Жена его обожает и никогда не обманывает, хотя она и жена нотариуса... Лучше нотариуса во всем Париже не сыщешь. Патриарх, да и только! Он не такой проказник и шутник, каким бывал Кардо с Малагой, но он и не сбежит, как тот мозгляк, что жил с Антонией! Я пришлю его завтра в восемь часов... Можешь спать спокойно. Впрочем, я надеюсь, что ты еще встанешь и сочинишь для нас хорошую музыку; но, знаешь, жизнь пошла—одна грусть! Антрепренеры зажимают, короли прижимают, министры нажимают, богачи ужимают... У артистов здесь больше ничего нет!—сказала она, ударив себя в грудь.— Такое время пришло, хоть ложись и умирай... Будь здоров, старик!

— Я очень прошу тебя, Элоиза, никому ни слова.

— Это дело не касается театра,— сказала она,— значит, для артиста оно священно.

— При ком ты теперь, прелесть моя?

— При мэре твоего округа, господине Бодуайе, таком же дураке, как и покойный Кревель. Знаешь, ведь Кревель, годиссаровский пайщик, умер несколько дней тому назад и ничего мне не оставил — даже баночки помады. Не зря я ругаю наш век.

— Отчего он умер?

— От жены!.. Не уйди он от меня, он бы еще жил! Ну, прощай, старичок! Завела я с тобой какие-то могильные разговоры, а все потому, что, ей-богу, через две недели ты уже будешь гулять по бульвару и высматривать всякие вещицы; совсем ты не болен, ишь какие у тебя живые глаза...

И танцовщица ушла, теперь уже в полной уверенности, что ее протеже Гаранжо крепко держит в руках дирижерскую палочку. Гаранжо приходился ей двоюродным братом. Когда прима-балерина спускалась по лестнице, все двери были приоткрыты и все жильцы высунули носы. Визит Элоизы Бризту был целым событием.

Фрезье ни на шаг не отходил от тетки Сибо, как бульдог, вцепившийся в кость мертвой хваткой, и когда танцовщица сошла вниз и попросила, чтоб ей отперли дверь, он был тут как тут. Он знал, что завещание составлено, и хотел выпытать, каковы намерения привратницы, так как и ему тоже нотариус Троньон наотрез отказался сообщить что-нибудь о завещании. Вполне понятно, что Фрезье внимательно осмотрел танцовщицу и дал себе слово извлечь пользу из этого визита inextremis [1].

— Голубушка мадам Сибо,— сказал он,— для вас настала решительная минута.

— Да, да,— отозвалась она,— бедный мой Сибо!.. Как подумаю, что он уже не попользуется деньгами, которые я, может, и получу...

— Надо выяснить, отказал ли вам что-нибудь господин Понс; словом, упомянул ли он вас в духовной, или позабыл,— твердил свое Фрезье.— Я представляю интересы его законных наследников, и в любом случае вы можете получить деньги только через них... Завещание написано им собственноручно, значит, к нему легко придраться... Вы видели, куда он его спрятал?

— В секретер, в потайной ящик и ключик взял к себе,— ответила она,— завязал его в уголок платка, а платок спрятал под подушку... Я все видела.

— Завещание запечатано?

— В том-то и дело, что запечатано.

— Выкрасть и уничтожить завещание — это, конечно, преступление, ну, а взглянуть на него одним глазком — это просто известное нарушение закона, не грех, а, так сказать, грешок, ведь свидетелей нет! Спит-то он крепко?

— Крепко-то крепко, а вот проснулся, когда вы все у него осматривали и оценивали, а я думала, спит как убитый... Посмотрю, может быть, и устрою! Около четырех я пойду будить господина Шмуке, вот тогда и приходите наверх, достану вам завещание минут на десять...

— Хорошо! Около четырех я встану и тихонечко постучу.

— Сестра Ремонанка сменит меня у постели мужа,

---

[1] В предсмертный час *(лат.)*.

я ее предупрежу, она вас пустит, только стучите в окно, а то всех перебудите.

— Хорошо,— сказал Фрезье.— Свет у вас есть? Свечки с меня хватит...

В полночь бедный немец сидел в кресле и с глубокой скорбью смотрел на Понса, на его изменившееся от стольких страданий, осунувшееся, как у покойника, лицо; казалось, он вот-вот испустит дух.

— Думаю, у меня хватит сил дотянуть до завтрашнего вечера,— с философским спокойствием сказал Понс.— Агония наступит, вероятно, завтра ночью. Как только уйдут нотариус и твои друзья, ступай за аббатом Дюпланти, настоятелем церкви святого Франциска. Наш достойный пастырь не знает, что я болен. Завтра в полдень я хочу приобщиться святых тайн.

Наступило долгое молчание.

— Господь бог не послал мне такую жизнь, как мне хотелось,— продолжал Понс.— Я так мечтал о жене, детях, семье! Любящая семья, что может быть лучше! Правда, жизнь всем не в радость, я знал людей, которым дано было то, о чем я напрасно мечтал, и все-таки они не были счастливы... В конце дней моих бог неожиданно послал мне утешение — одарил таким другом, как ты! В одном я себя не могу упрекнуть, что не понял, не оценил твоей дружбы, добрый мой Шмуке; я отдал тебе свое сердце и всю силу своей любви... Не плачь, Шмуке, а то мне придется замолчать, а для меня так отрадно говорить с тобой о нас двоих... Если бы я тебя послушался, я бы еще пожил. Надо было расстаться со светом и моими привычками, тогда свет не нанес бы мне таких смертельных ран. Сейчас я хочу поговорить только о тебе.

— *Ти не прав...*

— Не спорь, не прерывай меня, душа моя. Ты бесхитростен и доверчив, как малое дитя, живущее под материнским крылышком, это достойно всяческого уважения. Думаю, что господь бог хранит таких, как ты. Но люди злы, и я должен тебя предостеречь. Итак, скоро ты скажешь «прости» благородной доверчивости, святой простоте, украшению чистых душ, свойственному только гениям и бесхитростным людям вроде тебя... Ты сейчас увидишь, как мадам Сибо, которая подсматривала в щел-

ку, приоткроет двери, возьмет завещание, составленное для отвода глаз. Полагаю, что она, мерзавка, займется этим делом сегодня на рассвете, считая, что ты заснул. Слушай меня внимательно и в точности следуй моим указаниям... Слышишь? — спросил больной.

Шмуке, подавленный горем, почувствовал страшное сердцебиение и почти без чувств склонился на спинку кресла.

— *Слишу, слишу, но так, будто ти за двести шагов от менья... Мне кашется, што я тоше вместе с тобой схошу в могилю!* — сказал немец, изнемогая от горя.

Он подошел к Понсу, взял обеими руками его руку и мысленно вознес к небу горячую молитву.

— Что ты там бормочешь по-немецки?

— *Я прозиль господь бог призвать нас к зебе вместе!* — просто ответил Шмуке, окончив молитву.

Понс приподнялся и тут же почувствовал невыносимую боль в печени. Он дотянулся до Шмуке и поцеловал его в лоб, от всей души благословляя этого агнца, возлежащего у ног господних.

— Шмуке, душа моя, слушай меня, волю умирающего надо исполнять.

— *Я буду слюшать.*

— Твоя спальня сообщается с моей через дверцу алькова, которая ведет в каморку.

— *Но возле двери отшень много картини.*

— Не мешкая, разгороди дверь, только не шуми.

— *Хорошо...*

— Освободи проход с двух сторон, от тебя и от меня; потом оставь щелку в своей двери. Когда тетка Сибо сменит тебя у моей постели (сегодня она может прийти на час раньше), ты, как всегда, пойдешь спать, притворись очень усталым, словно ты едва преодолеваешь сон... Как только она усядется в кресло, пройди через твою дверцу в каморку, приподыми кисейную занавесочку на застекленной двери и наблюдай за тем, что произойдет... Понимаешь?

— *Я поняль: ти думаешь, что это тшудовишше будет зашигать завешшание...*

— Не знаю, что она сделает, но я уверен, что ты больше не будешь считать ее ангелом. А теперь поиграй мне, порадуй меня своей импровизацией... Твои мело-

дии отвлекут тебя от черных мыслей и озарят эту грустную для меня ночь поэзией...

Шмуке сел за фортепьяно, и через минуту музыкальное вдохновение, зажженное горем и душевным трепетом, охватило доброго немца и, как всегда, унесло в другие миры. Сами собой возникали небесные мелодии, разукрашенные вариациями, которые он исполнял то с рафаэлевским совершенством Шопена, то с дантовским порывом и мощью Листа — этих двух музыкальных натур, ближе всего стоящих к Паганини. Исполнение, достигшее такой степени совершенства, поднимает пианиста до поэта; для композитора исполнитель то же, что актер для драматурга,— божественный истолкователь божественного произведения. Но в эту ночь, когда Шмуке еще здесь, на земле, услаждал слух Понса райскими мелодиями, той сладостной музыкой, услышав которую святая Цецилия выронила из рук лютню, в эту ночь Шмуке был одновременно и Бетховеном и Паганини, творцом и истолкователем! Торжественная, как небеса, под куполом которых поет соловей, бесконечно разнообразная, как густолиственные рощи, которые он оглашает своими трелями, неистощимая, как соловьиная песня, лилась мелодия; Шмуке превзошел себя, и больной внимал ему с тем упоением, которое запечатлено Рафаэлем на картине, хранящейся в Болонье. Очарование было нарушено резким звонком. Нижние жильцы прислали прислугу попросить Шмуке «прекратить этот содом». Хозяин, хозяйка и барышня проснулись, не могут больше заснуть и велели передать, что для музыкальных упражнений хватит и дня, а бренчать на рояле по ночам, если живешь в квартале Марэ, не полагается... Было около трех часов утра. В половине четвертого появилась привратница, как это и предвидел Понс, словно подслушавший совещание Фрезье с теткой Сибо. Больной многозначительно посмотрел на Шмуке, как бы говоря: «Видишь, я не ошибся!» — и притворился, будто крепко спит.

Мы сплошь и рядом попадаемся на детские хитрости, веря в невинность детского ума, так и тетка Сибо твердо верила в душевную простоту Шмуке и никак не могла заподозрить его во лжи, когда он, подойдя к ней, сказал с усталым и довольным видом:

— *Он провель ушасную ночшь, он биль в безумном*

возбуштении, штоб его успокоить, я сель за пьяно, а шильцы со второго эташа прислали прислюга, штоб я замольтшаль!.. Как ушасно, я ше играль для спасения друга. Я проиграль всю ноштшь и теперь просто падаю от устальости.

— Бедняжка Сибо тоже очень плох, еще один такой день, как вчера,— и ему конец... Что поделаешь! Божья воля!

— *У вас такое тшистое зердце, такая светлая душа, што если будет умирать Зибо, ми возьмем вас к зебе,*— схитрил Шмуке.

Когда простодушные, чистосердечные люди начинают хитрить, они становятся опасны, совершенно так же как дети, которые не уступают в изобретательности дикарям, когда расставляют нам ловушки.

— Ну, ступайте спать, золотце мое! — сказала тетка Сибо.— Глаза у вас просто слипаются от усталости, сколько вы их ни таращите. Да, одно только и могло бы меня утешить после потери Сибо — надежда дожить свой век с таким хорошим старичком, как вы. Будьте спокойны, я эту мадам Шапуло отчитаю... Где это видано, чтобы бывшая лавочница так зазнавалась?

Шмуке занял заранее подготовленный наблюдательный пост.

Тетка Сибо не закрыла входную дверь, и после того как Шмуке удалился к себе в спальню, вошел Фрезье и осторожно притворил дверь. Адвокат запасся зажженной свечой и тоненькой латунной проволочкой, чтобы вскрыть конверт. Вытащить из-под подушки у Понса платок, в который был завязан ключик от секретера, не составило особой трудности, тем паче что больной нарочно высунул кончик платка, а сам, чтоб облегчить тетке Сибо ее задачу, повернулся лицом к стене и предоставил ей полную свободу действий. Тетка Сибо пошла прямо к секретеру, бесшумно открыла его, нажала пружинку потайного ящичка и, схватив завещание, побежала в гостиную. Последнее обстоятельство чрезвычайно заинтриговало Понса. А Шмуке дрожал с ног до головы, словно он сам совершил преступление.

— Ступайте в спальню,— сказал Фрезье, взяв от тетки Сибо завещание,—если он, не дай бог, проснется, надо, чтоб вы были на своем посту.

Распечатав конверт с искусством, свидетельствовавшим, что он делает это не в первый раз, Фрезье с чрезвычайным изумлением прочитал следующий любопытный документ:

«Мое завещание.

Сего дня, пятнадцатого апреля тысяча восемьсот сорок пятого года, будучи в здравом уме, как это явствует из завещания, составленного совместно с нотариусом господином Троньоном, и чувствуя, что должен скоро умереть от болезни, которой хвораю с первых дней февраля месяца сего года, я счел себя обязанным распорядиться своим имуществом и выразить свою последнюю волю.

Я не раз задумывался над тем, какое пагубное воздействие оказывают различные неблагоприятные условия на мастерские произведения живописного искусства. Меня всегда огорчало то обстоятельство, что прекрасные полотна кочуют из страны в страну, а не оставляются на одном месте, где бы они были доступны для осмотра любителям искусств. Мне всегда казалось, что бессмертные творения великих мастеров должны быть национальным достоянием, доступным для обозрения всем народам, как солнечный свет, величайшее благо господа бога, которым равно пользуются все его чада.

Так как я потратил свою жизнь на коллекционирование и отбор картин, являющихся прославленными произведениями великих мастеров, так как эти картины — подлинники, не подрисованные и не реставрированные, меня весьма огорчала та мысль, что полотна, которые радовали меня всю мою жизнь, могут пойти с аукциона; одни, возможно, уплывут к англичанам, другие — в Россию, разойдутся по всему миру, как это и было до тех пор, пока они не собрались у меня; и посему я решил уберечь от этих невзгод и картины и великолепные рамы, в которые они вставлены и которые все принадлежат искусным мастерам.

Итак, по вышеизложенным причинам, я завещаю его величеству королю для Луврского музея свое собрание картин, с одним условием,— разумеется, ежели будет изъявлено согласие принять наследство,— назначить моему другу Вильгельму Шмуке пожизненную ренту в две тысячи четыреста франков.

Ежели король, как лицо, пользующееся доходами с Лувра, не соизволит принять наследство на таких условиях, вышеупомянутые картины унаследует мой друг Шмуке, которому я завещаю все свое имущество с условием, чтобы он отдал «Голову обезьяны» Гойи моему родственнику, председателю суда Камюзо; картину Абраама Миньона «Цветы», изображающую тюльпаны,—нотариусу господину Троньону, которого я назначаю своим душеприказчиком, и чтобы он выплачивал пенсию в двести франков мадам Сибо, которая десять лет служила у меня.

Кроме того, мой друг Шмуке передаст рубенсовское «Снятие со креста» — эскиз к знаменитому антверпенскому полотну — нашему приходу для украшения церкви в знак признательности за доброту настоятеля церкви аббата Дюпланти, благодаря которому я могу умереть спокойно, как христианин и добрый католик, и т. д.».

«Ведь это же катастрофа! — подумал Фрезье.— Гибель всех моих надежд! Да, теперь я начинаю понимать, что имела в виду супруга председателя суда, говоря о вероломстве этого старика!..»

— Ну что? — спросила подошедшая тетка Сибо.

— Ваш хозяин — изверг, он отказал все музею, государству. Нельзя же затевать тяжбу с государством!.. К завещанию не придерешься. Нас обокрали, разорили, ограбили, без ножа зарезали...

— А что он оставил мне?

— Двести франков пожизненной пенсии...

— Расщедрился!.. Ну и подлец!

— Ступайте поглядите, как там ваш подлец,— сказал Фрезье,— а я тем временем вложу завещание обратно в конверт.

Как только привратница повернулась к Фрезье спиной, он быстро подменил завещание листом чистой бумаги, а настоящее завещание положил себе в карман; затем снова запечатал конверт с большим искусством, а когда тетка Сибо воротилась, показал ей печать и спросил, может ли она обнаружить хоть малейший намек на проделанную им операцию. Тетка Сибо взяла конверт, пощупала его, убедилась, что он не пустой, и глубоко вздохнула. Она надеялась, что Фрезье догадается сжечь роковой документ.

— Так что ж теперь делать, дорогой господин Фрезье? — спросила она.

— Ну, это не моя забота! Я не наследник, но если бы у меня были хоть малейшие права вот на это,— заметил он, указывая на коллекцию,— я бы знал, что мне делать...

— Да ведь я ж об этом и спрашиваю...— довольно глупо заметила тетка Сибо.

— Камин топится...—ответил он, идя к выходу.

— Правда, только мы с вами и будем знать!..— сказала привратница.

— Кто может доказать, что завещание существовало? — продолжал стряпчий.

— А вы?

— Я?.. Если господин Понс умрет без завещания, я вам гарантирую сто тысяч франков.

— Это мы слышали! — сказала она.— Наобещают с три короба, а когда получат свое и надо расплачиваться, тут каждый норовит тебя ободрать, вот и...

Она вовремя прикусила язык, так как чуть-чуть не проболталась про Элиа Магюса.

— Ну, я бегу! — сказал Фрезье.— В ваших же интересах, чтоб меня здесь, в этой квартире, не видели. Я подожду вас внизу, около швейцарской.

Заперев дверь, тетка Сибо вернулась, держа в руке завещание, которое твердо решила бросить в огонь; но, когда уже в спальне она подошла к камину, она вдруг почувствовала, что ее крепко схватили за обе руки... Она очутилась между Понсом и Шмуке, которые, прижавшись к стенке по обе стороны двери, поджидали ее появления.

— А! — вскрикнула гетка Сибо.

Она упала ничком и забилась в судорогах, то ли настоящих, то ли притворных,— это осталось невыясненным. Эта картина так потрясла Понса, что он почувствовал смертельную слабость, и Шмуке, бросив тетку Сибо, лежавшую на полу, стал укладывать Понса в постель. Оба друга дрожали, словно действовали, выполняя чужую жестокую волю, превышавшую их слабые силы. Когда Шмуке уложил Понса в постель и немного оправился, он услышал рыдания. Тетка Сибо, стоя на коленях и заливаясь горькими слезами, с выразительной мимикой умоляюще протягивала руки к своим хозяевам.

— Всему виной любопытство,— заговорила она, увидя, что оба друга смотрят на нее,— дорогой господин Понс! Вы знаете, этим все женщины грешат. Но сколько я ни вертела завещание, а прочесть не смогла, вот я и принесла его обратно!..

— *Ступайте вон!* — сказал Шмуке, подымаясь во всем величии своего великого негодования.— *Ви есть зльодейка! Ви хотель уморить моего бедного Понса. Он прав, ви больше тшем зльодейка, ви исшадие ада!*

Тетка Сибо, увидя ужас, изобразившийся на лице бесхитростного немца, поднялась с колен, бросила на Шмуке достойный Тартюфа, высокомерный взгляд, от которого бедный немец содрогнулся, и вышла; под юбкой она успела вынести очаровательную картинку Метсу, которой долго любовался Магюс, назвавший ее «настоящей жемчужиной». В швейцарской тетку Сибо ждал Фрезье, надеявшийся, что она уже сожгла конверт с листом чистой бумаги, который он туда подсунул на место завещания; испуганное и расстроенное лицо привратницы очень его удивило.

— Что случилось?

— Случилось то, дорогой господин Фрезье, что из-за ваших добрых советов и наставлений я навсегда потеряла и пенсию и доверие *моих господ*...

И она отдалась волне красноречия, в котором не знала соперников.

— Не болтайте зря,— сухо заметил Фрезье, остановив свою доверительницу.— В чем же дело? Да не мямлите вы так!

— Ну, так вот в чем дело!

И она рассказала только что разыгравшуюся сцену.

— Из-за меня вы ничего не потеряли,— ответил Фрезье.— Раз ваши господа расставили вам такую ловушку, значит, они оба сомневались в вашей честности. Они вас поджидали, они следили за вами!.. Вы что-то не договариваете,— прибавил он, бросив на нее хищный, как у тигра, взгляд.

— Чтобы я да что-нибудь от вас утаила... После всего, что мы вместе делали! — возразила тетка Сибо, содрогнувшись.

— Я-то, голубушка, ничего предосудительного не

сделал! — сказал Фрезье, явно отрекаясь от ночного визита на квартиру к Понсу.

Тетка Сибо почувствовала, что волосы как огнем жгут ей голову, а самое ее охватил смертельный холод.

— Как же так? — пробормотала она, растерявшись.

— Вот вам одно преступление и готово!.. Вас могут обвинить в изъятии завещания,— холодно заявил Фрезье.

Тетка Сибо в ужасе отшатнулась.

— Успокойтесь, у вас есть советчик,— продолжал он.— Я хотел только показать вам, как легко тем или иным способом осуществить то, о чем я вам говорил. А ну-ка, что же такое вы выкинули, раз уж этот простак немец решил без вашего ведома спрятаться в спальне?

— Ничего, это все со вчерашнего разговора, когда я уверяла господина Понса, что у него было *помрачнение* рассудка. С того самого дня их обоих как подменили. Вот и выходит, что вы причина всех моих бед. Пусть господин Понс отбился от рук, ну а уж за немца я могла голову дать на отсечение, он на мне жениться хотел или взять к себе, а это одно на одно выходит!

Этот довод был так правдоподобен, что Фрезье пришлось им удовлетвориться.

— Не бойтесь ничего,— сказал он,— я обещал, что рента вам будет, и сдержу свое слово. До сих пор насчет завещания мы могли только строить догадки, теперь же тут пахнет большими деньгами: вы получите не меньше тысячи двухсот франков пожизненной ренты... Но надо, голубушка мадам Сибо, меня слушаться и с умом выполнять все мои приказания.

— Буду, дорогой господин Фрезье,— с рабской готовностью согласилась окончательно укрощенная привратница.

— Итак, прощайте,— сказал Фрезье, выходя из швейцарской и унося с собой спасное завещание.

Он вернулся домой в веселом настроении: в его руках было страшное орудие — завещание Понса.

«У меня,— думал он,— есть теперь козырь на тот случай, если супруга председателя суда окажется недобросовестной. Пусть только не сдержит слова, и наследства ей не видать».

Рано утром Ремонанк, открыв лавку и оставив ее под присмотром сестры, пошел проведать своего дорого-

го дружка Сибо, что за последние дни вошло у него в привычку, и застал привратницу за разглядыванием картины Метсу, которую она вертела в руках, недоумевая, как может стоить таких денег крашеная дощечка.

— Ага,— сказал гость, заглядывая через плечо тетки Сибо,— господин Магюс эту картинку поминал, все жалел, что она ему не досталась, «если бы, говорит, еще эту штучку заполучить, ничего больше и не надо бы».

— А что он за нее может заплатить? — спросила тетка Сибо.

— Ну, если вы дадите мне слово, как овдовеете, выйти за меня замуж,— ответил Ремонанк,— я берусь получить за нее с Элиа Магюса двадцать тысяч франков, если же вы не выйдете за меня замуж, вы ее нипочем больше как за тысячу не продадите.

— Это почему?

— А потому, что вам придется поставить под квитанцией свою подпись, как владелицы, а тогда наследники затеют с вами тяжбу. А если вы станете моей женой, то я сам продам ее господину Магюсу, а с торговца, кроме записи в торговых книгах, ничего не требуется, вот я и запишу, что купил ее у господина Шмуке. Давайте поставим эту доску ко мне... Если ваш муж умрет, как бы не начались всякие придирки, а что картина у меня — никому не покажется странным... Вы меня знаете. Да, если хотите, я могу вам расписочку выдать.

Алчная привратница, пойманная с поличным, согласилась на это предложение, тем самым навсегда связав свою судьбу с овернцем.

— Вы правы, принесите расписку,— согласилась она, убирая картину в комод.

— Соседка,— сказал торговец шепотом, уводя тетку Сибо к дверям,— по всему видно, что нам не спасти беднягу Сибо. Доктор Пулен уже вчера вечером потерял всякую надежду и сказал, что он и дня не протянет... Это большое горе! Но в конце концов швейцарская — не по вас место... Вам место в роскошном антикварном магазине на бульваре Капуцинок. Знаете, за десять лет я наторговал тысяч на сто, и вот, ежели вы получите столько же, я обещаю вам, что мы сколотим хороший капиталец... Выходите-ка за меня замуж... Заживете барыней... сестра будет вести хозяйство и угождать вам, и...

Речь соблазнителя была прервана жалобными стонами портного, у которого началась агония.

— Уходите,— сказала тетка Сибо.— Аспид этакий, о чем со мной говорит, когда бедный мой муж так перед смертью мается.

— Да ведь я же вас люблю,— сказал Ремонанк,— все ради вас позабыть готов...

— Если бы вы меня любили, вы бы в такую минуту не приставали ко мне с разговорами,— возразила она.

И Ремонанк ушел домой в полной уверенности, что женится на тетке Сибо.

Около десяти часов у парадного собрался народ,— Сибо причащался перед смертью. Его приятели, привратники и привратницы с Нормандской улицы и со всего квартала, толпились в швейцарской, в парадном и на улице. Никто не обратил внимания ни на г-на Леопольда Аннекена, пришедшего с своим помощником, ни на Шваба и Бруннера, которые поднялись к Понсу, не замеченные теткой Сибо. Привратница соседнего дома, когда нотариус обратился к ней, чтоб узнать, на каком этаже проживает Понс, указала ему квартиру. А Бруннер, пришедший вместе со Швабом, бывал здесь раньше, когда осматривал музей Понса, и теперь, никого не спрашивая, поднялся наверх, а за ним последовал и его компаньон... Понс с соблюдением всех формальностей отменил предыдущее завещание и сделал своим единственным наследником Шмуке. Когда с официальной стороной дела было покончено, Понс поблагодарил Шваба и Бруннера, затем обратился к господину Аннекену с горячей просьбой не оставлять своими советами Шмуке; тут больной впал в чрезвычайную слабость,— слишком много душевных сил потребовала от него ночная сцена с теткой Сибо и выполнение последнего житейского долга; Шмуке, заметив, в каком состоянии Понс, попросил Шваба сходить за аббатом Дюпланти, ибо сам не хотел отходить от постели друга, а больной желал причаститься перед смертью.

Тетка Сибо сидела около мужа и не приготовила завтрака г-ну Шмуке, тем более что оба друга выставили ее за дверь; да Шмуке и не чувствовал голода, он был совершенно убит событиями этого утра и смирением Понса, который мужественно глядел смерти в глаза.

Однако во втором часу, не видя старого немца, привратница столько же из любопытства, сколько и из корыстных побуждений попросила сестру Ремонанка сходить узнать, не нужно ли чего г-ну Шмуке. Аббат Дюпланти как раз соборовал умирающего музыканта, которого только что отисповедовал. Итак, священнодействие было нарушено трезвоном, поднятым сестрой Ремонанка, тщетно дергавшей звонок. Понс, боясь, как бы его опять не ограбили, взял со Шмуке клятвенное обещание никого не впускать, поэтому-то Шмуке и не вышел на неоднократные звонки мадемуазель Ремонанк, которая вернулась в швейцарскую совсем перепуганная и доложила тетке Сибо, что немец не открывает. Фрезье сейчас же учел это обстоятельство: Шмуке, впервые присутствовавшему при смерти близкого человека, несомненно, предстояло столкнуться со всевозможными трудностями, связанными в Париже с похоронами, особенно если некому помочь, взять на себя хлопоты, переговоры. Фрезье отлично знал, что действительно убитые горем родственники теряют в такую минуту голову, и потому, решив взять на себя руководство действиями Шмуке, с самого утра засел в швейцарской и непрерывно совещался с доктором Пуленом.

И вот что предприняли оба друга — доктор Пулен и Фрезье,— чтобы добиться желаемого результата.

На Орлеанской улице, рядом с домом доктора Пулена, жил причетник церкви св. Франциска, по имени Кантине, который прежде держал посудную лавку. Его жена, взимавшая плату с прихожан за церковные стулья, была давнишней даровой пациенткой доктора Пулена, которому, естественно, она чувствовала себя навеки обязанной и нередко поверяла свои огорчения. Оба щелкунчика по воскресным дням и церковным праздникам ходили к службе в церковь св. Франциска и были в добрых отношениях с причетником, церковным сторожем, служителем, подающим святую воду,— словом, со всей церковной братией, известной в Париже под названием «притча» и обычно собирающей дань с прихожан. Жена причетника хорошо знала Шмуке, так же как и он ее. У мадам Кантине были две душевные раны, вследствие чего Фрезье и удалось сделать из нее слепое и послушное орудие своей воли. Кантине-сын, пристрастив-

шись к театру, отказался вступить на церковное поприще, сулившее ему должность привратника, пошел фигурантом в «Цирк-Олимпик» и начал вести беспутную жизнь, к великому огорчению мамаши, чей кошелек он часто опустошал самовольными займами. Старику Кантине, страдающему двумя пороками — приверженностью к спиртным напиткам и ленью,— пришлось бросить торговлю. Но это его не исправило, более того — новая должность только способствовала развитию обеих дурных наклонностей; он целыми днями бездельничал, пил с кучерами свадебных карет, с факельщиками похоронных процессий, с бедняками, подопечными кюре, пил так, что уже к полудню физиономия его полыхала как огонь.

Мадам Кантине боялась, что останется на старости лет нищей; каково это, когда ты принесла мужу двенадцать тысяч приданого! Доктору Пулену, вероятно, уже сотни раз слышавшему повесть об этих несчастьях, пришло в голову воспользоваться ее помощью, чтоб легче всучить Понсу и Шмуке в кухарки и поломойки мадам Соваж. Рекомендовать самому мадам Соваж было совершенно бесполезно, потому что оба щелкунчика стали весьма недоверчивы, в чем Фрезье смог окончательно убедиться, когда Шмуке даже не впустил сестру Ремонанка в квартиру. Но в то же время наши друзья-приятели были твердо убеждены, что благочестивые старички музыканты тут же согласятся взять человека, рекомендованного аббатом Дюпланти. Они сговорились, что мадам Кантине приведет с собой тетку Соваж. А уж раз там водворится служанка Фрезье, можно быть спокойным,— она вполне заменит своего хозяина.

В подъезде аббат Дюпланти не сразу пробрался сквозь толпу друзей Сибо, которые пришли осведомиться о здоровье самого уважаемого привратника в квартале.

Доктор Пулен поклонился аббату Дюпланти, отвел его в сторону и сказал:

— Я сейчас собираюсь навестить бедного господина Понса, возможно, что он еще выкарабкается; надо бы его уговорить согласиться на операцию — необходимо извлечь камни, образовавшиеся у него в пузыре; они чувствуются на ощупь и грозят вызвать воспаление со смертельным исходом, может быть, время еще не упущено... Было бы очень хорошо, если бы вы употребили

свое влияние и убедили больного. Я ручаюсь за то, что он выживет, если во время операции не произойдет какой-либо досадной случайности.

— Вот только отнесу святые дары в церковь и тут же вернусь,— сказал аббат Дюпланти,— господин Шмуке в таком горе, что ему необходимо утешение религии.

— Я сейчас узнал, что он остался один,— сказал доктор Пулен.— Сегодня утром этот добродушный старичок повздорил с мадам Сибо, которая уже десять лет ведет их хозяйство, и они рассорились, надеюсь ненадолго, но, принимая в расчет нынешние обстоятельства, его никак нельзя оставить одного. Позаботиться о нем — это доброе дело. Послушайте. Кантине,— сказал доктор, подзывая к себе причетника,— узнайте у жены, не согласится ли она поухаживать несколько дней за господином Понсом и присмотреть за хозяйством господина Шмуке вместо мадам Сибо, ее ведь все равно пришлось бы на время отпустить, даже если бы они и не поссорились. Мадам Кантине женщина честная,— добавил доктор, обращаясь к аббату.

— Лучше и не найти,— ответил добряк священник,— ведь ей церковноприходским советом поручено собирать деньги за стулья.

Несколько минут спустя доктор Пулен, стоя у кровати Понса, следил за ходом агонии, а Шмуке тем временем напрасно молил своего друга согласиться на операцию. Старик музыкант в ответ на все мольбы удрученного немца только отрицательно качал головой, а иногда у него даже вырывалось нетерпеливое движение. В конце концов умирающий собрал последние силы, бросил на Шмуке измученный взгляд и прошептал:

— Дай мне умереть спокойно!

Шмуке сам чуть не умер от горя; но он взял руку Понса, нежно поцеловал ее и уже не выпускал из своей, еще раз пытаясь вдохнуть в друга собственную жизнь. Как раз в эту минуту доктор Пулен услышал звонок и открыл дверь аббату Дюпланти.

— Наш бедный больной кончается,— сказал Пулен.— Он протянет еще несколько часов; вы, верно, пришлете священника читать над покойником. Теперь самое время приставить к господину Шмуке мадам Кантине и

кого-нибудь для услуг, он совсем голову потерял, я опасаюсь за его рассудок, а здесь много ценных вещей, присмотр за которыми можно доверить только вполне честному человеку.

Аббат Дюпланти, пастырь добрый и достойный, доверчивый и бесхитростный, был поражен справедливостью замечаний доктора Пулена; к тому же он верил в добродетели квартального врача; поэтому он с порога спальни поманил к себе Шмуке. Шмуке никак не мог решиться высвободить свою руку из рук Понса, который судорожно за него цеплялся, словно чувствовал, что падает в пропасть, и хотел удержаться, ухватившись хоть за что-нибудь. Обычно умирающие, во власти галлюцинаций, ловят что-то вокруг себя,— так люди во время пожара хватают самое для себя дорогое,— и Понс, выпустив руку своего друга, вцепился в простыню и стал ее обирать вокруг тела ужасными по своей выразительности торопливыми и жадными движениями.

— Что вы будете делать один, когда ваш друг скончается? — спросил добрый пастырь немца, который подошел к нему.— Тетушки Сибо с вами нет?

— *Она исшадие ада, она убиль Понса!* — сказал Шмуке.

— Нельзя же оставлять вас одного,— вставил свое слово доктор Пулен,— ночью кто-то должен читать молитвы над покойником.

— *Я буду тшитать над ним!* — ответил простосердечный немец.

— Но вам пить-есть надо! Кто теперь будет вам готовить? — не унимался доктор.

— *Горе отбиль у менья всякий аппетит*,— просто ответил Шмуке.

— Но надо заявить о смерти, подтвердить ее факт свидетелями,— сказал Пулен,— надо обмыть тело, зашить в саван, уложить, надо заказать похороны в бюро похоронных процессий, надо накормить того, кто будет дежурить при покойнике, и священника, который будет над ним читать — разве вы один с этим справитесь?.. В столице цивилизованного мира покойника не бросают как собаку.

Шмуке широко открыл испуганные глаза, на минуту на него напало безумие.

— *Но Понс не будет умирать!.. Я не дам ему умирать!..*

— Вы не выдержите долго без сна, кто вас заменит? Понса нельзя оставлять ни на минуту, его надо попоить, дать ему лекарство...

— *Да, да, это ви отшень правильно сказаль...*— согласился немец.

— Ну так вот, я хочу предложить вам в помощницы мадам Кантине, честную, порядочную женщину,— сказал аббат Дюпланти...

Шмуке так растерялся от мысли о хлопотах, связанных с последним долгом по отношению к умирающему другу, что самым горячим его желанием было умереть вместе с ним.

— Он настоящий ребенок! — шепнул доктор Пулен аббату Дюпланти.

— *Настоящий ребенок!* — как эхо повторил Шмуке.

— Хорошо,— сказал кюре,— я поговорю с мадам Кантине и пришлю ее к вам.

— Не трудитесь понапрасну, мы с ней соседи, а я иду домой,— сказал доктор.

Смерть похожа на невидимого убийцу, агония — это борьба умирающего со смертью. Она наносит ему последние удары, а он отбивается, старается вырваться. Понс был сейчас при последнем издыхании, он застонал, что-то крикнул. Шмуке, аббат Дюпланти и Пулен подбежали к постели. Вдруг к Понсу, жизненным силам которого смерть нанесла последний удар, разрешающий телесные и душевные узы, вернулось на миг то полное умиротворение, которое следует за агонией, он пришел в себя, спокойствие смерти легло на его лицо, он обвел окружающих просветленным взглядом.

— Ах, доктор, я так исстрадался; но вы правы, мне лучше... Спасибо, дорогой господин аббат; я все думал, где же Шмуке!..

— Шмуке не ел со вчерашнего вечера, а сейчас уже четыре часа! Больше никого при вас нет, а на мадам Сибо полагаться опасно.

— Она на все способна,— подтвердил Понс, на лице которого при упоминании имени тетки Сибо выразился

ужас.— Это верно, Шмуке нужен очень честный человек.

— Мы с аббатом Дюпланти подумали о вас обоих,— сказал Пулен.

— Спасибо, спасибо,— отозвался Понс,— как это мне не пришло в голову.

— Господин аббат рекомендует вам мадам Кантине...

— А, церковную сторожиху,— воскликнул Понс.— Это превосходная женщина.

— Она недолюбливает мадам Сибо,— продолжал доктор,— а господину Шмуке она угодит...

— Пришлите ее, благодетель мой господин Дюпланти, и ее и мужа, тогда я буду спокоен, что здесь ничего не растащат.

Шмуке снова взял Понса за руку и радостно сжимал ее, думая, что он вернулся к жизни.

— Пойдемте, господин аббат,— сказал доктор.— Я сейчас же пришлю мадам Кантине; картина ясна: она, может быть, уже не застанет господина Понса в живых.

Покуда аббат Дюпланти уговаривал умирающего взять к себе в сиделки церковную сторожиху, Фрезье уже позвал ее к себе и с ловкостью профессионального крючкотвора начал совращать хитрыми доводами, устоять против которых было весьма трудно. Мадам Кантине, женщина сухопарая и желтая, с длинными зубами и холодно поджатыми губами, отупевшая от невзгод, как и многие женщины из простонародья, почитала за счастье возможность что-то подработать поденно, и посему ее не пришлось долго уламывать — она согласилась привести с собой в качестве кухарки тетку Соваж, уже получившую от Фрезье соответствующее приказание. Она обещала сплести железную паутину вокруг обоих музыкантов и следить за ними, как паук следит за пойманшейся мухой. За труды тетке Соваж была обещана табачная лавочка: Фрезье рассчитывал таким образом под благовидным предлогом отделаться от своей бывшей кормилицы и вместе с тем в ее лице приставить к церковной сторожихе соглядатая и жандарма. При квартире, занимаемой нашими друзьями, была комната для прислуги и кухонька, так что тетке Соваж было где поставить складную кровать и заниматься стряпней. В ту минуту, когда явился доктор Пулен с обеими жен-

щинами, Понс как раз испустил последний вздох. Шмуке, который не понял, что друг его умер, все еще держал в своих руках его постепенно холодевшую руку. Он знаком попросил мадам Кантине не нарушать молчания, но солдафонская наружность тетки Соваж так его поразила, что он не мог удержаться от жеста испуга, которым обычно встречали этого гренадера в юбке.

— Вот женщина, которую рекомендует аббат Дюпланти; она служила в кухарках у епископа, честней ее не найти, она будет на вас готовить,— шепнула мадам Кантине.

— Можете говорить вслух! — воскликнула, громко отдуваясь, тетка Соваж.— Он, бедняжка, помер!.. Сейчас только преставился.

Шмуке пронзительно вскрикнул — он ощутил холод костенеющей руки Понса и, вглядевшись в его остановившиеся глаза, чуть не помутился рассудком; но служанка г-на Фрезье, должно быть, не раз видавшая подобные сцены, подошла к кровати и приложила зеркало к губам покойника; зеркало не помутнело от дыхания, тогда она быстро высвободила руку умершего из рук Шмуке.

— Не держите его за руку, сударь, потом вам ее не высвободить; вы не знаете, как деревенеет тело! Покойники остывают очень быстро. Надо его обрядить, пока он еще теплый, а то потом придется ломать кости.

Итак, этой мегере суждено было закрыть глаза скончавшемуся музыканту; потом она занялась привычным для нее делом, ибо десять лет прослужила в сиделках; раздела Понса, уложила на спину, вытянула ему руки вдоль тела и накрыла простыней по самые глаза с той же спокойной деловитостью, с какой приказчик заворачивает покупку.

— Дайте простыню, в чем хоронить будем; где взять простыню? — спросила она Шмуке, с ужасом следившего за ее действиями.

Еще несколько минут назад представитель религии с глубоким уважением подходил к созданию божьему, которому уготована была на небесах жизнь вечная, а сейчас его друга просто-напросто упаковывали, обходились с ним как с какой-то вещью,— было от чего лишиться рассудка.

— *Деляйте што ви хотшете!* — машинально ответил немец.

Шмуке, эта простая душа, впервые видел, как умирает человек, и этот человек был Понс, единственный друг, единственное существо, которое его понимало и любило.

— Пойду спрошу у привратницы, где простыни,— сказала ему тетка Соваж.

— Нужно хоть койку поставить для вашей прислуги,— обратилась к нему сторожиха.

Шмуке кивнул головой и горько заплакал. Старуха Кантине оставила его, беднягу, в покое, но через час опять подошла к нему.

— Пожалуйте денег на расходы!

Шмуке посмотрел на мадам Кантине взглядом, который обезоружил бы и злодея. В качестве довода, объяснявшего все, он указал на побелевшее, иссохшее и заострившееся лицо покойника.

— *Мошете взять што ви хотшете и не мешайте мне плякать и молиться!* — сказал он, становясь на колени.

Тетка Соваж побежала к Фрезье сообщить о смерти Понса, а тот помчался в кабриолете к г-же Камюзо за доверенностью, уполномочивающей его представлять интересы наследников.

— Сударь,— снова обратилась к Шмуке сторожиха час спустя,— я ходила к мадам Сибо, она одна знает, где что лежит; да только у нее как раз муж помер, и она просто в *умопомрачении.* Да послушайте же меня, сударь...

Шмуке посмотрел на эту женщину, даже не подозревавшую своей жестокости; ведь самая сильная душевная боль не выводит простолюдина из равновесия.

— Пожалуйте материи на саван, пожалуйте денег на койку для мадам Соваж, пожалуйте денег на кухонную посуду, на миски, тарелки, стаканы; священник-то будет над покойником всю ночь сидеть, а на кухне ничего нет.

— Сударь,— присоединилась к ней тетка Соваж,— надо обед готовить, а дров нет, угольев нет! Да что же здесь удивительного, раз вы у тетки Сибо на всем готовом жили...

— Вы не поверите, голубушка, ему говоришь, а он на все молчит,— сказала сторожиха, указывая на Шму-

ке, который распростерся в ногах у покойника в полном бесчувствии.

— Ну, так я вас, милочка, научу, что в таких случаях делают,— сказала тетка Соваж.

Она осмотрелась в комнате так, как осматриваются воры, соображая, где могут быть спрятаны деньги. Потом пошла прямо к комоду, выдвинула ящик, обнаружила кошелек, куда Шмуке убрал оставшиеся от продажи картин деньги, и показала его Шмуке, который машинально кивнул головой.

— Вот вам и деньги, милочка! — обратилась тетка Соваж к сторожихе.— Сейчас я их пересчитаю и возьму сколько надо на вино, на припасы, на свечи — словом, на все, ведь дома-то у них ничегошеньки нет... Поищите-ка в комоде простыню на саван. Хоть мне и говорили про здешнего хозяина, что он чудной, но он даже не чудной. Чисто новорожденный младенец,— хоть с ложечки его корми...

Шмуке смотрел на обеих женщин, на их суету таким взглядом, словно у него окончательно помутился рассудок. Сломленный горем, он почти впал в каталепсию и не сводил глаз с лица Понса, чьи черты стали строгими, когда на них легла печать вечного покоя. Шмуке надеялся, что смерть не замедлит прийти и за ним, и все было ему безразлично. Если бы загорелся дом, он и то бы не двинулся.

— Здесь тысяча двести пятьдесят шесть франков,— сказала ему тетка Соваж.

Шмуке пожал плечами. Но когда тетка Соваж принялась за приготовления к похоронам и, чтоб вымерить, сколько надо холста на саван, прикинула простыню к покойнику, ей пришлось вступить в драку с бедным немцем. Шмуке никого не подпускал к усопшему, как собака, стерегущая тело хозяина. Потеряв терпение, мужеподобная тетка Соваж схватила его в охапку, посадила на кресло и удерживала там силой.

— Ну-ка, голубушка, зашейте покойника в саван,— распорядилась она.

Когда дело было сделано, тетка Соваж водворила Шмуке на прежнее место, в ногах кровати, и сказала:

— Ведь надо же было обрядить его, голубчика, по покойницкому чину, понимаете?

Шмуке заплакал, женщины оставили его в покое и ушли на кухню, куда совместными усилиями быстро натащили все необходимое. Написав первый счет на триста шестьдесят франков, тетка Соваж принялась готовить обед на четыре персоны, и какой же обед! Из мясного — фазан и жирный гусь; затем омлет с вареньем, овощной салат и неизбежный бульон, на который было ухлопано столько всякого добра, что он застыл, как желе. В девять часов вечера пришел священник, присланный настоятелем, чтоб читать над покойником, с ним был Кантине, который принес четыре свечи и церковные подсвечники. Шмуке лежал на кровати рядом со своим другом, тесно к нему прижавшись. Только после увещеваний священнослужителя согласился он расстаться с усопшим. Кюре удобно устроился в кресле и начал читать положенные молитвы, а Шмуке опустился на колени. Пока он, коленопреклоненный у смертного одра, просил господа бога совершить чудо и соединить его с Понсом, чтобы их похоронили в одной могиле, мадам Кантине успела сбегать на ближний рынок и купила для тетки Соваж складную кровать и постель — недаром кошелек с тысячью двумястами пятьюдесятью шестью франками был отдан ей на разграбление. В одиннадцать часов вечера сторожиха пришла узнать, не хочет ли Шмуке покушать. Он махнул рукой, чтоб его оставили в покое.

— Ужин готов, господин Пастело,— сказала сторожиха священнику.

Оставшись один, Шмуке улыбнулся улыбкой безумца, который почувствовал наконец, что теперь он может исполнить желание, столь же непреодолимое, как желания беременных женщин. Он улегся рядом с Понсом и снова крепко к нему прижался. В полночь священник вернулся и пожурил Шмуке, тот оставил Понса и опять стал молиться. Когда рассвело, кюре ушел. В семь часов доктор Пулен навестил Шмуке и стал его ласково убеждать поесть, но тот отказался.

— Если вы не покушаете сейчас, вы проголодаетесь по возвращении,— сказал доктор.— Ведь вам надо найти свидетеля, сходить в мэрию, заявить о смерти господина Понса и составить акт...

— *Мне?* — в ужасе спросил немец.

— А кому же? Вам никак нельзя от этого уклониться, раз вы один присутствовали при его кончине...

— *У менья зил зовсем нет... Я едва на ноги стою...*— взмолился Шмуке.

— Так поезжайте, не ходите пешком,— ласково ответил лицемерный эскулап.— Я уже констатировал факт смерти. Попросите, чтоб кто-нибудь из здешних жильцов сопровождал вас. А в ваше отсутствие за квартирой присмотрят обе эти женщины.

Трудно себе представить, как мучительны все эти требуемые законом формальности для человека, который переживает настоящее горе. Тут есть отчего возненавидеть цивилизацию, отдать предпочтение обычаям дикарей. В девять часов мадам Соваж, поддерживая Шмуке под мышки, свела его с лестницы и усадила в пролетку, и Шмуке пришлось попросить Ремонанка поехать с ним в мэрию, чтоб засвидетельствовать смерть Понса. В Париже, в столице страны, где бредят равенством, на каждом шагу и по поводу каждой мелочи сталкиваешься с неравенством. Даже смерть не может изменить этот незыблемый порядок вещей. В богатых семьях родственники, друзья, управляющие избавляют от всех тягостных хлопот того, кто понес утрату; но на народ, на пролетариев и тут, как и при распределении налогов, ложится все бремя горестей, ибо им никто не помогает.

— Как же вам по нем не убиваться,— сказал Ремонанк в ответ на тяжелый вздох бедного мученика,— хороший он был человек, какую коллекцию оставил. Только знаете, сударь, много вам хлопот будет, ведь вы иностранноподданный, а все в один голос говорят, что вы наследник господина Понса.

Шмуке его не слушал, он почти обезумел от горя. На душу, как и на тело, тоже нападает столбняк.

— Чтоб представлять ваши интересы, вам бы нужен был советчик, поверенный.

— *Зоветщик!* — как автомат повторил Шмуке.

— Вот увидите, что вам нужен будет представитель. Я бы на вашем месте взял опытного человека, известного у нас в квартале, человека, которому можно верить... Я по всем своим мелким делам пользуюсь советами Табаро, судебного пристава... Если вы дадите доверенность его старшему писцу, он с вас все заботы снимет.

Идея, которую Ремонанк по уговору с теткой Сибо осторожно внушал немцу, была подсказана Фрезье. Совет овернца запал в память Шмуке: в те минуты, когда от горя как бы прекращается всякая душевная деятельность, память запечатлевает все, что случайно ее коснется. Шмуке, слушая Ремонанка, смотрел на него таким отсутствующим взглядом, что тот замолчал. «Если он и дальше будет таким же истуканом, я скуплю у него за сто тысяч франков весь скарб, что там наверху, раз уж он ему достанется...»

— Сударь, вот мы и приехали.

Ремонанк высадил Шмуке из экипажа и под руку довел до бюро актов гражданского состояния, где они столкнулись со свадебным кортежем. Шмуке пришлось дожидаться своей очереди, так как по довольно частой в Париже случайности у чиновника, ведающего записью актов о смерти, накопилось пять-шесть таких дел. Муки бедного немца, должно быть, не уступали в силе страстям господним.

— Вы господин Шмуке? — обратился какой-то человек, весь в черном, к музыканту, который встрепенулся, услышав свое имя.

Он посмотрел на человека в черном тем же отсутствующим взглядом, каким до того глядел на Ремонанка.

— Ну, что вам от него надо? — спросил овернец незнакомца.— Оставьте его в покое, видите, у человека горе.

— Господин Шмуке лишился друга и, вероятно, хочет достойным образом почтить его память, ведь он его наследник,— сказал человек в черном.— Я полагаю, что господин Шмуке не станет скупиться; он захочет приобрести для погребения место в вечное пользование. Господин Понс так любил искусство! Ну как не украсить его могилу Музыкой, Живописью и Скульптурой... тремя прекрасными скорбными статуями во весь рост...

Ремонанк по-своему, по-оверноки сделал человеку в черном знак, чтоб он отстал, а тот тоже по-своему, так сказать, по-коммерчески, сделал ему другой знак, означавший: «Ну чего вы мне мешаете подработать!» И лавочник отлично понял этот знак.

— Я агент фирмы «Сонэ и компания», поставщиков

надгробных памятников,— продолжал комиссионер, которого Вальтер Скотт, несомненно, назвал бы могильным юношей.— Если господину Шмуке будет угодно дать нам заказ, мы избавим его от хлопот по приобретению места для погребения друга, чья утрата столь горестна для муз.

Ремонанк кивнул головой в знак согласия и тронул Шмуке за локоть.

— Мы постоянно берем на себя хлопоты и выполняем вместо семьи покойного все нужные формальности,— не отставал маклер, ободренный кивком Ремонанка.— В первые минуты горя наследникам весьма трудно самим заниматься всеми мелочами. И мы охотно оказываем эти незначительные услуги нашим заказчикам. За памятники мы считаем с метра,— все равно, каменные они или мраморные... Мы принимаем заказы на семейные усыпальницы... берем на себя любые услуги по самой сходной цене. Наша фирма поставила великолепный памятник красавице Эстер Гобсек и Люсьену де Рюбампре, подлинное украшение Пер-Лашеза. На нас работают лучшие мастера, я не советую обращаться к мелким поставщикам... у них третьесортный товар,— прибавил он, увидя, что подходит молодой человек, тоже в черном, представитель другой фирмы мраморных и гипсовых изделий.

Часто говорят, что смерть — это конец путешествия, но даже представить себе нельзя, насколько справедливо это уподобление для Парижа. Покойника, особенно ежели это покойник знатный, встречают на *мрачном бреге* словно путешественника, которого, не успел он ступить на землю, уже осаждают со своими предложениями агенты гостиниц. Кроме нескольких философов и нескольких семейств, уверенных, что они будут жить в веках, и потому сооружающих себе усыпальницы столь же монументальные, как их особняки, никто не думает о смерти и ее социальных последствиях. Смерть всегда наступает слишком рано, да, кроме того, родные стараются не думать о ней по совершенно понятному чувству. Поэтому-то почти всегда тех, кто потерял отца, мать, жену или ребенка, сейчас же начинают осаждать всякие дельцы, которые пользуются душевным расстройством родных, чтобы перехватить выгодный заказ. В прежнее время мрамор-

щики, хозяева заведений, помещавшихся около знаменитого кладбища Пер-Лашез, где мастерские образуют целую улицу, которую следовало бы назвать Надгробной, осаждали наследников около могилы или у кладбищенских ворот, но понемногу под влиянием конкуренции, в силу торговой предприимчивости, они захватывали все новые позиции и теперь добрались уже до города, подступили к мэриям. Есть и такие агенты, что врываются с готовыми проектами надгробий в самое жилище скорби.

— Мы договариваемся,— поспешил заявить агент фирмы Сонэ опоздавшему коллеге.

— Следующий покойник?.. Свидетели есть? — вызвал служитель.

— Пожалуйте, сударь,— сказал агент, обращаясь к Ремонанку.

Ремонанк попросил агента помочь ему поставить на ноги Шмуке, который сидел на скамье, равнодушный ко всему на свете; вместе они подвели его к барьеру, которым чиновник, составляющий акты о смерти, отгорожен от человеческого горя. Ремонанку, игравшему роль провидения при Шмуке, помог доктор Пулен, пришедший, чтобы дать необходимые сведения о возрасте и месте рождения Понса. Немец помнил только одно: Понс был его другом. Когда акт был подписан, Ремонанк и доктор с не отставáвшим от них маклером посадили несчастного Шмуке в экипаж. Туда же проскользнул тот же ретивый маклер, решивший во что бы то ни стало получить заказ. Тетка Соваж, которая ходила дозором у ворот, с помощью Ремонанка и агента фирмы Сонэ внесла почти потерявшего сознание Шмуке в дом.

— Он сейчас лишится чувств! — крикнул маклер, которому не терпелось покончить с делом, уже бывшим, как он выражался, на мази.

— Еще бы! — ответила тетка Соваж.— Он уже сутки плачет и ничего в рот не берет. У кого горе, тому не до еды.

— Послушайте, дорогой клиент, скушайте бульончику,— принялся уговаривать бедного немца агент фирмы Сонэ.— У вас еще столько хлопот впереди: надо поехать в ратушу, купить место под надгробие, которое вы собираетесь воздвигнуть в память этого друга искусств и в знак вашей вечной признательности.

— Какой же смысл себя голодом морить,— убеждала мадам Кантине, поднося Шмуке чашку бульона и хлеб.

— Послушайте, сударь,— подступил к нему Ремонанк,— раз уж вы так ослабли, надо вам с кем-нибудь договориться, чтоб он вас заменил, потому что у вас еще, ух, сколько дела! Надо заказать похоронную процессию! Ведь не станете же вы хоронить своего друга как нищего.

— Да ну же, ну, сударь! — сказала тетка Соваж, улучив минутку, когда Шмуке откинул голову на спинку кресла.

И она влила ему в рот ложку супа и насильно, как ребенка, стала его кормить.

— А теперь, сударь, будьте благоразумны и, если вы желаете, чтоб вам не мешали убиваться, возьмите кого-нибудь заместо себя...

— Раз вы, сударь, выразили желание воздвигнуть великолепный памятник вашему другу, то можете возложить на меня все хлопоты, я все устрою...

— Что такое, что такое? — вмешалась тетка Соваж.— Он вам заказал? Да кто вы такой?

— Агент фирмы Сонэ, голубушка, самого крупного заведения могильных памятников,— сказал маклер, вытащив карточку и показывая ее здоровенной тетке Соваж.

— Ладно, ладно!.. Когда нужно будет, к вам обратятся. Нельзя же пользоваться горем нашего хозяина. Вы же видите, что хозяин совсем голову потерял...

— Если вы устроите так, чтоб заказ получили мы,— шепнул маклер тетке Соваж, выйдя с ней на площадку лестницы,— я имею полномочия предложить вам сорок франков...

— Давайте сюда ваш адрес,— сказала тетка Соваж, сразу подобрев.

Оставшись один и почувствовав себя крепче после того, как его заставили съесть несколько ложек бульона, Шмуке поспешил в спальню к Понсу и погрузился в молитву. Он весь отдался своему горю, но из этого состояния покорного смирения его вывел молодой человек в черном, который уже в десятый раз окликал его: «Сударь!» — и, наконец, дернул за рукав, так что несчастному страдальцу волей-неволей пришлось откликнуться.

— *Што ешше слютшилось?*

— Сударь, мы обязаны доктору Ганналю великим открытием; оспаривать у него славу мы не собираемся, он возродил египетские чудеса. Но с помощью некоторых усовершенствований мы добились поразительных результатов. Так вот, если вы хотите видеть вашего друга таким, каким он был при жизни...

— *Я буду видеть моего друга?* — воскликнул Шмуке.— *И он будет говорить зо мной?*

— Ну, не вполне!.. У него не будет только дара речи,— продолжал агент по бальзамированию покойников,— но он на веки вечные сохранится в том же виде. Процедура очень недолгая. Достаточно надрезать сонную артерию и сделать впрыскивание; но ждать нельзя... Через четверть часа мы уже не сможем сохранить тело и тем самым доставить вам тихую радость.

— *Убирайтесь к тшорту! Понс сталь духом! И дух его есть на небезах.*

— Какой неблагодарный человек,— изрек агент одного из соперников знаменитого Ганналя, выходя из дому,— он отказался от бальзамирования тела своего друга!

— Ничего нет удивительного,— сказала тетка Сибо, которая как раз набальзамировала своего ненаглядного муженька.— Ведь он наследник, ему все по завещанию отказано. А такому человеку, раз он свое получил, на покойника наплевать.

Час спустя в спальню вошла тетка Соваж в сопровождении человека в черном, по виду ремесленника.

— Сударь,— сказала она.— Кантине был так любезен, что прислал сюда приходского гробовщика.

Гробовщик поклонился с соболезнующим и сокрушенным видом, в то же время всем своим обликом выражая уверенность, что он персона, здесь совершенно необходимая. Он посмотрел на покойника взглядом профессионала.

— Какой, сударь, вам желателен,— сосновый, просто дубовый или двойной: дубовый и свинцовый? Двойной: дуб со свинцом — самое приличное. Покойник,— заметил он,— обычных размеров...

Он пощупал, где кончаются ноги.

— Метр семьдесят сантиметров? — прибавил он.— Отпевать, конечно, будете в церкви?

Шмуке посмотрел на гробовщика тем взглядом, который бывает у сумасшедших, когда они задумали что-то недоброе.

— Сударь,— сказала тетка Соваж,— вам бы надо было поручить кому-нибудь заняться заместо вас всеми этими делами.

— *Хорошо, я буду порутшить*,— согласился страдалец.

— Сходить, что ли, за господином Табаро, ведь у вас еще много хлопот впереди. Господин Табаро на весь квартал честностью славится.

— *Да, за господин Табаро! Мне о нем говориль*,— сдался наконец Шмуке.

— Вот и хорошо, сударь, поговорите со своим уполномоченным, а потом можете горевать сколько хотите, никто вам мешать не станет.

Около двух часов явился скромный молодой человек, старший писец г-на Табаро, предназначавший себя к карьере судебного пристава. Молодость имеет удивительные преимущества — она не отпугивает. Молодой человек, которого звали Вильмо, сел около Шмуке, он не сразу заговорил, выжидая подходящую минуту. Такая сдержанность тронула Шмуке.

— Сударь,— сказал Вильмо,— я старший писец господина Табаро, который поручил мне защиту ваших интересов и приказал взять на себя все формальности, связанные с похоронами вашего друга... Вы ничего не имеете против?

— *Шисни вы мне не будете спазать, шить мне осталось недолго; а вот в покое ви будете менья оставлять?*

— О, вас ничем не побеспокоят,— ответил Вильмо.

— *Што я дольшен делять?*

— Подписать вот эту бумагу, в которой вы уполномочиваете господина Табаро вести все ваши дела, касающиеся наследства.

— *Хорошо, будете давать зюда бумагу!* — сказал немец, собиравшийся тут же поставить свою подпись.

— Нет, сперва я прочту вам.

— *Тшитайте.*

Шмуке не проявил ни малейшего интереса к чтению доверенности и тут же подписал ее. Молодой человек осведомился о желаниях Шмуке относительно похоронной процессии, места (немец хотел, чтоб его похоронили рядом с Понсом), отпевания и уверил несчастного старика, что больше к нему приставать не будут ни с вопросами, ни с требованием денег.

— *Я готов отдавать все, што у менья есть, только оставляйте менья в покое,*— сказал Шмуке, снова опускаясь на колени около тела друга.

Фрезье торжествовал: теперь наследник не мог и шагу ступить,— он был всецело в руках тетки Соваж и Вильмо.

Нет такой скорби, которую в конце концов не одолел бы сон. И когда под вечер тетка Соваж вошла в спальню, Шмуке лежал в ногах кровати, на которой покоился Понс, и крепко спал; она отнесла его в спальню, с материнской заботливостью уложила в постель, где он и проспал до утра. Когда он проснулся, то есть когда после временного забытья снова ощутил свою скорбь, тело Понса на траурном помосте, освещенном и убранном, как это полагается при похоронах по третьему разряду, уже стояло у ворот; итак, его друга уже не было в квартире, и теперь она казалась ему огромной и вызывала тяжелые воспоминания. Тетка Соваж, распоряжавшаяся бедным Шмуке так же самовластно, как если бы он был грудным младенцем, а она его кормилицей, заставила его позавтракать, раньше чем идти в церковь. Пока несчастный страдалец с трудом глотал пищу, тетка Соваж со вздохами, достойными Иеремии, сокрушалась, что у него нет черного фрака. И до болезни Понса гардероб Шмуке, находившийся в ведении Сибо, был более чем скромен, впрочем, так же, как и его стол,— у него имелось два сюртука и две пары панталон!..

— Вы в таком виде и на похороны пойдете? Да ведь вас весь квартал засмеет!..

— *А в каком виде ви будете мне приказать идти?*

— В трауре!

— *В траур!*

— Приличия...

— *Прилитшия! Не нушни мне все эти глюпости!* — горестно воскликнул бедняга,— только детски наив-

ные души скорбь повергает в столь беспредельное отчаяние.

— Экое чудовище неблагодарное,— сказала тетка Соваж, оглядываясь на неожиданно появившегося в дверях господина, от одного вида которого Шмуке вздрогнул.

Вошедший был облачен в черный суконный фрак, короткие черные суконные штаны, черные шелковые чулки; наряд довершала серебряная цепь с бляхой, белые манжеты, белый муслиновый, очень строгий галстук и белые перчатки; этот официальный представитель бюро похоронных процессий, на котором лежал стереотипный отпечаток соболезнования чужому горю, держал в руке жезл черного дерева, олицетворявший его функции, а под мышкой — треуголку с трехцветной кокардой.

— Я церемониймейстер,— сказал он елейным голосом.

По своим обязанностям этот человек ежедневно возглавлял похоронные процессии и не раз видел семьи, погруженные в горе — иногда подлинное, иногда притворное,— он привык, так же как и все его коллеги, говорить тихим и елейным голосом. Как ему и полагалось по профессии, он был вежлив, обходителен и своей благопристойностью напоминал статую, изображающую гения смерти. При словах церемониймейстера Шмуке охватила нервная дрожь, словно перед ним предстал палач.

— Сударь, кем вы приходитесь покойнику — сыном, братом, отцом?..— обратился к несчастному официальный представитель бюро похоронных процессий.

— *И тем, и другим, и третьим... больше того, я прихошусь ему другом!* — сказал Шмуке, заливаясь слезами.

— Вы наследник? — спросил церемониймейстер.

— *Наследник?* — повторил Шмуке.— *Мне нитшего на этом звете не нушно.*

И Шмуке снова погрузился в мрачное отчаяние.

— Где остальные родственники и друзья? — спросил церемониймейстер.

— *Вот они все тут зобрались!* — воскликнул Шмуке, указывая на картины и редкости.— *Эти друзья ни-*

когда не притшинили страданий бедному моему Понс! Я и они —вот все, што он любиль!

— Он помешался,— сказала тетка Соваж церемонийместеру.— С ним не стоит и разговаривать.

Шмуке сел, машинально утирая слезы, и лицо его опять приняло тупое выражение. Тут появился Вильмо — старший писец г-на Табаро, и церемониймейстер, признав в нем посетителя, заказавшего в бюро похоронную процессию, обратился к нему:

— Пора двигаться, сударь... колесница приехала; но мне не случалось еще видеть таких похорон. Где родственники и близкие?

— Мы очень спешили,— ответил г-н Вильмо.— Господин Шмуке в таком горе, что обо всем позабыл; впрочем, у покойного только один родственник...

Церемониймейстер сочувственно посмотрел на Шмуке, этот эксперт по людскому горю давно научился отличать подлинное от притворного; он подошел к бедному немцу.

— Возьмите себя в руки, сударь!.. Подумайте о том, что вам надо достойным образом почтить память друга.

— Мы позабыли разослать приглашения на похороны, но я позаботился известить господина де Марвиля, председателя суда, единственного родственника, о котором я вам уже говорил... Друзей у него не было... Не думаю, чтобы пришли сослуживцы, покойный состоял капельмейстером в театре... Но, насколько я знаю, господин Шмуке единственный наследник.

— Значит, он должен возглавлять похоронную процессию,— сказал церемониймейстер.— У вас нет черного фрака? — спросил он, оглядывая костюм бедняги музыканта.

— *У менья здесь в груди все тшерное!* — сказал тот раздирающим душу голосом.— *Тшерное, тотшно в зердце у менья смерть... Господь бог смилуется надо мной и зоединяет менья в могиле с моим другом, за што я буду блягодарить его.*

И он молитвенно сложил руки.

— Наша администрация уже сильно улучшила постановку дела, и все же необходимо — о чем я уже не раз говорил — приобрести надлежащий гардероб и давать напрокат наследникам соответствующий костюм,

с каждым днем в этом ощущается все большая потребность,— сказал церемониймейстер.— Но раз этот господин — наследник, ему следует надеть траурную мантию; в ту, которую я захватил с собой, его можно завернуть с головы до пят, и никто и не заметит, что он одет неподобающим образом... Не будете ли вы так любезны встать? — попросил он Шмуке.

Тот поднялся со стула, но едва устоял на ногах.

— Поддержите его,— обратился церемониймейстер к старшему писцу,— ведь вам же переданы все полномочия.

Вильмо поддержал Шмуке, схватив его под мышки, а церемониймейстер взял отвратительную широкую черную мантию, которую накидывают на плечи наследникам, провожающим катафалк от дома покойника до церкви, и облачил в нее Шмуке, завязав под самым подбородком черные шелковые шнуры.

И Шмуке *нарядили* наследником.

— У нас еще одно большое затруднение,— сказал церемониймейстер.— Надо пристроить четыре кисти на покрове... а держать их некому... Половина одиннадцатого,— прибавил он, посмотрев на часы.— В церкви уже ждут.

— А вот и Фрезье! — весьма неосторожно воскликнул Вильмо.

Но присутствующим было невдомек, что эти слова — прямое признание в сообщничестве.

— Кто этот господин? — спросил церемониймейстер.

— Это от семьи.

— От какой семьи?

— От семьи, обделенной покойным. Это уполномоченный господина Камюзо, председателя суда.

— Хорошо,— сказал с удовлетворенным видом церемониймейстер.— Хоть две кисти пристроены. Одну возьмете вы, другую — он.

Церемониймейстер, обрадованный тем, что пристроил две кисти, взял две пары прекрасных белых замшевых перчаток и любезно предложил их Фрезье и Вильмо.

— Вы, милостивый государь, не откажетесь держать кисти покрова? — спросил он.

Подчеркнуто строгий костюм Фрезье, его черный

фрак и белый галстук, холодная официальность его манер вызывали содрогание — он казался олицетворением сутяжничества.

— Охотно, милостивый государь,— ответил он.

— Еще бы двух, и все четыре кисти пристроены,— сказал церемониймейстер.

В эту минуту подошел ретивый агент фирмы Сонэ в сопровождении единственного человека, который вспомнил Понса и пришел отдать ему последний долг. Этот человек служил в театре ламповщиком, он раскладывал по пюпитрам оркестровые партитуры, и Понс, знавший, что у него большая семья, давал ему ежемесячно пять франков.

— *Ах, Топинар!..*— воскликнул Шмуке, узнав его.— *Ти любиль Понс!..*

— Я, сударь, которое утро захожу, справляюсь о здоровье господина Понса.

— *Которое утро, голюбтшик Топинар?* — сказал Шмуке, пожимая ему руку.

— Да меня, должно быть, принимали за родственника и встречали нелюбезно. Я уж и то говорил, что из театра, что пришел проведать господина Понса, а мне в ответ — «знаем мы вас». Хотелось мне повидать болящего, только меня ни разу к нему не допустили.

— *Безбошная Зибо!* — сказал Шмуке, прижимая к сердцу заскорузлую руку театрального служителя.

— Какой наш господин Понс человек был! Каждый месяц давал мне сто су... Он знал, что у меня жена и трое детей. Жена уже дожидается в церкви.

— *Я буду разделить с тобой последний кусок хлеба!* — воскликнул Шмуке, обрадованный, что с ним человек, любивший Понса.

— Не угодно ли вам держать кисть от покрова? — обратился к Топинару церемониймейстер.— Тогда у нас все четыре пристроены.

Агент фирмы Сонэ тут же согласился держать кисть от покрова, особенно после того, как церемониймейстер показал ему прекрасную пару перчаток, которые по обычаю должны были достаться ему в собственность.

— Без четверти одиннадцать! Пора выходить... в церкви ждут,— заявил церемониймейстер.

И шестеро мужчин вышли на лестницу.

— Заприте квартиру и никуда не отлучайтесь,— сказал неумолимый Фрезье обеим женщинам, которые стояли на площадке.— Особенно, если вы, мадам Кантине, хотите, чтобы вам поручили сторожить имущество. Ведь это сорок су в день!..

По довольно обычной в Париже случайности у подъезда стояло два катафалка, а следовательно, налицо были и две похоронные процессии: катафалк Сибо, скончавшегося привратника, и катафалк Понса. Никто не подходил к великолепному катафалку, чтоб отдать последний долг другу муз, зато все соседние привратники теснились вокруг тела Сибо, чтоб окропить его святой водой. Тот же разительный контраст — толпа народа у гроба Сибо и одинокий гроб Понса — наблюдался не только у подъезда, но и на всем пути следования похоронной процессии; за катафалком Понса шел один только Шмуке, и спотыкавшегося на каждом шагу наследника поддерживал факельщик. От Нормандской улицы до церкви св. Франциска, что на Орлеанской, обе процессии двигались между двумя рядами любопытных, ибо, как уже было сказано, в этом квартале всякое событие в диковинку. Все обращали внимание на роскошный белый катафалк, на котором красовался гербовый щит с огромным вышитым П, — но за этим катафалком шел всего один провожающий,— и на огромную толпу, шедшую за простыми дрогами, какие полагаются, когда хоронят по последнему разряду. К счастью, Шмуке, который совсем оторопел при виде любопытных, глядевших из всех окон, и зевак, стоявших сплошной стеной, ничего не понимал и сквозь слезы, застилавшие глаза, как сквозь пелену, смотрел на сбежавшийся народ.

— Э, да это щелкунчик,— говорили в толпе,— знаете, тот музыкант!

— А кто держит кисти покрова?

— Известно кто! Актеры!

— Гляди-ка, гляди, никак, хоронят бедного папашу Сибо! Еще одним тружеником стало меньше! А как на работу был лют, рук не покладал!

— День-деньской за работой!

— А жену как любил!

— Осиротела, бедняжка!

Ремонанк шел за гробом своей жертвы и выслушивал соболезнования по поводу смерти соседа.

Обе процессии подошли к церкви одновременно; Кантине договорился с привратником, и к Шмуке не подпускали нищих, ибо Вильмо, обещавший наследнику, что к нему не будут ни с чем приставать, оберегал своего клиента и сам выдавал на расходы. Дроги привратника Сибо до самого кладбища провожало человек шестьдесят — восемьдесят. Для сопровождающих тело Понса было подано к церкви четыре экипажа; один для духовенства и три для родственников; но понадобился только один, так как, пока шло отпевание, агент фирмы Сонэ побежал предупредить хозяина о том, что похоронная процессия сейчас тронется, дабы г-н Сонэ мог показать наследнику набросок памятника и смету уже при выходе с кладбища. Фрезье, Вильмо, Шмуке и Топинар поместились в одном экипаже. Два других, вместо того чтоб вернуться в бюро похоронных процессий, поехали порожняком на кладбище Пер-Лашез. Такие пустые экипажи, зря едущие на кладбище,— дело обычное. Когда покойник не пользуется известностью, похороны не вызывают стечения народа, и экипажей всегда бывает больше, чем требуется. В Париже, где никому не хватает двадцати четырех часов в сутки, редко какого покойника провожают до самого кладбища даже родственники или близкие, разве только он был уж очень любим при жизни. Но кучера не хотят упускать чаевые и потому исполняют свой долг до конца. Есть ли седок, или нет, экипажи все равно едут в церковь и на кладбище, а оттуда обратно к дому покойного, где кучера просят на чаек. Даже представить трудно, сколько людей кормятся от покойников. Причт, нищие, факельщики, кучера, могильщики — вся эта братия отличается поразительной поглощающей способностью, после похорон они разбухают, как губка. От церкви, при выходе из которой на Шмуке набросилась целая орава нищих, сейчас же оттиснутых сторожем, до кладбища Пер-Лашез бедный немец ехал словно преступник, которого везут из здания суда на Гревскую площадь. Он хоронил самого себя. Всю дорогу он держал за руку Топинара — единственного человека, который искренне сокрушался о Понсе. Топинар, польщенный оказанной ему честью, тем, что

ему доверили держать кисть покрова, что он едет в экипаже, что он теперь счастливый обладатель пары новых перчаток, решил в конце концов, что похороны Понса — величайший день в его жизни. А убитый горем Шмуке, который чувствовал поддержку только в Топинаре, в сердечном пожатии его руки, сидел в карете с таким покорным видом, словно он теленок, которого везут на убой. На передней скамеечке поместились Фрезье и Вильмо. Те, кто имел несчастье несколько раз провожать своих близких к месту вечного успокоения, знают, что лицемерие сбрасывает маску во время подчас слишком длительного пути от церкви до Восточного кладбища, где собраны богатые памятники и где живые соперничают друг с другом в тщеславии и роскоши. Люди, посторонние умершему, заводят разговоры, и те, кто искренне огорчен, невольно начинают к ним прислушиваться и понемногу отвлекаются от грустных мыслей.

— Господин председатель уже отправился в присутствие,— рассказывал Фрезье старшему писцу,— и я не счел нужным ехать в суд и отрывать его от исполнения обязанностей: все равно бы он опоздал. Поскольку он законный наследник, но лишенный наследства в пользу господина Шмуке, то я решил, что достаточно будет моего присутствия, ибо я представляю его интересы.

Топинар насторожился.

— А что это за тип держал четвертую кисть? — спросил Фрезье.

— Агент мастерской могильных памятников, добивающийся заказа на надгробие в виде трех мраморных фигур, которые должны изображать Музыку, Живопись и Скульптуру, оплакивающих покойного.

— Мысль неплохая,— отозвался Фрезье.— Старичок вполне заслужил такое надгробие. Но памятник обойдется не меньше семи-восьми тысяч.

— Еще бы!

— Если господин Шмуке закажет такой памятник, наследники за это отвечать не могут, ведь этак все наследство ухлопать недолго...

— Начнется тяжба, но фирма выиграет...

— Ну, это его дело! Знаете, с фирмой можно проделать хорошую шутку! — шепнул Фрезье на ухо старшему писцу.— Ведь если завещание будет признано

недействительным, а за это я ручаюсь... или если вообще не окажется завещания, с кого тогда получать прикажете?

Вильмо ухмыльнулся. Теперь старший писец г-на Табаро и стряпчий пододвинулись друг к другу и зашептались; но, несмотря на грохот колес и уличный шум, театральный служитель, привыкший к закулисным интригам, разгадал, что они оба измышляют всякие подвохи против бедного немца, и под конец уловил знаменательное слово «Клиши». С этой минуты достойный и честный служитель актерской братии решил не оставлять на произвол судьбы друга Понса.

На кладбище, где собралась толпа любопытных, церемониймейстер вел Шмуке под руку к вырытой уже могиле, под которую стараниями маклера фирмы Сонэ, заявившего о намерении наследника воздвигнуть великолепный памятник, было куплено у города три метра земли. Но когда Шмуке увидел четырехугольную яму, над которой могильщики держали гроб Понса, напутствуемого последними молитвами духовенства, у него сжалось сердце, и он лишился чувств.

Топинар с помощью маклера и самого г-на Сонэ перенес несчастного немца в заведение мраморщика, где хозяйка и г-жа Витло, жена компаньона фирмы Сонэ, захлопотали вокруг несчастного, проявляя самую сердечную заботливость. Топинар не уходил, так как заметил, что Фрезье, физиономия которого не внушала ему доверия, что-то обсуждает с агентом фирмы Сонэ.

Бедный простодушный немец очнулся примерно через час, то есть около половины третьего. Он надеялся, что события двух последних дней — дурной сон, что, проснувшись, он увидит Понса живым и здоровым. Ему столько раз сменяли мокрое полотенце на лбу, столько раз давали нюхать разные соли и туалетный уксус, что он, наконец, открыл глаза. Г-жа Сонэ насильно влила ему в рот чашку крепкого бульона, так как у мраморщиков как раз варился суп.

— Не часто случается нам иметь дело с такими чувствительными заказчиками; раз в два года, правда, бывает...

Наконец Шмуке запросился домой.

— Сударь,— сказал тогда хозяин фирмы,— вот ри-

сунок, Витло приготовил его специально для вас, всю ночь просидел!.. Но мысль прекрасная!.. Памятник получился очень красивый.

— Он будет украшением кладбища Пер-Лашез! — прибавила миловидная г-жа Сонэ.— Ведь вы должны почтить память друга, который оставил вам все свое состояние.

Проект, который аттестовали как сделанный специально по этому случаю, был изготовлен еще для де Марсе, известного министра; но вдове заблагорассудилось заказать памятник Стидману, и проект фирмы Сонэ был отвергнут, как слишком безвкусный. Тогда три фигуры должны были изображать Июльские дни, во время которых проявил себя сей крупный государственный деятель. Затем, внеся кое-какие изменения, Сонэ и Витло переделали эти исторические аллегории в Армию, Финансы и Семью и предназначили их на памятник Шарля Келлера, но и этот памятник тоже был заказан Стидману. Уже одиннадцать лет проект приспосабливался к разным случаям, и теперь, перерисовывая его еще раз, Витло превратил три фигуры в гениев Музыки, Скульптуры и Живописи.

— Это еще что! А какие будут детали и все сооружение в целом! Через полгода памятник будет готов,— сказал Витло.— Вот смета и заказ... семь тысяч франков, не считая оплаты каменотесов.

— Если вам угодно из мрамора,— добавил Сонэ, специалист-мраморщик,— это обойдется в двенадцать тысяч франков, зато вы увековечите и себя и своего друга...

— Я только что слышал, что завещание собираются оспаривать и наследство, вероятно, достанется законным наследникам,— шепнул Топинар на ухо Витло.— Поезжайте лучше к председателю суда господину Камюзо, а этот бедный простак останется ни при чем...

— Вечно вы таких заказчиков приводите! — набросилась г-жа Витло на агента и начала его бранить.

Топинар пешком повел Шмуке на Нормандскую улицу, куда отправились экипажи.

— *Не покидайте менья!..* — взмолился Шмуке, когда Топинар хотел уйти, передав бедного немца с рук на руки тетке Соваж.

— Уже четыре, дорогой господин Шмуке. Мне еще пообедать надо. Ведь жена у меня капельдинершей при театре, одна будет волноваться, куда я пропал. Вы же знаете, что театр открывается без четверти шесть...

— *Снаю, снаю... Но послюшайте, ведь я зовсем один на свете, один как перст. Ви шалель Понса, помогайте мнье, я брошу сльовно во тьме, а Понс сказаль мнье, што вокруг мерзавцы и негодяи...*

— Я и сам заметил; не будь меня, вас бы запрятали в Клиши.

— *В Клиши?* — воскликнул Шмуке.— *Нитшего не могу понимать.*

— Ах, бедняга! Ну, будьте спокойны, я еще зайду, прощайте!

— *Прошшайте и как мошно скорей приходите!*— прошептал Шмуке, чуть не падая от усталости.

— Прощайте, любезный! — сказала Топинару тетка Соваж тоном, задевшим театрального служителя.

— Что вы о себе воображаете, прислужница! — отпарировал он.— Ни дать ни взять мелодраматический злодей!

— Сам злодей! Нечего вам сюда таскаться и в наши дела нос совать. Небось, хотите у хозяина денежки выманить!

— Денежки выманить! Умолкни, услужающая! — величественно изрек Топинар.— Я в театре простым служителем состою, но артистам всей душой предан. Знайте, что я еще ни у кого ничего не просил! И у вас ведь никто ничего не просит? Никто вам не задолжал, а, старая?

— Вы служите в театре, а величают вас как? — поинтересовалась эта бой-баба.

— Топинаром, с вашего позволения...

— Очень приятно,— сказала тетка Соваж.— Передайте мой низкий поклон вашей супружнице, ежели вы любезный, женаты... Вот и все, что мне от вас нужно.

— Что с вами, моя красавица? — спросила мадам Кантине, входя.

— А то, голубушка, что вам надо присмотреть за обедом, пока я сбегаю к своему хозяину.

— Да он внизу,— перебила ее мадам Кантине,—

разговаривает с мадам Сибо, она, бедняжка, все глаза выплакала.

Тетка Соваж, перепрыгивая через две ступеньки, помчалась вниз, только лестница дрожала у нее под ногами.

— Сударь,— отозвала она Фрезье в сторонку от мадам Сибо и указала на Топинара, который как раз выходил из дому.

Театральный служитель был горд сознанием, что ему удалось отплатить добром своему покойному благодетелю, спасши его друга от расставленной ловушки при помощи хитрости в чисто театральном духе, ибо в театре все в той или иной мере мастера на плутовские проделки. И Топинар дал себе слово и впредь защищать старого музыканта от всех ловушек, в которые, при его простодушии, он, конечно, попадет.

— Видите этого голодранца? Так вот, он корчит из себя честного человека и потому сует свой нос в дела господина Шмуке...

— Кто это? — спросил Фрезье.

— Да так, мелкая сошка...

— В делах нет мелких сошек...

— Фамилия ему Топинар, служит при театре...

— Хорошо, мадам Соваж! Действуйте в том же духе, табачная лавочка вам обеспечена.

И Фрезье возобновил прерванный разговор с мадам Сибо.

— Итак, дорогая клиентка, я утверждаю, что вы вели двойную игру, а раз один компаньон надувает другого, все обязательства прекращаются.

— Когда же это я вас надувала? — сказала тетка Сибо, уперев руки в бока.— Подумаешь, испугалась я ваших кислых слов и покойницкой физиономии... Вы ищете, к чему бы придраться, чтоб отделаться от своих обещаний, а еще называете себя честным человеком! Сказать вам, кто вы такой,— мерзавец! Да, да, да, нечего руку-то расчесывать! Придется вам это скушать!..

— Не надо зря говорить, не надо злиться, голубушка,— остановил ее Фрезье.— Послушайте лучше, что я скажу. Вы денежек уже достаточно хапанули... Вот что я нашел сегодня утром, пока шли приготовления к похоронам: каталог в двойном экземпляре, написанный рукой

господина Понса, и совершенно случайно мне на глаза попались следующие строки.

И он раскрыл рукописный каталог и прочитал:

«№ 7. Великолепный портрет, написанный на мраморе Себастьяном дель Пьомбо в 1546 г., продан семьей, изъявшей его из собора в Терни. Этот портрет, парный с портретом епископа, купленным одним англичанином, изображает молящегося мальтийского рыцаря, он находился над семейной усыпальницей фамилии Росси. Если бы не дата, картину можно было бы приписать Рафаэлю. Я ставлю эту вещь выше, чем портрет Баччо Бандинелли Луврского музея, который считаю несколько суховатым по манере, в то время как краски «Мальтийского рыцаря» сохранились во всей своей свежести благодаря тому, что эта живопись на lavagna (шифер)».

— Но на месте номера семь,— продолжал Фрезье,— я нашел женский портрет, подписанный Шарденом, и без всякого номера... Пока церемонийместер набирал людей, чтоб держать кисти на покрове, я проверил наличие картин; восьми полотен, которые указаны покойным господином Понсом в числе шедевров, недостает, они заменены другими, менее ценными и незанумерованными... Кроме того, не хватает одной небольшой картины на дереве, принадлежащей кисти Метсу и упомянутой в числе шедевров...

— А я, что ли, при его картинах сторожем была? — огрызнулась тетка Сибо.

— Нет, но вы пользовались доверием господина Понса, вели его хозяйство и дела, а здесь налицо кража...

— Кража! Так эти картины, сударь, были проданы господином Шмуке по распоряжению господина Понса, чтоб было на что жить. Так-то вот!

— Кому?

— Господину Элиа Магюсу и Ремонанку...

— За сколько?..

— Запамятовала!..

— Послушайте, голубушка мадам Сибо, вы денежек хапанули, и не так мало!..— продолжал Фрезье.— Я с вас глаз теперь не спущу, вы у меня в руках!.. Поможете мне, и я буду держать язык за зубами. Как бы там ни было, на господина Камюзо вам рассчи-

тывать не приходится, раз вы сочли возможным его ограбить.

— Я так и знала, дорогой господин Фрезье, что останусь при пиковом *антересе*,— ответила тетка Сибо, на которую благотворно подействовало обещание ходатая держать язык за зубами.

— Что вы к ней придираетесь,— вмешался вошедший в эту минуту Ремонанк.— Нехорошо! Сделка совершена по обоюдному согласию между господином Понсом и господином Магюсом вместе со мной, мы три дня никак не могли договориться с покойником, ведь он по своим картинам прямо обмирал! Расписка у нас по всей форме, а что мы дали заработать мадам Сибо десяток-другой франков, так это уж так водится, она попользовалась не больше, чем другие; в каком доме мы что приторгуем, всегда прислугу отблагодарим. А если вы, господин хороший, хотите обидеть беззащитную женщину, чтоб свои делишки обделать, так это не выйдет!.. Так и запишите! Тут господин Магюс всему голова; ежели вы не поладите полюбовно с мадам Сибо, ежели не дадите ей то, что пообещали, так мы с вами еще встретимся на распродаже коллекции, вы еще пожалеете, что вооружили против себя нас с господином Магюсом, уж мы натравим на вас торговцев. Вместо семи- или восьмисот тысяч франков вы и двухсот не выручите.

— Хватит, хватит! Там видно будет. Может, мы еще не станем продавать,— сказал Фрезье,— или продадим в Лондоне.

— Лондоном нас не запугаешь,— отпарировал Ремонанк,— господин Магюс там свой человек, не хуже чем в Париже.

— Прощайте, голубушка, я вас выведу на чистую воду,— сказал Фрезье,— не советую вам выходить из моей воли.

— Мазурик!

— Осторожней,— крикнул Фрезье,— я скоро буду мировым судьей!

Они расстались, осыпая друг друга угрозами, значение которых было в достаточной мере оценено обеими сторонами.

— Спасибо, Ремонанк! — сказала тетка Сибо.— Ка-

кое утешение для бедной вдовы знать, что есть кому за нее заступиться!

Вечером, часов в десять, Годиссар вызвал в кабинет оркестрового служителя. Директор стоял перед камином в наполеоновской позе, усвоенной им с тех пор, как он начал управлять целым сонмом актеров, танцовщиц, статистов, музыкантов, машинистов и вести дела с авторами. В таких случаях он закладывал правую руку за жилет и держался ею за левую подтяжку, а голову поворачивал вполоборота, вперив взор в пространство.

— Скажите, Топинар, вы получаете ренту?

— Нет, сударь.

— Тогда вы, значит, решили подыскать место получше? — спросил директор.

— Нет, сударь,— ответил оркестровый служитель, побледнев как полотно.

— Так какого же черта! Жена твоя капельдинерша... Я не рассчитал ее из уважения к моему предшественнику... Тебя я взял чистить днем кенкеты за кулисами, вечером ты прислуживаешь в оркестре. И это еще не все. Когда на сцене изображается ад, ты у меня главного черта по двадцать су за раз играешь, и все прочие черти у тебя в подчинении. Все театральные служители на такое место зарятся; у тебя, голубчик, в театре много завистников и врагов.

— Врагов! — воскликнул Топинар.

— А у тебя трое детей, старший уже детские роли играет, я ему по пятьдесят сантимов разовых положил.

— Сударь...

— Не перебивай! — громовым голосом остановил его Годиссар.— И при всем этом ты хочешь уйти из театра...

— Сударь...

— Ты хочешь дела обделывать! В чужое наследство нос суешь! Да ведь от тебя только мокренько останется. Мне покровительствует его сиятельство граф Попино, человек высокого ума и железной воли, которого король призвал в свой совет, что было чрезвычайно мудро. Этот государственный муж, занимающий высокий политический пост — я говорю о графе Попино,— женил старшего сына на дочери председателя суда господина де Марвиля,— это один из осмотрительных и уважаемых высших судейских чиновников, светоч

судебного мира. Ты знаешь, что такое суд? Ну, так господин де Марвиль — законный наследник своего родственника Понса, нашего бывшего капельмейстера, на похоронах которого ты сегодня был. Я на тебя не в претензии за то, что ты отдал ему последний долг... Но ты потеряешь место, если будешь совать нос в дела уважаемого господина Шмуке; я, конечно, желаю ему всяческих благ, но можешь быть уверен, отношения у него с законными наследниками Понса очень осложнятся. На немца-то мне плевать, а вот с председателем суда и графом Попино нельзя не считаться. Так мой тебе совет: не путайся в дела достойного немца, за него его немецкий бог постоит, нечего тебе брать на себя роль божьего помощника. Оставайся-ка на своем месте в театре! Так-то лучше будет!

— Я понял, господин директор,— сказал потрясенный Топинар.

Таким образом, Шмуке, ожидавший, что на следующий день к нему зайдет бедный театральный ламповщик, единственный человек, который пожалел Понса, лишился и этого посланного ему судьбой защитника. Проснувшись на следующее утро в опустевшей квартире, горемычный немец почувствовал всю тяжесть своей утраты. События предыдущих дней и хлопоты по похоронам вносили в дом суету, движение, которые как-то отвлекали от грустных мыслей. Но мрачная мертвая тишина, наступающая после похорон друга, отца или любимой жены, поистине ужасна, она леденит сердце. Непреодолимая сила влекла несчастного старика в спальню к Понсу, но там он не выдержал и убежал в столовую, где мадам Соваж накрывала стол к завтраку. Шмуке сел за стол, но кусок не шел ему в горло. Вдруг громко зазвонил колокольчик, и появились три черные фигуры, беспрекословно впущенные мадам Кантине и мадам Соваж. Впереди — г-н Витель, мировой судья, и его протоколист. За ними — Фрезье. После постигшего его разочарования с завещанием, составленным по всем правилам и выбивавшим у него из рук могучее оружие, которое он так дерзко выкрал, физиономия Фрезье стала еще более кислой, еще более противной, чем обычно.

— Мы пришли наложить печати,— мягко сказал мировой судья.

Шмуке, для которого эти слова были китайской грамотой, растерянно обвел взглядом всех троих.

— Мы пришли по заявлению господина Фрезье, адвоката, уполномоченного господином Камюзо де Марвилем — родственником и законным наследником покойного господина Понса,— пояснил протоколист.

— Коллекции вон там, в большом зале, и в спальне покойного,— сказал Фрезье.

— Итак, приступим. Прошу прощения, сударь, завтракайте, пожалуйста, не беспокойтесь,— сказал мировой судья.

Появление этих трех черных фигур повергло в ужас бедного немца.

— Сударь,— сказал Фрезье, вперив в Шмуке ядовитый взгляд, которым он гипнотизировал свои жертвы, как паук гипнотизирует муху,— сударь, вы сумели заблаговременно добиться нотариального завещания в вашу пользу, и вы, конечно, должны были ожидать, что со стороны родственников последует протест. Родственники не могут покорно ждать, пока их ограбит посторонний человек, и мы еще посмотрим, сударь, что победит — обман, мошенничество или родственники!.. Мы, как наследники, вправе требовать наложения печатей, печати будут наложены, и я хочу самолично удостовериться, что эта охранительная мера будет проведена строжайшим образом, и как я сказал, так оно и будет.

— *Господи боше мой, господи боше мой, чем я прогневиль небеза?* — пролепетал бесхитростный немец.

— В доме про вас много всякого болтают,— сказала тетка Соваж.— Сегодня, вы еще спали, приходил тут какой-то франтик, в черном сюртуке и штаны черные, такой хлыщ, старший писец господина Аннекена, так он обязательно хотел вас видеть; да вы спали, уж очень вы после вчерашних похорон умаялись, вот я и сказала, что вы подписали бумагу господину Вильмо, старшему писцу господина Табаро, и чтоб он со всеми делами к нему шел. «Тем лучше,— сказал этот франтик,— я с ним договорюсь. Мы заявим о завещании в суд, предварительно представив его председателю». Я попросила его прислать к нам, как только можно будет, господина Вильмо. Не беспокойтесь, сударь,— добавила тетка Соваж,— найдется кому за вас постоять. Не дадут вас в

обиду. Господин Вильмо — человек зубастый! Он им все раздокажет! Я уж и то поругалась с мадам Сибо: мерзавка такая, туда же, привратница, а наговаривает на жильцов, рассказывает, что вы надули наследников, держали здесь господина Понса взаперти, тиранили, что он был полоумным. Зато уж и я ее, пакостницу, отчитала. «Воровка, говорю, вот вы кто, и дрянь паршивая! Вас еще судить будут за то, что вы своих господ обокрали». Она и заткнулась.

— Сударь,— сказал протоколист, пришедший за Шмуке,— угодно вам будет присутствовать при наложении печатей на спальню покойного?

— *Деляйте, што хотите!* — ответил Шмуке.— *Я надеюсь, што мне дадут умирать спокойно!*

— Права умереть никого не лишают,— усмехнулся протоколист.— По части наследства я уж давно работаю, да что-то не случалось видеть, чтобы единственный наследник сошел в могилу следом за своим завещателем.

— *А я зойду, зойду в могиля!* — повторил Шмуке, чувствовавший после стольких потрясений невыносимую боль в сердце.

— А, вот и господин Вильмо! — воскликнула тетка Соваж.

— *Господин Вильмо,*— взмолился несчастный старик.— *я вас просиль представлять мои интерес...*

— Спешу сообщить вам,— сказал старший клерк,— что с завещанием все в порядке, суд его, несомненно, утвердит, и вы будете введены в права наследства... Богачом станете!

— *Я, богатшом!* — воскликнул Шмуке в полном отчаянии, что его могут заподозрить в корыстных чувствах.

— А что там мировой судья делает,— спросила тетка Соваж,— зачем ему свечка и бечевка понадобились?

— А это он опечатывает, идемте, господин Шмуке, вы имеете право присутствовать.

— *Ходите ви...*

— Не пойму, зачем опечатывать, раз ты у себя дома и все твое? — сказала тетка Соваж, по-женски расправляясь с законом и переиначивая его на свой вкус.

— Ваш хозяин не у себя, голубушка, он у господина Понса, конечно, все здесь будет принадлежать ему, но

наследник может получить все, что ему отказано, только после того, что на нашем юридическом языке называется введением в права наследства. Этот юридический акт исходит от суда. Если обойденные в завещании законные наследники подают протест против введения в наследство, начинается тяжба... А так как неизвестно, кто выиграет дело, все ценности опечатываются и в положенный законом срок нотариусы наследников и завещателя составляют опись имущества... Вот как оно полагается.

В первый раз в жизни услышав такие речи, Шмуке совсем потерялся, голова у него отяжелела, и он откинулся на спинку кресла, на котором сидел. Вильмо присоединился к мировому судье и протоколисту и с профессиональным равнодушием стал следить за наложением печатей, процедурой, во время которой, разумеется, если тут нет наследников, отпускаются обычно всякие шуточки и замечания насчет вещей, временно, до раздела имущества, взятых под стражу. Наконец четыре чиновника, и протоколист в том числе, заперли зал и возвратились в столовую. Шмуке машинально следил за процедурой опечатывания, которая заключается в том, что печатью мирового суда скрепляют бечевку на обеих створках двери, ежели она двустворчатая, и опечатывают шкафы или одностворчатые двери, накладывая печать на край дверки и стенки или на край двери и дверной косяк.

— Теперь перейдем в эту комнату,— сказал Фрезье, указывая на спальню Шмуке, дверь которой выходила в столовую.

— Так ведь это же спальня господина Шмуке! — воскликнула тетка Соваж и загородила собой дверь.

— Вот квартирный контракт,— возразил неумолимый Фрезье,— мы нашли его в бумагах, он составлен не на имя господ Понса и Шмуке, а на имя одного господина Понса. Обстановка всей квартиры входит в наследство... Да к тому же,— прибавил он, открывая дверь в комнату Шмуке,— видите, господин судья, тут полно картин.

— А ведь правда,— согласился мировой судья, тотчас же становясь на сторону Фрезье.

— Постойте, господа,— сказал Вильмо.— Вы что

же, думаете выставить за дверь единственного наследника, права которого пока не оспариваются?

— Нет, оспариваются! — возразил Фрезье.— Мы протестуем против введения в наследство.

— А на каком основании?

— Основания найдутся, милый юноша! — насмешливо сказал Фрезье.— В данный момент мы не протестуем, чтобы наследник взял то, что, по его заявлению, принадлежит ему лично, но опечатать спальню мы опечатаем, пусть переезжает на житье куда ему угодно.

— Нет,— возразил Вильмо,— господин Шмуке будет жить у себя в спальне!

— Как так?

— Я получу предварительное решение,— пояснил Вильмо,— в котором будет указано, что мой доверитель является съемщиком квартиры на половинных началах, и вы его отсюда не выставите... Снимите картины, выясните, что принадлежит покойнику, что моему доверителю, но мой доверитель не уйдет никуда... милый юноша!

— *Я буду уходить!* — сказал старый музыкант, который, слушая это отвратительное препирательство, вновь обрел какие-то силы.

— И правильно сделаете! — заметил Фрезье.— По крайней мере избавите себя от ненужных расходов, потому что в этом спорном вопросе вы проиграете. Контракт является официальным документом...

— Контракт, контракт! — сказал Вильмо.— Поверят нам, а не контракту.

— Тут свидетельские показания не могут быть приняты во внимание, как в уголовных делах... Ведь не собираетесь же вы прибегать к экспертизе, к расследованию... к частным постановлениям и судопроизводству?

— *Нет, нет, нет!* — возопил испуганный Шмуке.— *Я сейтшас ше буду переесшать, я буду уходить...*

Шмуке, по образу своей жизни, потребности которой он ограничил до предела, был, сам того не подозревая, философом и стоиком. Все его имущество состояло из двух пар ботинок, пары сапог, двух пар носильного платья, дюжины сорочек, дюжины шелковых шейных и дюжины носовых платков, четырех жилетов и вели-

колепнейшей трубки с вышитым кисетом — и то и другое было подарком Понса. Он вошел в спальню, страшно возбужденный, кипя негодованием, взял свои пожитки и положил на стул.

— *Вот это вешши все мое,*— сказал он с простотой, достойной Цинцинната.— *И фортепьяно тоше мое.*

— Мадам,— обратился Фрезье к тетке Соваж,— позовите кого-нибудь на помощь и выставьте на площадку фортепьяно!

— Вы уж слишком жестоки,— вступился Вильмо.— Здесь распоряжается господин мировой судья, его дело приказывать.

— Там есть ценности,— заметил протоколист, указывая на спальню.

— Кроме того, ваш доверитель уходит по доброй воле,— прибавил мировой судья.

— Никогда еще не встречал таких клиентов,— сказал возмущенный Вильмо, повернувшись к Шмуке.— Вы податливы, как воск!

— *Мнье бесраслитшно, где я буду умирать!* — сказал Шмуке, выходя из комнаты.— *Это не люди, а тигри... Я пришлю за своими пошитками,*— прибавил он.

— Куда, сударь, вы пойдете?

— *Куда будет угодно господу богу!* — ответил единственный наследник, с великолепным равнодушием махнув рукой.

— Укажите мне ваш адрес.

— Ступай за ним следом,— шепнул Фрезье на ухо старшему писцу.

Мадам Кантине приставили сторожить печати и выдали ей пятьдесят франков из тех денег, что были обнаружены в комнате.

— Все идет хорошо,— сказал Фрезье г-ну Вителю, когда Шмуке ушел.— Если вы хотите уступить свою должность мне, повидайте супругу председателя суда госпожу де Марвиль, вы с ней договоритесь.

— Вам повезло,— это не человек, а ягненок! — сказал судья, указывая на Шмуке, который со двора в последний раз смотрел на окна своей квартиры.

— Да, дело в шляпе! — ответил Фрезье.— Не сомневайтесь, выдавайте внучку за Пулена, он будет главным врачом в приюте для слепых.

— Посмотрим. Прощайте, господин Фрезье,— сказал мировой судья, по-приятельски пожимая ему руку.

— У этого человека богатые данные,— заметил протоколист.— Далеко пойдет, такой пройдоха!

Было одиннадцать часов; старик немец, поглощенный мыслью о покойном друге, машинально выбрал тот путь, по которому обычно ходил с Понсом; он видел его как живого; Понс шагал тут же рядом, и так Шмуке добрел до театра, откуда как раз выходил его друг Топинар, только что покончивший с чисткой кенкеток за кулисами и раздумывавший о тиране-директоре.

— *Вот, тебья-то мнье и нушно,*—воскликнул Шмуке, останавливая бедного ламповщика.— *Топинар, у тебья есть квартира?*

— Да, сударь.

— *И шена есть?*

— Да, сударь.

— *Восьмешь менья в стольовники? Я хорошо заплатшу, у менья девятьсот франков ренти, а шить мне осталось недольго... Я тебья не буду стеснять... Я все кушаю... Мнье только трубка моя нушна... А тебья я люблю, ведь только ми с тобой над Понсом и поплякали.*

— Я бы, сударь, всей душой, да только... можете себе представить, господин Годиссар мне такую нахлобучку дал...

— *Нахлобутшку?*

— Попросту говоря, намылил голову.

— *Намилиль гольову?*

— Ну, ругал меня за то, что я принял в вас участие... Если вы хотите перебраться ко мне, надо все в тайне держать! Да только не думаю, чтоб вам у меня понравилось, вы не знаете, как такие бедняки, как я, живут...

— *Я лютше буду шить в бедном доме зердетшного тшельовека, пошалевшего Понса, тшем в Тюильри с тиграми в облике тшельовека! Я ушель от Понса, потому што там тигри, они готови все пошрать.*

— Идемте, сударь,— сказал ламповщик,— посмотрите сами... Есть у нас отдельный чуланчик... Посоветуемся с женой.

Шмуке покорно, как ягненок, побрел за Топинаром, и тот привел его в ужасную трущобу, подлинную язву Парижа. Место это называется кварталом Бордэн. Это

узкий проулок, с доходными домами по обе стороны, выходящий на улицу Бонди в том месте, где ее лишает доступа света огромное здание театра Порт-Сен-Мартен, выросшее словно бородавка на лице Парижа. Проулок идет от улицы Бонди вниз и спускается к улице Матюрен-дю-Тампль, а за нею упирается в другую улицу, образуя тупик в форме Т. На этих двух уличках, так необычно расположенных, стоит примерно тридцать шести- и семиэтажных домов, где в каждом дворе и чуть ли не в каждой квартире чем-то торгуют, столярничают, портняжничают, сапожничают... Это Сент-Антуанское предместье в миниатюре. Здесь делают мебель, занимаются резьбой по металлу, шьют театральные костюмы, работают по стеклу, разрисовывают фарфор — словом, здесь создаются все причудливые разновидности парижских изделий. В этом непривлекательном с виду проулке, грязном и бойком, как сама торговля, всегда топчется народ, снуют тележки, грохочут ломовики; густо его населяющий люд вполне ему соответствует. Это мастеровые, народ умелый, но все их умение поглощается ремеслом. Топинар поселился в этом квартале, где процветали всяческие ремесла, привлеченный дешевизной квартир. Он жил во втором от угла доме, по левую руку. Из его квартиры, на шестом этаже, были видны еще сохранившиеся сады трех или четырех больших особняков на улице Бонди.

В топинаровской квартире было две комнаты и кухня. В первой комнате спали дети. Там стояли две некрашеные деревянные кроватки и колыбель. Во второй — супруги Топинары; обедали на кухне. Над кухней имелось что-то вроде чердака, высотой в шесть футов, с оконцем, выходящим на оцинкованную крышу. В эту верхнюю каморку вела некрашеная деревянная лестница без перил. Благодаря этому чулану, именовавшемуся комнатой для прислуги, помещение, которое занимали Топинары, считалось квартирой с удобствами и сдавалось за четыреста франков. Входная дверь вела в сводчатую прихожую, назначением которой было скрыть от входящего кухню; прихожая освещалась круглым окном из кухни и состояла, собственно говоря, из трех дверей: двери в детскую, в кухню и на лестницу. Пол в квартире был выложен плитками, стены оклеены деше-

выми обоями, по шести су за кусок, в каждой комнате был камин с колпаком, покрашенный простой коричневой краской. В этих трех комнатах жила семья из пяти человек — муж, жена и трое детей. Легко догадаться, что везде, куда добрались детские ручонки, стены были исцарапаны и изодраны. Человек с достатком и представить себе не может, до чего скудна кухонная утварь в таких семьях: сковорода, котел, вертел, кастрюля, два-три жестяных кувшина и плитка. Фаянсовая посуда, коричневая с белым, стоила не больше двенадцати франков. Обедали за тем же столом, на котором готовили. Всю мебель составляли два стула и две табуретки. Под плитой стояла корзина с углем и дровами. А в углу — лохань, в которой стиралось белье, что обычно происходило в ночное время. В детской, где были натянуты веревки для сушки белья, на стенах висели театральные афиши и картинки, вырезанные из газет или из проспектов иллюстрированных книг. С шести часов, когда родители уходили в театр, хозяйство возлагалось на старшего сына Топинаров, учебники которого валялись в углу. У простонародья во многих семьях дети шести-семи лет уже заменяют мать младшим сестрам и братьям.

Из этого коротенького наброска ясно, что супруги Топинары, по выражению, вошедшему уже в поговорку, были бедные, но честные люди. Мужу было лет сорок, а жене, в прошлом солистке хора и, как говорили, любовнице того разорившегося директора, на смену которому пришел Годиссар, около тридцати. Лолотта, в свое время видная женщина, после бед, обрушившихся на прошлого директора, потеряла прежнее положение, и ей ничего не оставалось, как сойтись с Топинаром. Она была уверена, что, когда они смогут отложить сто пятьдесят франков, Топинар выполнит свои обязательства перед законом, хотя бы для того, чтобы узаконить детей, которых он обожал. В свободные минуты по утрам мадам Топинар шила на театральную мастерскую. Мужественная пара трудилась не покладая рук и зарабатывала девятьсот франков в год.

— Еще этаж! — начиная с третьего этажа стал предупреждать Топинар, но Шмуке был так поглощен своим горем, что даже не соображал, подымается он наверх или спускается вниз по лестнице.

Когда театральный служитель, одетый, как обычно ходят рабочие сцены, в холщовую блузу, открыл дверь, послышался голос мадам Топинар:

— Тсс-тсс, дети, тсс-тсс, папа пришел!

Дети, надо думать, ничуть не боялись отца: старший, вспоминая виденное в цирке, оседлал половую щетку и командовал атакой, вторая трубила в жестяную дудку, а третий замыкал шествие. Мать шила театральный костюм.

— Тише!— громко крикнул Топинар,— а не то порка будет! Их никогда не вредно постращать,— шепнул он Шмуке.— Послушай, милочка,— обратился он к жене,— это господин Шмуке, друг бедного господина Понса; ему некуда деться, и он очень хотел бы перебраться к нам; я уж ему говорил, что живем мы не ахти как, на шестом этаже, что можем предложить только чулан, но господин Шмуке настаивает...

Шмуке сел на стул, пододвинутый ему хозяйкой, а ребятишки, смущенные появлением чужого, жались друг к другу и молча внимательно его разглядывали, тут же отводя глаза, потому что дети, как и собаки, скорее угадывают чутьем, чем разбираются рассудком. Немец смотрел на детишек, особенно на пятилетнюю белокурую девчурку с прекрасными волосами, ту, что трубила в дудку.

— *Она похоша на немецкую девотшку*,— заметил Шмуке, поманив ее пальцем.

— У нас, сударь, вам будет очень неудобно,— сказала хозяйка,— я бы уступила вам нашу спальню, да только мне от детей уйти нельзя...

Она открыла дверь в спальню и пропустила туда Шмуке. Эта комната была предметом ее гордости. Кровать красного дерева под голубым коленкоровым пологом с белой бахромой. На окнах занавески из того же коленкора. Комод, секретер, стулья тоже были красного дерева и содержались в чистоте. На камине стояли часы и подсвечники, по-видимому, подарок разорившегося директора, портрет которого — плохой портрет работы Пьера Грассу — висел над комодом. Дети, которым вход в это святилище был строго-настрого запрещен, с любопытством заглядывали туда.

— Здесь бы, сударь, вам было неплохо,— сказала капельдинерша.

— *Нет, нет* — ответил Шмуке,— *шить мне осталось недолго, мне только уголь нушен, где би умирать.*

Закрыв дверь в спальню, хозяйка повела гостя в мансарду, и Шмуке, как только вошел, сразу же воскликнул:

— *Вот и отлитшно! Без Понса я тоше так шиль.*

— Ну что ж, купите складную кровать, два тюфяка, подушку, два стула и стол. От этого не разоришься... стоить это может пятьдесят экю, не больше, за те же деньги и таз с кувшином и коврик к кровати купите...

Договорились обо всем. Остановка была за малым— не хватало пятидесяти экю. Театр был рядом, и Шмуке, увидев, как огорчены его новые друзья, решил просить у директора свое жалованье. Он тут же отправился в театр и прошел прямо к Годиссару. Директор принял его с несколько церемонной вежливостью, как обычно принимал артистов, и был очень удивлен, когда Шмуке попросил у него свое месячное жалованье. Однако, сверившись с книгами, он признал, что просьба правильна.

— Да, милейший,— сказал директор,— немцы — народ дотошный, даже в горе они своего не упустят... Я полагал, что вы удовлетворитесь тысячей франков наградных, и считал, что мы в расчете. Ведь вам выдано годовое жалованье!

— *Ми нитшего не полютшали,*— сказал добряк немец,— *я просиль у вас деньги только потому, что отшутилься на улице без гроша в кармане... Тшерез кого передали ви наградние?*

— Через вашу привратницу!..

— *Тшерез мадам Зибо!* — воскликнул музыкант.— *Она убиль Понса, обокраль, продаль его... Она хотель сшетшь его завешшание в камин, она мерзавка, зльодейка!*

— Но, милейший, как же это возможно, чтоб единственный наследник — и вдруг на улице, без гроша в кармане, без крыши над головой! Да ведь это же, как у нас говорят, лишено здравого смысла!

— *Менья вигналь... Я есть иностранец, я нитшего не могу понимать в закон...*

«Эх, бедняга»,— подумал Годиссар, предвидя ис-

ход столь неравной борьбы.— Послушайте,— обратился он к Шмуке,— знаете, что я вам посоветую...

— *Я взяль адвокат!*

— Не откладывая, постарайтесь уладить это дело с законными наследниками; выговорите себе определенную сумму и пожизненную ренту и доживайте спокойно свой век...

— *Я этого отшень хотшу!* — ответил Шмуке.

— Хотите, я вам это устрою? — сказал Годиссар, которому Фрезье изложил накануне свой план действия.

Годиссар рассчитывал услужить молодой виконтессе Попино и ее мамаше, уладив это грязное дело. «Может быть, со временем получу статского советника»,— думал он.

— *Я вас упольноматшиваю...*

— Ну и отлично! Прежде всего,— сказал сей Наполеон парижских театров,— вот сто экю...

Он достал из кошелька пятнадцать луидоров и протянул их музыканту.

— Это вам жалованье за полгода вперед; если вы потом уйдете из театра, вы мне их вернете. Давайте посчитаем! Сколько вы расходуете в год? Много ли вам требуется для полного благополучия? Не стесняйтесь, не стесняйтесь, говорите, сколько вам надо, чтобы жить как Сарданапал?

— *Мне нушно одну зимню и одну летню одешду.*

— Триста франков! — сказал Годиссар.

— *Башмаки, тшетире пари...*

— Шестьдесят франков.

— *Тшульки.*

— Кладу двенадцать пар! Тридцать шесть франков.

— *Полдюшины соротшек.*

— Полдюжины бумажных сорочек, двадцать четыре франка, столько же полотняных, сорок восемь франков, всего семьдесят два. Значит, четыреста шестьдесят восемь, с галстуками и носовыми платками, ну, скажем, пятьсот; сто франков — прачка... всего шестьсот франков! Теперь сколько нужно на жизнь?.. Три франка в день?

— *Нет, это есть много!*

— Прибавим еще на шляпы... Итого полторы тысячи франков, и пятьсот на квартиру — две тысячи. Хоти-

те, чтоб я выхлопотал вам две тысячи франков пожизненной ренты... с полной гарантией?

— *А ешше на табак?*

— Две тысячи четыреста!.. Ах, папаша, папаша, знаем мы, что вам за табак нужен!.. Вот дождетесь, покажут вам такой табак! Ну, хорошо, две тысячи четыреста франков пожизненной ренты...

— *Ешше не все! Я хотшу полютшить сразу некоторую зумму...*

«На булавки!.. Так! Ох уж эти мне простодушные немцы! Вот ведь старый разбойник! Не хуже Робер Макэра»,— подумал Годиссар.— Сколько вам надо?—спросил он.— Но уж больше ни-ни!

— *У меня есть свяшшенний для менья дольг.*

«Долг! — подумал Годиссар.— Вот мошенник, тоже мне, золотая молодежь! Он еще вексель придумает! Надо кончать это дело. А Фрезье-то не сообразил, с кем дело имеет».— Ну, какой долг, милейший? Я слушаю!

— *Кроме менья, только один тшельовек пошалель о Понс... У него отшаровательная дотшурка с прекрасными белокурими волозиками. Я смотрель на нее, и мне казалось, што сюда залетель ангелотшек из моя бедная Германия, откуда мне не надо било уесшать... Париш недобрий город для немцев, над нами здесь смеются,*— сказал он, кивнув несколько раз головой, как человек, который насквозь видит все коварства мира сего.

«Да он спятил!» — подумал Годиссар.

И, охваченный жалостью к простодушному немцу, директор прослезился.

— *Ах, ви менья понимаете, герр дирэктор! Ну, так этот тшельовек с дотшуркой — Топинар, ламповщик и слюшитель при оркэстр. Понс его любиль и помогаль, один только Топинар биль на похоронах моего единственного друга, стояль в церкви, провошаль на кльадбишше... Я хотшу полютшить три тисятши франков для него и три для его девотшки...*

«Бедняга!» — мысленно пожалел его Годиссар.

Рьяного выскочку Годиссара тронуло такое благородство, такая признательность за поступок, который в глазах других людей был сущей безделицей, а в глазах кроткого агнца Шмуке перетягивал, подобно стакану воды Боссюэ, все великие победы завоевателей мира.

При всем своем тщеславии, при яростном желании выбиться и дотянуться до своего друга Попино, Годиссар был человеком от природы добрым, отзывчивым. И он отказался от своих слишком поспешных суждений о Шмуке и встал на его сторону.

— Вы все получите! Я сделаю больше, дорогой Шмуке. Топинар — честный человек...

— *Да, я только што биль у него дома, при всей своей бедности, он не нарадуется на детишек...*

— Я возьму его в кассиры, ведь старик Бодран уходит...

— *Да блягосльовит вас бог!* — воскликнул Шмуке.

— Ну, так вот что, любезный друг, приходите в четыре часа сегодня вечером к нотариусу господину Бертье, я все улажу, и вы до конца жизни ни в чем не будете знать нужды... Вы получите шесть тысяч франков, и будете работать с Гаранжо на тех же условиях, на которых работали с Понсом.

— *Нет,* — сказал Шмуке, — *мне уш не шить на свете!.. Душа ни к тшему не лешит... Я, дольшно бить, болен...*

«Бедная кроткая овечка, — подумал Годиссар, прощаясь с собравшимся уходить немцем.— В конце концов кушать каждому хочется. И как сказал наш великий Беранже:

Овечки бедные, всегда вас будут стричь».

И не желая поддаваться умилению, он громко пропел этот политический афоризм!

— Распорядитесь, чтоб подали карету! — сказал он рассыльному.

И вышел из театра.

— На Ганноверскую улицу, — приказал Годиссар кучеру.

В нем снова заговорил честолюбец! В мыслях он уже заседал в государственном совете.

А повеселевший Шмуке тем временем покупал цветы и пирожные для топинаровских детишек.

— *Я угошшаю пирошним!* — сказал он улыбаясь.

Это была первая улыбка за три месяца, и при виде этой улыбки всякий содрогнулся бы от жалости.

— *Я угошшаю з одним усльовием.*

— Вы очень добры, сударь,— сказала мать.

— *Я хотшу, штоб девотшка менья поцельоваль и вплель цвети в коситшки, а коситшки польошиль вокруг голови, как носят у нас немецкие девотшки.*

— Ольга, слышишь, что велел господин Шмуке...— строго сказала капельдинерша.

— *Не ругайте на мою миляю немецкую девотшку!*— воскликнул Шмуке, для которого в этой девочке воплотилась его родная Германия.

— Все добро куплено и едет сюда на горбу у трех носильщиков! — возгласил Топинар, входя.

— *Вот, голюбшик, двести франков,*— сказал немец,— *заплятите за все... Какая у вас слявная хозяйка, ви на ней женитесь, правда? Я дам вам тысятшу экю... Девотшке тоше будет приданое в тысятшу экю, полошите на ее имя. А ви теперь будете не лямповшиком... ви будете кассир...*

— На место папаши Бодрана, это я-то?

— *Да.*

— Кто вам сказал?

— *Господин Годиссар!*

— Да с такой радости я с ума сойду! Вот в театре будут злиться, а, Розали, как ты думаешь? Да нет, не может этого быть! — воскликнул он.

— Нельзя, чтоб наш благодетель жил на чердаке...

— *Затшем об этом говорить, сколько мне шить осталось! Отлитшно прошиву,*— сказал Шмуке.— *Просшайте, я буду пойти на кладбище посмотреть, как там Понс... Закашу цветов на могильку!*

Все это время г-жа Камюзо де Марвиль пребывала в большом волнении. У нее в доме состоялось совещание между Фрезье, Годешалем и Бертье. Нотариус Бертье и поверенный Годешаль считали, что завещание, составленное двумя нотариусами в присутствии двух свидетелей, опротестовать невозможно, тем более что Леопольд Аннекен сформулировал его в очень точных выражениях. Честный Годешаль полагал, что если теперешнему поверенному и удастся обмануть старика музыканта, то рано или поздно кто-нибудь все равно откроет ему глаза, всегда найдется адвокат, который, желая сделать карьеру, прибегнет к такому великодушному и гуманному жесту. Итак, оба юриста попрощались с супру-

гой председателя суда и посоветовали ей не очень-то полагаться на Фрезье, о котором они, разумеется, уже навели справки. А Фрезье, воротившийся после наложения печатей, строчил тем временем вызов в суд, сидя в кабинете председателя суда, куда г-жа де Марвиль увела его по совету обоих юристов, ибо они не пожелали высказать в присутствии Фрезье свое мнение, которое сводилось к тому, что председателю суда не следует впутываться, как они выразились, в такое грязное дело.

— Где же, сударыня, ваши поверенные? — спросил бывший мантский стряпчий.

— Ушли. А мне посоветовали отказаться от этого дела! — ответила г-жа де Марвиль.

— Отказаться,— повторил Фрезье, с трудом сдерживая злобу.— Вот, сударыня, послушайте...

И он прочитал вслух следующий документ:

— «По прошению господина и проч. и проч. (опускаю следующее за сим формальное пустословие).

Принимая во внимание, что господину председателю суда первой инстанции было вручено завещание, составленное мэтром Леопольдом Аннекеном и Александром Кротта, парижскими нотариусами, в присутствии двух свидетелей, господ Бруннера и Шваба, иностранноподданных, проживающих в Париже, и что, согласно этому завещанию, покойный господин Понс отказал все свое состояние некоему господину Шмуке, немцу по происхождению, нанеся тем самым ущерб истцу, своему естественному и законному наследнику,

Принимая во внимание обязательство истца доказать, что завещание составлено с целью присвоить себе наследство нечестным путем при помощи разных противозаконных происков; обязательство весьма уважаемых лиц засвидетельствовать не раз высказанное намерение завещателя оставить все свое состояние мадемуазель Сесиль, дочери упомянутого выше господина де Марвиля, принимая во внимание, что завещание, признать недействительность которого требует истец, было получено путем насилия над волей завещателя, находившегося в состоянии болезни и умственного расстройства,

Принимая во внимание, что господин Шмуке, дабы присвоить себе наследство, насильственно держал завещателя взаперти, не допускал к нему родственников и,

получив желаемое, проявил черную неблагодарность, возмутившую всех жильцов дома и обитателей квартала, которые, придя отдать последний долг привратнику того дома, где квартировал покойный завещатель, случайно оказались свидетелями этой черной неблагодарности,

Принимая во внимание, что господам судьям будут представлены еще более веские доказательства, которые в данный момент выясняются истцом,

я, нижеподписавшийся судебный пристав и проч., и проч., и проч., от имени вышеупомянутого просителя просил вызвать в суд господина Шмуке и предложить ему явиться в первую камеру суда, дабы быть официально оповещенным, что завещание, составленное в присутствии нотариусов Аннекена и Кротта, с явным намерением присвоить нечестным путем наследство, будет рассматриваться как недействительное и не имеющее силы; кроме того, я опротестовал от имени того же истца признание господина Шмуке единственным наследником, предвидя, что истец может таковому признанию воспротивиться, как он и противится, что видно из прошения, поданного сего дня, сего месяца господину председателю суда и опротестовывающего введение в наследство, о чем ходатайствовал вышеназванный господин Шмуке, коему послана копия сего, причем судебные издержки...» и т. д.

— Я, сударыня, этого человека знаю, дайте только ему получить мое любовное послание, он сейчас же пойдет на мировую. Он обратится за советом к Табаро. А Табаро посоветует ему принять наши требования. Вы согласны выплачивать ему тысячу экю пожизненно?

— Ну, конечно, я была бы рада уже сейчас выплатить ему первый взнос.

— Не пройдет и трех дней, как все будет улажено... Вызов в суд он получит, еще не оправившись от первого горя; бедняга очень о Понсе горюет. Он тяжело переносит эту потерю.

— А прошение о вызове в суд можно взять обратно? — осведомилась супруга председателя.

— Ну, разумеется, сударыня, отказаться никогда не поздно.

— Хорошо, сударь,— сказала г-жа Камюзо.— Действуйте смело! Обещанное вами наследство стоит того,

Да, между прочим, с Вителем я договорилась, но вы уплатите ему за то, что он выйдет в отставку, шестьдесят тысяч франков из понсовского наследства... Вы сами видите, дело того стоит...

— Он уже подал в отставку?

— Да. Господин Витель вполне полагается на моего мужа.

— Итак, сударыня, я уже уменьшил наследство на шестьдесят тысяч франков, так как считаю нужным дать отступного этой подлой привратнице, тетке Сибо. Но я очень прошу выхлопотать патент на табачную торговлю для мадам Соваж и назначение моего друга Пулена на вакантную должность старшего врача приюта для слепых.

— Да, да, все будет сделано.

— В таком случае мы договорились. Все в этом деле на вашей стороне, даже Годиссар, директор театра; вчера я был у него, и он обещал утихомирить ламповщика, который мог расстроить наши замыслы.

— О, я знаю, господин Годиссар очень предан семейству Попино!

Фрезье вышел. К несчастью, он разминулся с Годиссаром, и роковому прошению о вызове в суд был дан ход.

Алчные люди одобрят, а честные с отвращением осудят ликование г-жи де Марвиль, к которой через полчаса после ухода Фрезье явился Годиссар и передал ей свой разговор с несчастным Шмуке. Г-жа де Марвиль согласилась на все, она была бесконечно признательна директору театра за то, что он успокоил ее совесть доводами, которые она сочла вполне убедительными.

— Сударыня,— сказал Годиссар,— я подумал: ведь он, бедняга, не будет даже знать, что ему делать с таким богатством, и поспешил сюда. Поистине, он так же чист сердцем, как наши праотцы. Это ходячая простота, типичный немец, дурачок какой-то, впору под стеклянный колпак поставить, как воскового Христа. По-моему, он и с двумя с половиной тысячами франков пенсии не будет знать, что делать, вы его толкаете на разврат...

— Обогатить этого старого холостяка, который был так привязан к нашему родственнику,— доброе дело,— сказала г-жа де Марвиль.— Я очень сожалею, что у

нас с господином Понсом произошла небольшая размолвка, если бы он тогда навестил нас, мы бы ему все простили. Вы бы только знали, как его недостает мужу. Он был в отчаянии, что ему не сообщили о смерти кузена Понса; для него семейные обязанности священны, он не преминул бы пойти на отпевание, проводить тело на кладбище, да и я тоже пошла бы на заупокойную мессу.

— Итак, сударыня,— сказал Годиссар,— благоволите подготовить документ, в четыре часа я приведу к вам немца... Будьте так любезны, попросите вашу очаровательную дочку, виконтессу де Попино, не лишать меня своего расположения, а также засвидетельствовать ее почтенному батюшке, доблестному государственному деятелю и моему достойному другу, мое почтение и глубокую преданность всему его семейству, а одновременно передать ему мою покорнейшую просьбу и впредь не оставлять меня своими милостями. Его дяде-судье я обязан жизнью, а ему благосостоянием... Мне было бы очень желательно оказаться достойным в ваших глазах, равно как и в глазах вашей дочери, того уважения, которое подобает людям влиятельным и занимающим высокий пост. Я хочу покинуть театр и стать солидным человеком.

— Сударь, вы и сейчас солидный человек,— сказала супруга председателя.

— Очаровательница! — воскликнул Годиссар, прикладываясь к сухонькой ручке г-жи де Марвиль.

В четыре часа в контору нотариуса Бертье пришли сначала Фрезье, составивший текст полюбовного соглашения, затем Табаро, доверенное лицо старого музыканта, и, наконец, сам Шмуке, которого привел Годиссар. Фрезье предусмотрительно положил на видном месте на конторке нотариуса шесть тысяч франков банкнотами, то есть всю сумму, которую просил Шмуке, и шестьсот франков, составляющих первый взнос пожизненной ренты, и немец, растерявшись при виде такого богатства, не стал вникать в смысл оглашавшегося документа. После пережитых потрясений он, бедняга, был не вполне вменяем, а тут еще Годиссар подхватил его как раз в ту минуту, когда он возвратился с кладбища, где беседовал с Понсом, обещая ему вскоре с ним свидеться. Итак, он пропустил мимо ушей вступление к акту, где

говорилось, что он пользовался советами мэтра Табаро, судебного пристава своего доверенного лица и советчика, и где перечислялись основания дела, возбужденного против него председателем суда, защищавшим интересы дочери. Немец поставил себя в печальное положение, ибо, подписав акт, он тем самым публично подтвердил ужасающие показания Фрезье, но при виде денег, предназначавшихся для семьи Топинара, он очень обрадовался, что сможет озолотить, как это ему представлялось при его скромных требованиях, единственного человека, который любил Понса, и до его сознания не дошло ни единого слова полюбовного соглашения. Во время чтения в кабинет нотариуса вошел писец.

— Сударь, там какой-то человек хочет поговорить с господином Шмуке,— обратился он к своему патрону.

Нотариус, которому мигнул Фрезье, выразительно пожал плечами.

— Сколько раз я просил не беспокоить нас, когда мы подписываем документы! Узнайте фамилию этого... Он что — из простых или из господ? Может быть, кредитор?

Писец возвратился и сказал:

— Он во что бы то ни стало хочет поговорить с господином Шмуке.

— Как его фамилия?

— Топинар.

— Я выйду, подписывайте, не беспокойтесь,— сказал Годиссар старику немцу.— Заканчивайте. Я узнаю, что ему надо.

Годиссар понял стряпчего Фрезье, оба они почуяли опасность.

— Ты зачем сюда пожаловал? — напустился директор на ламповщика.— Не хочешь, верно, быть кассиром? Первое качество кассира — скромность.

— Сударь...

— Думай о своих делах, а коли будешь мешаться в чужие, всегда в накладе останешься.

— Сударь, я не смогу есть хлеб, полученный такой ценой, мне каждый кусок поперек горла станет!.. Господин Шмуке! — крикнул он.

Шмуке, подписавший тем временем акт, вышел на зов Топинара, держа деньги в руках.

— *Вот это для моя маленькая немецкая девотшка, а вот для вас...*

— Господин Шмуке, дорогой мой, вы сделали богачами злодеев, ведь они собираются вас ограбить, я показал вот эту бумагу одному честному человеку, адвокату, который знает Фрезье, так он говорит, чтоб вы не шли на мировую, что такие паскудные дела надо выводить на чистую воду, что они пойдут на попятный... Вот, прочтите.

И этот неосмотрительный друг дал Шмуке вызов в суд, присланный на адрес Топинаров. Старик взял бумагу; он не привык к любезностям правосудия и теперь, прочитав, как его поносят, почувствовал смертельную боль. Эта песчинка вонзилась ему прямо в сердце. Топинар подхватил его; они как раз стояли у подъезда нотариуса. Мимо проезжала карета. Топинар усадил в нее несчастного немца, у которого произошло кровоизлияние в мозг. Страдания его были невыносимы. Он уже плохо видел, но все же у него хватило сил отдать деньги Топинару. Шмуке не умер от первого удара, но и не пришел в себя; все движения его были бессознательны, он ничего не ел. Он прожил еще десять дней и скончался, ни на что не жалуясь, ибо потерял дар речи. Ухаживала за ним жена Топинара, похоронили его самым скромным образом, но зато совсем рядышком с Понсом, о чем позаботился Топинар, единственный человек, шедший за гробом сего сына Германии.

Фрезье, назначенный мировым судьей, теперь свой человек в доме председателя суда, он в большой чести у супруги председателя; г-жа Камюзо считает, что дочь Табаро ему не пара, и сулит куда более завидную партию этому искусному дельцу, которому, по ее словам, она обязана не только приобретением марвильских лугов и коттеджа, но и избранием г-на де Марвиля в депутаты на общих выборах 1846 года.

Вероятно, всем будет любопытно узнать, что сталось с героиней этой повести, к сожалению, слишком правдивой, даже в деталях, и подтверждающей, как и предыдущая повесть — ее родная сестра,— что характер — великая сила в нашем обществе. Вы, конечно, догадываетесь, о любители, знатоки и торговцы, что я имею в виду коллекцию Понса! Вам достаточно будет присутст-

вовать при одном разговоре в доме графа Попино, который на днях показывал иностранцам свою великолепную коллекцию.

— Ваше сиятельство,— сказал ему один знатный иностранец,— вы владеете подлинными сокровищами!

— О милорд,— скромно ответил граф Попино,— по части картин никто не только в Париже, но и в Европе не может соперничать с неким евреем, по имени Элиа Магюс, старым маньяком, главой всех одержимых страстью к картинам. Он собрал сотню с лишним таких полотен, что у коллекционеров опускаются руки. Франции следовало бы не пожалеть семь-восемь миллионов и после смерти этого креза приобрести его галерею... Если же вы имеете в виду различные редкостные вещицы, то тут моя коллекция вполне заслужила свою славу...

— Но скажите, как такой занятой человек, как вы, честно составивший себе состояние торговлей...

— Москательными товарами,— перебил его Попино,— как такой человек мог перейти на полотна?

— Нет, я не то хотел сказать,— возразил иностранец.— Но ведь чтобы отыскать какую-либо вещь, нужно время, редкости сами к вам не придут...

— У моего свекра была уже небольшая коллекция,— сказала виконтесса Попино,— он любил искусство, художественные произведения, но большая часть собранных здесь сокровищ мои.

— Ваши, сударыня? Но вы так молоды, неужели вы давно подвержены таким пагубным страстям? — заметил русский князь.

Русские настолько переимчивы, что все болезни цивилизации перекидываются к ним. Петербург одержим собиранием старины, а так как русских ничем не запугаешь, они так взвинтили цены на товар такого сорта, как сказал бы Ремонанк, что коллекционирование скоро станет невозможным. И этот русский князь тоже приехал в Париж с единственной целью пополнить свое собрание.

— Князь,— сказала виконтесса,— эти сокровища достались мне после смерти обожавшего меня родственника, который сорок с лишним лет, начиная с тысяча восемьсот пятого года, приобретал повсюду, но преимущественно в Италии, все эти шедевры.

— Кто же это? — спросил лорд.

— Понс! — ответил председатель суда Камюзо.

— Это был очаровательный человек,— запела его супруга сладеньким голоском,— остроумный, оригинальный и при всем том добряк. Вот этот веер, что вам так нравится, принадлежал мадам де Помпадур; Понс преподнес его мне однажды утром, сопроводив свой подарок очаровательной шуткой, но, с вашего разрешения, я не буду повторять его слова...

И она взглянула на дочь.

— Повторите его шутку,— попросил русский князь виконтессу.

— Право, не знаю, что лучше — слова или веер! — ответила виконтесса заученной фразой.— Он сказал маменьке, что давно пора, чтобы веер, служивший пороку, попал в руки добродетели.

При этих словах милорд посмотрел на г-жу Камюзо де Марвиль с сомнением, весьма лестным для этой сухопарой особы.

— На неделе он раза три-четыре обедал у нас,— продолжала та.— Он так был к нам привязан! Мы очень его уважали, а люди с артистической натурой любят бывать в тех домах, где умеют ценить их остроумие. Кроме того, муж — его единственный родственник. И когда он, совершенно для себя неожиданно, получил это наследство, графу Попино стало жаль упускать такую коллекцию, и он купил ее целиком, боясь, что она пойдет с молотка, да и мы тоже предпочли продать ее в одни руки, ведь жалко было разорять коллекцию, которая так радовала нашего милого кузена! Элиа Магюс был приглашен в качестве оценщика; и таким образом, милорд, мы смогли приобрести выстроенный вашим дядей коттедж, где и почту за честь видеть вас своим гостем.

Топинар все еще служит кассиром в театре, который Годиссар уже год, как уступил другому лицу; но г-н Топинар стал мрачным, нелюдимым и молчаливым; ходит слух, что он совершил преступление. В театре злые языки утверждают, будто он погрустнел с тех пор, как сочетался законным браком с Лолоттой. Честный Топинар не может без содрогания слышать фамилию Фрезье. Возможно, кому-нибудь покажется странным, что един-

ственный человек, достойный Понса, оказался скромным театральным ламповщиком.

Мадам Ремонанк, напуганная предсказанием гадалки, отказалась от мысли переехать на покой в деревню; овдовев во второй раз, она торгует в великолепном магазине на бульваре Мадлен. Овернец, позаботившийся при составлении брачного контракта, чтобы имущество досталось тому из супругов, кто переживет другого, поставил на видном месте стаканчик с серной кислотой, рассчитывая на оплошность жены, а жена с самыми добрыми намерениями убрала этот стаканчик подальше, и Ремонанк хлебнул из него. Такой конец, вполне заслуженный этим мерзавцем, доказывает, что действительно существует провидение, о котором якобы забывают бытописатели,— упрек, вызванный, очевидно, тем, что этим самым провидением слишком злоупотребляют в развязках драм.

Прошу не посетовать на ошибки переписчика!

Париж, июль 1846 г.— май 1847 г.

КОМЕДИАНТЫ НЕВЕДОМО ДЛЯ СЕБЯ

Посвящается графу Жюлю де Кастеллане.

Леон де Лора, наш знаменитый пейзажист, принадлежит к одному из самых знатных семейств Русильона; семья эта, испанская по своему происхождению, хотя и славится древностью родословной, но уже лет сто как обречена терпеть вошедшую в поговорку бедность идальго. Явившись в Париж из департамента Восточных Пиренеев налегке, с одиннадцатью франками в кармане, Леон де Лора почти совсем забыл и невзгоды своего детства и свою семью среди лишений, неизбежных в жизни начинающих живописцев, чье единственное богатство — окрыляющее их призвание. Позднее заботы о славе и успехе совершенно вытеснили прошлое из его памяти.

Если вы следили за извилистым и прихотливым течением наших «Этюдов», вам, быть может, запомнился некий Мистигри, ученик Шиннера, один из героев «Первых шагов в жизни» («Сцены частной жизни»), появляющийся и в других «Сценах». В 1845 году наш пейзажист, достойный соперник Гоббемы, Рюисдалей, Лорренов, уже ничем не походил на того нищего ученика, каким вы его знали. Он знаменит, он владелец прекрасного особняка на Берлинской улице, неподалеку от особняка Брамбур, где живет его друг Бридо, и совсем близко от дома его первого учителя Шиннера. В тридцать девять лет он член Академии изящных искусств и кавалер ордена Почетного легиона, его годовой доход достигает два-

дцати тысяч франков, его картины ценятся на вес золота, и — что кажется ему более удивительным, чем приглашения на придворные балы, которые он иногда получает,— имя его, так часто повторявшееся в европейской печати за последние шестнадцать лет, проникло наконец в долину Восточных Пиренеев, где прозябают трое чистокровных Лора: старший брат Леона, отец и престарелая тетка его отца — девица Урака-и-Лора.

По материнской линии у знаменитого художника остался один только двоюродный брат, племянник матери,— человек лет пятидесяти, житель небольшого промышленного городка того же департамента. Этот двоюродный брат первый и вспомнил о Леоне. В 1840 году Леон де Лора получил от г-на Сильвестра Палафокс-Кастель-Газональ (именуемого попросту Газональ) письмо и ответил ему, что он именно тот самый Лора, то есть сын покойной Леони Газональ, жены графа Фердинанда Дидас-и-Лора.

Летом 1841 года кузен Сильвестр Газональ отправился уведомить именитое и безвестное семейство де Лора о том, что маленький Леон не уехал, как думали, на Рио де ла Плата и не умер там, как склонны были думать, а стал одним из самых талантливых художников французской школы; но этому они не поверили. Старший брат, дон Хуан де Лора, заявил, что кузен Газональ стал жертвой какого-нибудь парижского шутника.

Вышепоименованный Газональ давно уже собирался в Париж следить за ходом процесса, который префект департамента Восточных Пиренеев вследствие разногласий изъял из ведения местного суда и перенес в государственный совет. Провинциал вознамерился заодно проверить дело с письмом и потребовать у парижского художника объяснений его дерзости. Но когда Газональ, остановившийся в жалких меблированных комнатах на улице Круа-де-Пти-Шан, увидел дворец на Берлинской улице, он был ошеломлен. Узнав от слуг, что их хозяин путешествует по Италии, он тотчас же раздумал требовать объяснений и усомнился в том, соблаговолит ли столь знаменитый человек признать его своим родственником по материнской линии.

В течение 1843 и 1844 годов Газональ следил за ходом своего процесса. В эту тяжбу, связанную с вопросом

о течении реки, об уровне воды, о сносе плотины, вмешались местные власти, поддерживаемые жителями прибрежной полосы, и она угрожала самому существованию его фабрики. В 1845 году Газональ считал процесс бесповоротно проигранным: секретарь докладчика государственного совета, которому было поручено составить заключение по этому делу, доверительно сообщил ему, что заключение отвергает доводы Газоналя; адвокат Газоналя также подтвердил эти сведения. Хотя Газональ командовал национальной гвардией в своем городке и был одним из самых оборотистых фабрикантов всего департамента, однако в Париже он чувствовал себя таким ничтожным, так был подавлен дороговизной жизни и самых пустяковых предметов, что смирнехонько сидел в своей жалкой гостинице. Лишенный солнца южанин ненавидел Париж и называл его «рассадником ревматизма». Подсчитывая расходы по процессу и своему пребыванию в столице, он давал себе слово по возвращении домой либо отравить префекта, либо наставить ему рога. В минуты уныния он клялся уложить префекта наповал; в веселые минуты согласен был удовольствоваться рогами.

Однажды утром, кончая завтракать и по обыкновению брюзжа, он сердито развернул газету и прочел: «Наш великий пейзажист Леон де Лора, месяц назад возвратившийся из Италии, выставит в Салоне несколько полотен; таким образом, выставка, по-видимому, будет блестящей...» Эти строки, которыми кончалась заметка, поразили Газоналя, словно их шепнул ему голос, подсказывающий удачливым игрокам, на какую карту ставить. Со свойственной южанам внезапной решимостью Газональ выскочил из гостиницы на улицу, прыгнул в кабриолет и помчался к своему двоюродному брату на Берлинскую улицу.

Леон де Лора через лакея передал кузену Газоналю, что приглашает его позавтракать с ним на следующий день в «Кафе де Пари», ибо в настоящий момент он чрезвычайно занят и не может принять его. Как истый южанин, Газональ поведал все свои горести лакею.

На следующий день в десять часов утра Газональ, не в меру расфранченный для столь раннего часа (он надел фрак васильковогэ цвета с позолоченными пуго-

вицами, сорочку с жабо, белый жилет и желтые перчатки), узнал от владельца «кофейни» — так в провинции называют кафе,— что господа художники обычно завтракают у него между одиннадцатью и двенадцатью часами; он целый час разгуливал по бульвару, дожидаясь своего амфитриона.

— Около половины двенадцатого,—так, возвратясь на родину, начинал он рассказ о своих приключениях,— двое парижан, самого что ни на есть обыкновенного вида, в простых длиннополых сюртуках, завидев меня на бульваре, разом крикнули друг другу:

— А вот и Газональ!

Второй парижанин был Бисиу, которого Леон де Лора прихватил с собой, чтобы подшутить над своим двоюродным братом.

— «Не сердитесь на меня, друг мой! Я и есть ваш кузен!» — воскликнул наш маленький Леон, обнимая меня,— рассказывал по возвращении Газональ своим друзьям.— Завтрак был великолепный. У меня помутилось в глазах, когда я увидел, сколько золотых монет потребуется для оплаты счета. Эти господа, видно, загребают золото лопатами. Ведь мой двоюродный брат дал официанту на чай тридцать су — дневной заработок рабочего.

За этим грандиозным завтраком было поглощено шесть дюжин остендских устриц, шесть отбивных котлет а-ля-Субиз, цыпленок а-ля-Маренго, майонез из омаров, уйма зеленого горошка, паштет с шампиньонами; все это было орошено тремя бутылками бордо и тремя бутылками шампанского; затем последовало изрядное количество чашек кофе и ликеры, не считая сладкого. Газональ был великолепен: он с пламенным негодованием бичевал Париж. Достойный фабрикант сетовал на то, что четырехфунтовые хлебы слишком длинны, дома слишком высоки, прохожие безучастны друг к другу, погода либо холодна, либо дождлива, фиакры дороги, и все это было столь остроумно, что оба художника прониклись к нему самой искренней дружбой и заставили его рассказать о своем судебном деле.

— Мой процесс,— сказал Газональ с характерным провансальским выговором, раскатисто произнося букву «р»,— мой процесс проще простого: они хотят заполу-

чить мою фабрику. Я подрядил здесь болвана-адвоката, которому каждый раз плачу по двадцать франков за то, чтобы он не дремал, и всегда застаю его сонным... Этот слизняк разъезжает в карете, а я хожу пешком; он меня безбожно надувает; я только и делаю, что бегаю от одного к другому, и вижу, что мне следовало бы обзавестись каретой... Здесь ведь уважают только тех, кто сидит развалясь в собственном экипаже!.. С другой стороны, государственный совет — это сборище лентяев: они допускают, чтобы мелкие плуты, подкупленные нашим префектом, обделывали свои делишки... Вот вам мой процесс!.. Они зарятся на мою фабрику — что ж, они ее получат! Только потом пусть уж сами договариваются с моими рабочими; у меня их человек сто, и они дубинками заставят плутов отказаться от этой затеи...

— Постой, кузен,— прервал его художник.— Давно ты здесь?

— Уже два года. О! Префект дорого заплатит мне за этот спор; я лишу его жизни, а себя предам в руки правосудия...

— Кто из членов государственного совета ведает этим отделом?

— Бывший журналист, которому грош цена, некто Массоль, и в этом вся соль!

Парижане переглянулись.

— А кто должен дать заключение?

— Еще больший бездельник. Докладчик государственного совета, который что-то преподает в Сорбонне и пописывает в журналах... Я его глубоко презираю.

— Клод Виньон,— подсказал Бисиу.

— Он самый...— подтвердил южанин.— Массоль и Виньон — вот безмозглые представители вашей правительственной лавочки, трестальоны моего префекта.

— Ну, дело поправимое,— вставил Леон де Лора.— Видишь ли, кузен, в Париже все возможно: хорошее и дурное, справедливое и несправедливое. Тут все умеют сладить, разладить и снова наладить.

— К черту! Я здесь ни одной лишней секунды не останусь... это самое скучное место во всей Франции...

Беседуя, оба кузена и Бисиу прохаживались по широкой гладкой полосе асфальта, где от часу до двух мудрено не встретить хотя бы несколько людей, о ко-

торых трубит в тот или иной рог стоустая молва. Некогда этим свойством обладала Королевская площадь, затем — Новый мост, теперь оно перешло к Итальянскому бульвару.

— Париж,— вновь обратился художник к своему двоюродному брату,— это инструмент, играть на котором — великое искусство. Мы пробудем здесь еще десять минут, и я дам тебе наглядный урок. Вот, смотри! — воскликнул он, приподнимая трость и указывая на двух женщин, выходивших из проезда, ведущего к Опере.

— Это что такое? — удивленно спросил Газональ.

«Это» была старуха в шляпке, с полгода пролежавшей на выставке модной лавки, в притязавшем на элегантность безвкусном платье, в полинялой клетчатой шали; по цвету ее лица было видно, что она лет двадцать прокорпела в сырой каморке под лестницей, а по объемистой, туго набитой сумке — что в обществе она занимает положение никак не выше бывшей привратницы. Рядом с ней шла совсем юная, хрупкая и стройная девушка, чьи затененные черными ресницами глаза уже утратили выражение невинности, а прозрачная бледность обличала сильное утомление. Но красивое овальное личико было еще свежо, волосы, по-видимому, великолепны, открытый лоб — прекрасен, очертания груди — нежны. Словом, недозревший плод.

— Это,— ответил Бисиу,— крыса в сопровождении своей мамаши.

— Крыса? Что это значит?

— Вот такая крыса,— пояснил Леон, дружески кивнув мадемуазель Нинетте,— может помочь тебе выиграть твой процесс.

Газональ так и подскочил на месте, но Бисиу крепко держал его под руку с той минуты, как они вышли из кафе, так как находил, что южанин слишком раскраснелся.

— Эта крыса, у которой только что кончилась репетиция в Опере, спешит домой. Там она наскоро перекусит, а через три часа вернется в театр, чтобы переодеться,— сегодня понедельник, и вечером она выступает в балете. Крысе тринадцать лет, она уже считается взрослой. Года через два это создание будет расцениваться на бирже в шестьдесят тысяч франков, будет всем

или ничем, великой танцовщицей или ничтожной фигуранткой, знаменитостью или потаскушкой. Она учится танцевать с восьмилетнего возраста; сейчас, как ты видишь, она изнемогает от усталости; все утро она выворачивала себе кости в классе танцев, на репетиции, где проделывала упражнения, сложные, как китайская головоломка; вечером она опять в театре. Крыса — один из устоев Оперы, ведь она совершенно так же может стать прима-балериной, как младший писец — нотариусом. Крыса — это воплощенная надежда.

— Кто же поставляет крыс? — спросил Газональ.

— Семьи привратников, бедняков, актеров, танцовщиков,— ответил Бисиу.— Только самая горькая нужда может заставить девушку с восьми лет подвергать свои ноги и суставы жесточайшим пыткам, может побудить ее из одного лишь голого расчета хранить чистоту до шестнадцати, а то и до восемнадцати лет и быть неразлучной с отвратительной старухой, словно прелестный цветок, рядом с которым — смердящая куча навоза. Здесь перед тобой вереницей пройдут все большие и малые дарования, все, и всемирно известные и еще почти безвестные, артисты; они ежевечерне воздвигают во славу Франции этот свидетельствующий о ее величии памятник, именуемый Оперой,— средоточие мощи, воли, гения, какие можно найти только в Париже.

— Я уже видел Оперу,— самодовольно заявил Газональ.

— С высоты скамьи в райке, три франка шестьдесят сантимов место,— заметил Леон,— так же, как ты глядел на Париж с улицы Круа-де-Пети-Шан, ничего не видя... Что ставили в Опере, когда ты был там?

— «Вильгельма Телля».

— Превосходно! — одобрил художник.— Большой дуэт Матильды, наверно, понравился тебе. А как ты думаешь, чем занялась певица, вернувшись домой?

— Ну... чем?

— Она сытно поужинала двумя полусырыми бараньими котлетами, которые повар держал для нее наготове.

— Ах, черт возьми!

— Малибран — та подкреплялась водкой, и это убило ее. Теперь — о другом: в театре ты видел балет; сейчас он снова пройдет перед тобой в скромном утрен-

нем наряде; ты и не подозревал, что исход твоего процесса зависит от пленительных ножек, мелькающих здесь...

— Моего процесса?..

— Смотри, кузен, вот идет так называемая «фигурантка».— Леон указал на одно из тех умопомрачительных созданий, у которых в двадцать пять лет — за плечами опыт шестидесятилетних; эти женщины так уверены в своей красоте и вызываемом ею преклонении, что не считают нужным подчеркивать ее. Рослая, стройная, она шла твердой поступью, смотрела надменным взглядом денди; ее туалет выделялся своей дорогостоящей простотой.

— Это Карабина,— сказал Бисиу, по примеру пейзажиста слегка кивнув красавице головой, на что она ответила улыбкой.— Смотри, вот одна из тех женщин, которые могут сместить твоего префекта.

— Фигурантка — это что же такое?

— Фигурантка — на редкость красивая крыса, которую мать, родная или подставная, продала в тот день, когда девушке не удалось занять ни первого, ни второго, ни третьего места на балетной сцене. Тогда по той веской причине, что она с младенчества занималась танцами и уже не была способна ни к чему другому, крыса предпочла всем иным промыслам профессию корифейки. По всей вероятности, в маленькие театры, где нужны танцовщицы, ее не брали; в трех городах Франции, где ставят балеты, она не имела успеха: ехать за границу — ведь, как известно, парижская школа танца поставляет всему миру танцовщиков и танцовщиц — у нее не было ни желания, ни возможности. Для того, чтобы крыса стала корифейкой, иными словами, рядовой танцовщицей кордебалета, нужно, чтобы ее удерживала в Париже какая-нибудь прочная связь, или богатый человек, которого она не любит, или бедный юноша, в которого она страстно влюблена. Та, которая сейчас прошла мимо нас, возможно, будет сегодня вечером переодеваться три раза: принцессой, крестьянкой, тирольской пастушкой и еще кем-нибудь, все это самое большее за двести франков в месяц.

— Что ты, ведь она одета куда наряднее, чем жена нашего префекта!

— Если бы ты побывал у нее дома,— сказал Бисиу,— ты увидел бы горничную, кухарку и лакея; она занимает роскошную квартиру на улице Сен-Жорж. Словом, сообразно оскудению богатств во Франции против прежнего, корифейка как бы тень «оперной плясуньи» восемнадцатого века, Карабина — сила; в настоящее время ей подвластен дю Тийе, банкир, пользующийся большим влиянием в Палате.

— Есть ли в балете еще что-нибудь над этими двумя разрядами? — полюбопытствовал Газональ.

— Разумеется, смотри! — ответил живописец, указывая на коляску, свернувшую на бульвар с улицы Гранж-Бателье. Вот одна из наших прима-балерин, ее имя на афише привлекает весь Париж; ее оклад — шестьдесят тысяч франков в год, она живет, как принцесса. Стоимости всей твоей фабрики не хватит, чтобы купить право в течение месяца приветствовать ее по утрам в ее спальне.

— Ну и ладно... уж лучше я буду сам себя приветствовать! Дешевле встанет!

— Заметил ли ты,— обратился к южанину Бисиу,— молодого человека, сидящего против нее в коляске? Это виконт, носящий громкое имя; он ее доверенное лицо; его стараниями в газетах помещаются хвалебные отзывы, по утрам он приходит к директору Оперы объявить войну или мир, он же ведает аплодисментами, разражающимися, когда она появляется на сцене или уходит за кулисы.

— Ах, дорогие друзья, вот уж этим вы меня доконали; выходит, я и не подозревал, что такое Париж!

— Ну и что ж! — отозвался Бисиу.— По крайней мере теперь ты будешь знать, что можно увидеть за десять минут у Проезда оперы. Смотри-ка!

Из Проезда в эту минуту вышли двое, мужчина и женщина. Женщина была ни хороша, ни дурна собой; по цвету и покрою ее одежды можно было сразу узнать в ней артистку. Мужчина смахивал на певчего.

— Вот,— пояснил Бисиу,— первый бас и одна из вторых танцовщиц балета; он необычайно талантлив, но поскольку в оперных партитурах первому басу обычно отводится незначительное место, он едва зарабатывает столько, сколько получает эта танцовщица.

— Эта вторая танцовщица,— продолжил Леон,— прославилась еще до появления Тальони и Эльслер. Она сохранила в нашем балете характерный танец, выразительную мимику; и если бы те две дивы не открыли нам в танце неведомую ранее поэзию, эта балерина считалась бы теперь звездой первой величины. Сейчас она на втором месте, но как-никак получает тридцать тысяч франков в год, ее преданным другом состоит один из пэров Франции, очень влиятельный в Палате. А вот и танцовщица третьего разряда; она существует только благодаря поддержке всемогущей газеты. Вздумай дирекция не возобновить контракт с нею — и министерство нажило бы себе еще одного врага. Балет — самый могущественный элемент всей оперной труппы; вот почему в высших кругах денди и политических деятелей считается гораздо лучшим тоном иметь связь с танцовщицей, нежели с певицей. В первых рядах партера, где сидят завсегдатаи оперы, слова «N. предпочитает пение» звучат едкой насмешкой.

С ними поравнялся человек небольшого роста, заурядной наружности, просто одетый.

— А вот перед нами и другая половина оперных сборов — тенор. В наши дни поэма, музыка, спектакль уже немыслимы без знаменитого тенора, виртуозно выводящего верхние ноты. Тенор — это страсть, это голос, волнующий душу, будящий отзвук в сердце; не мудрено, что оклад тенора намного превышает министерский. Сто тысяч франков за глотку, сто тысяч франков за щиколки — вот два финансовых бича оперы.

— Я совсем обалдеваю,— признался Газональ.—Сотни тысяч франков так и сыплются!

— Ты обалдеешь еще больше, милый кузен. Следуй за нами... Мы возьмемся за Париж, как за виолончель; мы покажем тебе, как играют на этом инструменте,— словом, как развлекаются в Париже.

— Это калейдоскоп окружностью в семь миль! — воскликнул Газональ.

— Прежде чем водить господина Газоналя по Парижу, мне нужно еще забежать к Гайяру,— заявил Бисиу.

— А знаешь что? Гайяр может быть очень полезен в деле кузена!

— Это что еще за хитрая механика? — спросил Газональ.

— Это не механика, это механик. Один из наших друзей, который в конце концов стал издателем газеты, его характеру, так же как его кассе, свойственны колебания, подобные морскому приливу и отливу. Гайяр может помочь тебе выиграть процесс...

— Он уже проигран...

— Раз так, значит, самое время выиграть его,— возразил Бисиу.

Когда трое приятелей пришли к Теодору Гайяру, проживавшему в то время на улице Менар, лакей попросил их подождать в будуаре, объяснив, что хозяин занят важным деловым разговором.

— С кем? — спросил Бисиу.

— С человеком, который продает ему секрет ареста неуловимого должника,— молвила вошедшая в будуар красавица в прелестном утреннем наряде.

— В таком случае, милая Сюзанна, мы можем пройти к нему! — воскликнул Бисиу.

— Ах! Как она хороша! — восхитился Газональ.

— Это госпожа Гайяр,— шепнул ему Леон де Лора.— Дорогой кузен, ты видишь перед собой самую добродетельную женщину во всем Париже. Она давала счастье всем, а теперь довольствуется одним счастливцем — своим мужем.

— Что угодно *Вашим Сиятельствам?* — спросил, подражая Фредерику Лемегру, шутник издатель, когда его приятели вошли в кабинет.

Теодор Гайяр в свое время отличался умом, но, постоянно вращаясь в одной и той же среде, заметно поглупел — весьма распространенное в Париже явление морального порядка. В ту пору его любимым развлечением было уснащать свою речь выхваченными из модных пьес ходкими фразами, которые он произносил на манер знаменитых актеров.

— Мы пришли *посудачить*,— ответил Леон.

— Вы неиспрр... авимы, молодой человек! (Одри в *«Паяцах».)*

— ...Словом, теперь уж ему крышка! Не уйдет от нас,— сказал собеседник Гайяра, заканчивая беседу.

— Так ли уж вы в этом уверены, папаша Фроман-

то? — усомнился Гайяр.— Уж одиннадцать раз мы вечером ликовали, что ему не уйти, а наутро, глядишь, опять его и след простыл.

— Что делать! Я в жизни своей еще не встречал такого непоседливого должника. Он совсем как паровоз: заснет в Париже, а проснется в департаменте Сен-Уаз! Ни дать ни взять — *замок с секретом!*

Уловив на лице Гайяра усмешку, он добавил:

— Так принято уж говорить в *нашем деле: сцапать* человека, *застукать* его — значит арестовать. В сыскной полиции выражаются несколько иначе. Видок говаривал своим клиентам: *тебе уже подано*. Это гораздо забавнее, ведь речь идет о гильотине.

Газональ, которого Бисиу подтолкнул локтем, впился глазами в говорившего, стараясь не проронить ни одного слова.

— Сударь, вы *подмажете?* — спросил Фроманто спокойно, но с угрозой в голосе.

— Дэло в пэтидэсяти сэнтимах (Одри в *«Паяцах»*),— отозвался издатель, вынимая пятифранковую монету и вручая ее Фроманто.

— А для каналий? — вопросительно сказал тот.

— Каких каналий? — изумился Гайяр.

— Тех, чьими услугами я пользуюсь,— бесстрастно пояснил Фроманто.

— А пониже каналий есть еще кто-нибудь? — осведомился Бисиу.

— Да, сударь,— ответил сыщик.— Те, кто доставляет нам сведения, сами того не подозревая и не требуя платы за свои услуги. На мой взгляд, простофили и дураки стоят намного ниже каналий.

— Канальи зачастую бывают умны и привлекательны! — воскликнул Леон.

— Значит, вы служите в полиции? — спросил Газональ, с тревожным беспокойством приглядываясь к низенькому, сухощавому, невозмутимому человечку, одетому словно младший писец судебного пристава.

— Какую именно полицию вы имеете в виду? — в свою очередь, спросил Фроманто.

— А что, разве их несколько?

— Временами их бывало целых пять,— ответил Фроманто; сыскная полиция, начальником которой был Ви-

док; тайная полиция — ее начальник всегда неизвестен; полиция политическая — ее возглавлял Фуше. Наконец, полиция министерства иностранных дел и дворцовая (при императоре, при Людовике Восемнадцатом, и так далее), всегда враждовавшая с набережной Малакэ. Дворцовую полицию упразднил господин Деказ. Я начал свою службу в полиции Людовика Восемнадцатого. Я работал там с 1793 года вместе с беднягой Контансоном.

Леон де Лора, Бисиу, Газональ и Гайяр — все переглянулись с одним и тем же немым вопросом: скольким людям его работа стоила головы?

— Теперь надумали обходиться без нас! Что за нелепая фантазия! — продолжал, помолчав минуту-другую, маленький человек, вдруг ставший таким грозным.— С 1830 года в префектуре хотят иметь порядочных людей; я подал в отставку и кое-как пробавляюсь арестами несостоятельных должников.

— Он правая рука Коммерческого суда,— шепнул Гайяр, наклонясь к Бисиу.— Но ты никогда не узнаешь, кто ему платит больше — кредитор или должник.

— Чем профессия низменнее, тем нужнее в ней высокая честность,— наставительно сказал Фроманто.— Я служу тому, кто дороже платит. Вам желательно взыскать с должника пятьдесят тысяч, а с тем, кто может это обстряпать, вы торгуетесь из-за каждого гроша. Выложите мне пятьсот франков, и завтра утром вашего молодчика *сцапают*, потому что мы вчера уже *постелили* ему.

— Пятьсот франков вам одному! — негодующе вскричал Теодор Гайяр.

— Лизетта ходит без шали,— ответил сыщик, причем ни один мускул в его лице не дрогнул.— Я зову ее Лизеттой, по Беранже,— пояснил он.

— Как! У вас есть Лизетта, и вы занимаетесь таким ремеслом! — возмутился добродетельный Газональ.

— Оно так занятно! Сколько бы ни превозносили охоту и рыбную ловлю, выследить человека в Париже куда увлекательнее!

— В самом деле,— сказал Газональ, вслух выражая свою мысль,— у этих людей должны быть недюжинные способности.

— Если бы я перечислил вам все качества, потребные, чтобы выдвинуться в нашем деле,— обратился к Газоналю Фроманто, своим наметанным глазом быстро раскусивший провинциала,— вы вообразили бы, что я описываю гения. Нам нужно зрение, как у рыси. Нужна смелость — ведь сплошь и рядом приходится пулей влетать в дома, заговаривать с незнакомыми людьми так, будто ты с ними уже встречался, подстрекать их ко всяким низостям — на это люди всегда соглашаются. Нужна острая память, проницательность, находчивость (умение изобретать уловки мгновенно, на месте, притом самые разнообразные, ибо приемы слежки всякий раз меняются в зависимости от характера и привычек выслеживаемого). Это божий дар. В довершение всего нужно проворство, физическая сила и еще многое другое. Все эти способности, господа, увековечены резцом ваятеля на фронтоне гимназии Аморос, как величайшие из добродетелей. Мы должны обладать ими, господа, иначе прощай ежемесячное вознаграждение в сто франков, которое нам выплачивает либо государство на Иерусалимской улице, либо Коммерческий суд!

— Я считаю вас выдающимся человеком! — воскликнул Газональ.

Фроманто взглянул на провинциала, но ни слова не проронил, ничем не выдал своих чувств и вышел из комнаты, ни с кем не попрощавшись, что, несомненно, свидетельствовало о гениальности.

— Ну вот, кузен, ты видел олицетворение полиции,— сказал Леон провинциалу.

— Этот человек оказал на меня действие, способствующее пищеварению,— признался почтенный промышленник.

Тем временем Гайяр и Бисиу беседовали вполголоса.

— Я дам тебе ответ сегодня вечером у Карабины,— громко сказал Гайяр и, не взглянув на Газоналя, не попрощавшись с ним, снова уселся за свой письменный стол.

— Какой невежа! — воскликнул южанин, едва переступив порог.

— Его газета насчитывает двадцать две тысячи подписчиков,— сказал Леон де Лора.— Это один из пяти могущественнейших органов печати, и понятно, днем Гайяру не до учтивости. Если нам нужно пойти в палату, что-

бы уладить дело кузена, давай выберем самый долгий путь,— докончил он, обращаясь к Бисиу.

— Изречения великих людей подобны вызолоченным ложкам: с ложек позолота сходит от частого употребления, а здесь блеск теряется от повторений,— заявил Бисиу.— Куда же мы направимся сейчас?

— К нашему шляпочнику, отсюда до него рукой подать,— ответил Леон.

— Браво! — вскричал Бисиу.— Если мы будем продолжать в том же духе, мы сегодня, пожалуй, не соскучимся!

— Газональ,—обратился Леон к южанину.— Так и быть, ради тебя я сыграю со шляпочником штуку, но только будь важен, как король на пятифранковике; ты бесплатно увидишь редкостного чудака, который от сознания собственной важности свихнулся. В наше время, любезнейший, все хотят стать знаменитостями, но многие вместо этого становятся посмешищами; отсюда столько ходячих карикатур...

— Но когда все прославятся, чем же тогда можно будет выделиться среди прочих? — спросил Газональ.

— Чем? Глупостью,— отрезал Бисиу,— у вашего кузена орден, а я хорошо одет. Вот все и смотрят на меня...

После этого замечания, пожалуй, объясняющего, почему в Париже ораторы и прочие политические деятели ничем уже не украшают петлицу своего фрака, Леон указал Газоналю на вывеску, где золотыми буквами значилось: *Виталь, преемник Фине, фабрикант шляп* (а не шляпочник, как говорилось в старину); его рекламы приносят газетам такой же солидный доход, как объявления трех продавцов целебных пилюль или жареного миндаля; вдобавок Виталь был автором небольшого печатного труда о шляпах.

— Дружище,— сказал Бисиу Газоналю, подводя его к роскошной витрине магазина,— у Виталя сорок тысяч франков годового дохода.

— И он продолжает торговать шляпами? — завопил южанин, так сильно сжимая руку Бисиу, что чуть не сломал ее.

— Ты увидишь, что это за птица,— ответил Леон.— Тебе нужна шляпа — так вот, ты получишь ее даром.

— Господин Виталь в отсутствии? — спросил Бисиу, не видя хозяина в магазине.

— Господин Виталь у себя в кабинете правит корректуры своего сочинения,— ответил старший приказчик.

— Что ты на это скажешь! Стиль, стиль-то какой!— шепнул Леон своему кузену. Затем он снова обратился к старшему приказчику:

— Можно поговорить с ним, не опасаясь развеять его вдохновение?

— Пригласите этих господ сюда,— произнес чей-то голос.

То был голос крупного буржуа, голос человека, имеющего право быть избранным в депутаты, голос, в котором слышались влиятельность и богатство.

Затем соизволил показаться сам Виталь, одетый во все черное; рубашка и украшенное крупным бриллиантом жабо сияли ослепительной белизной. Тут же сидела за конторкой красивая молодая женщина с вышиванием в руках.

Виталю можно дать от тридцати до сорока лет. Честолюбивые замыслы подавили в нем природную жизнерадостность. Роста он среднего, что является признаком превосходного здоровья. Довольно полный, он следит за своей наружностью; он начинает лысеть, но не огорчается этим, так как лысеющий лоб придает ему вид мыслителя. Жена смотрит на него и внимает ему с обожанием; видно, что она убеждена в гениальности и славе своего супруга. Виталь любит художников не потому, чтобы он понимал толк в искусстве, а из какого-то братского чувства. Он сам себя считает художником и дает это понять, упорно отказываясь от этого благородного звания, неизменно и нарочито подчеркивая, что его занятие неимоверно далеко от искусства; все это делается для того, чтобы ему твердили: «Ведь вы возвысили шляпное дело до уровня науки...»

— Ну как? Придумали вы наконец для меня шляпу?— спросил Леон де Лора.

— Что вы, сударь,— за две недели! — возразил Виталь.— Да еще для вас! Двух месяцев и то мало, чтобы напасть на форму, которая подходила бы к вашему лицу! Вы видите: передо мной ваш литографированный портрет,

я уже основательно изучил вас! Я не стал бы так стараться даже для владетельного князя, но вы ведь больше, чем князь, вы — художник! Вы понимаете меня, сударь!

— Перед вами,— обратился Бисиу к шляпочнику, представляя ему Газоналя,— один из крупнейших наших изобретателей, человек, который прославился бы не менее Жаккара, согласись он только ради этого отправиться к праотцам; наш друг, владелец суконной фабрики, открывший способ извлекать индиго из старых синих фраков, жаждал увидеть вас как поистине замечательную личность — ведь это вы сказали: *шляпа — весь человек*. Ваше изречение привело его в восторг. Ах! Виталь, у вас есть вера! Вы верите во что-то, вы страстно увлечены своим делом!

Виталь весь обратился в слух, он даже побледнел от удовольствия.

— Встань, жена! Этот господин — князь науки.

По знаку мужа г-жа Виталь встала. Газональ отвесил поклон.

— Буду ли я иметь честь подобрать для вас головной убор? — спросил Виталь с радостной готовностью.

— По той же цене, как для меня,— заявил Бисиу.

— Разумеется, господа! Я притязаю только на один вид вознаграждения — на то, чтобы вы иногда упоминали обо мне! Этому господину нужна живописная шляпа, вроде той, какую носит Лусто,— продолжал он, со значительным видом посмотрев на Бисиу.— Я подумаю об этом.

— Вы не жалеете трудов! — заметил Газональ.

— О, только для немногих избранных, для тех, кто умеет ценить мое усердие. К примеру сказать, среди аристократии значение шляпы постиг только один человек, князь де-Бетюн. И как это мужчины не понимают простой вещи, ясной женщинам,— что из всех предметов одежды прежде всего бросается в глаза шляпа! Как они не подумают о том, чтобы изменить нынешнюю моду, прямо скажу, внушающую отвращение! Но из всех народов мира французы наиболее косно сохраняют однажды принятые нелепости! Господа, я вполне сознаю все трудности. Сейчас я говорю не как автор сочинения, где, кажется мне, я сумел исследовать философ-

ски этот вопрос; нет, сейчас я говорю исключительно как шляпочник. Это я открыл способ хоть немного облагородить ужасные головные покрышки, которыми безобразят себя во Франции, и я верю: придет время, когда я покончу с этой мерзостью.

Он показал прегадкую современную шляпу.

— Вот враг, господа,—заявил он.—И подумать только, что самый остроумный народ в мире соглашается носить на голове этот обломок печной трубы, как назвал эту пакость один наш писатель. Вот все изгибы, которые мне удалось придать этим уродливым линиям,— прибавил он, показывая одно за другим свои произведения.— Но хотя, как вы сами видите, я умею приноравливать их к самым различным типам — вот это шляпа врача, это бакалейщика, это денди и далее художника, человека тучного, человека тощего — все они безобразны! Постарайтесь понять мою мысль до конца!

Он взял в руки широкополую низкую шляпу.

— Вот шляпа, которую в свое время носил Клод Виньон, выдающийся критик, человек независимый, изрядный кутила. Он перешел на сторону министерства, и его тотчас назначили профессором, библиотекарем; сейчас он пишет только в «*Деба*», его произвели в докладчики Государственного совета, он получает шестнадцать тысяч жалованья и четыре тысячи — в газете, у него орден... Отлично! Вот его новая шляпа!

И Виталь показал шляпу, формой и изгибами приличествующую вполне благонамеренному гражданину.

— Вам следовало бы создать для него шляпу Полишинеля! — воскликнул Газональ.

— У вас, господин Виталь, гениальная голова по части головных уборов,— сострил Леон.

Виталь поклонился, не разгадав каламбура.

— Не можете ли вы объяснить нам,— спросил Газональ,— почему шляпные магазины по вечерам закрываются позже всех других, позже, чем кафе и кабачки? Меня это очень интересует.

— Во-первых, наши магазины очень выигрывают при вечернем освещении, а во-вторых, на десять шляп, проданных днем, вечером приходится пятьдесят.

— Все странно в Париже,— вставил Леон.

— И однако же, каковы бы ни были мои старания и успехи,— продолжал Виталь свое самовосхваление,— свою задачу я буду считать выполненной только тогда, когда введу в моду шляпу с круглой тульей. Вот к чему я стремлюсь!

— Так в чем же помеха? — осведомился Газональ.

— В дешевизне, сударь. Во-первых, прекрасную шелковую шляпу можно купить за пятнадцать франков, и это убивает нашу торговлю; ведь у тех, кто живет в Париже, никогда не найдется пятнадцати франков на новую шляпу. А если касторовая шляпа и стоит тридцать франков, это все та же проблема. Что касается кастора,— сейчас во всей Франции вы купите самое большее десять фунтов касторовой шерсти; она стоит триста пятьдесят франков фунт, на шляпу нужна одна унция; к тому же касторовые шляпы никуда не годятся; настоящая касторовая шерсть плохо принимает краску, на солнце за какие-нибудь десять минут рыжеет, от жары мигом теряет форму. То, что мы называем кастором, просто-напросто заячья шерсть. На выделку шляп высших сортов идет спинка, средних — бочки, последних — брюшко. Вот я и выдал вам секрет своей профессии, но вы ведь порядочные люди. Но все равно, что бы ни нахлобучивали на голову — заячью шерсть или шелк, пятнадцать или тридцать франков,— вопрос остается неразрешенным. За шляпу нужно платить, вот почему шляпа остается тем, что она есть. Честь Франции, способной прекрасно одеваться, будет спасена в тот день, когда серая шляпа с круглой тульей будет стоить сто франков. Тогда мы сможем давать кредит так же, как теперь — портные. Чтобы достичь этого, нужно было бы решиться носить букли, галуны, перья, атласные отвороты, как при Людовике XIII и Людовике XIV. Наша торговля, наконец, вдохновляемая фантазией, немедленно удесятерилась бы. Мировой рынок стал бы достоянием Франции, как это издавна установилось в отношении дамских мод, для которых Париж всегда будет законодателем, тогда как нашу современную шляпу можно изготовлять где угодно. Удачное разрешение этого вопроса даст нашей стране десять миллионов иностранного золота ежегодно...

— Да это настоящий переворот! — воскликнул Бисиу, прикидываясь восхищенным.

— Да, коренной переворот, ведь необходимо изменить форму.

— Вы счастливы наподобие Лютера,— вставил Леон, никогда не упускавший случая покаламбурить.— Вы мечтаете произвести реформу.

— Да, сударь! Ах, если бы двенадцать, пятнадцать художников, капиталистов или денди, задающих тон, решились быть смелыми одни только сутки, Франция одержала бы блистательную победу на поле коммерции! Поверьте, я все время твержу своей жене: ради успеха я не пожалел бы своего состояния! Да, мое честолюбие сводится к одному: возродить это дело — и умереть!

— Этот человек изумителен,— сказал Газональ, уходя,— но, уверяю вас, у всех ваших чудаков есть что-то общее с южанами.

— Пойдем в ту сторону,— предложил Бисиу, указывая на улицу Сен-Марк.

— Мы там увидим еще что-нибудь любопытное?

— Вы увидите ростовщицу, услугами которой пользуются крысы и фигурантки, женщину, знающую столько же страшных тайн, сколько платьев висит у нее в витрине,— объяснил Бисиу. При этих словах он указал на жалкую лавчонку, уродливым пятном черневшую среди ослепительных, новомодных магазинов. Лавчонка с витриной была выкрашена примерно в 1820 году и, вероятно, досталась домовладельцу в этом заброшенном виде после какого-нибудь банкротства. Слой грязи, поверх которого густой пеленой легла пыль, скрывал краску, стекла были немыты, дверная ручка поворачивалась без малейшего усилия, как во всех тех местах, откуда выходят еще поспешнее, чем входят.

— Что вы о ней скажете? Уж не двоюродная ли она сестрица самой смерти? — шепнул Газоналю художник, указывая на отвратительное существо, сидевшее за прилавком.— А звать ее госпожа Нуррисон.

— Сколько стоят эти кружева, сударыня? — спросил фабрикант, решивший не отставать в дурачествах от художников.

— Для вас, сударь, так как вы приехали издалека, только сто экю,— ответила старуха.

Уловив жест, характерный для южан, она с благоговейным видом добавила:

— Эти кружева принадлежали несчастной принцессе де Ламбаль.

— Как! Так близко от королевского дворца, и там допускают, чтобы!..— воскликнул Бисиу.

— Сударь, *они* этому не верят...— сказала старуха.

— Сударыня, мы пришли к вам не ради покупок,— храбро начал Бисиу.

— Я это и сама вижу, сударь,— ответила г-жа Нуррисон.

— Мы хотим продать кое-какие вещи,— продолжал знаменитый карикатурист.— Я живу на улице Ришелье, дом сто двенадцать, в седьмом этаже. Если бы вы потрудились сейчас зайти ко мне, вы бы сделали выгодное дельце.

— Быть может, вам угодно приобрести несколько метров муслина для хорошенькой женщины? — с улыбочкой спросила старуха.

— Нет, речь идет о подвенечном платье,— важно заявил Леон де Лора.

Не прошло и четверти часа, как г-жа Нуррисон явилась в квартирку на улице Ришелье; решив разыграть задуманную им шутку до конца, Бисиу захватил с собой Леона и Газоналя. Перекупщица увидела три постные физиономии; сейчас молодые люди напоминали авторов, чей совместный труд *«не получил должного признания»*.

— Сударыня,— заявил Бисиу, показывая старухе пару женских домашних туфель,— эти туфли носила не кто иная, как императрица Жозефина.

Дерзкому мистификатору не терпелось расквитаться с г-жой Нуррисон за ее принцессу де Ламбаль.

— Эти-то? — воскликнула перекупщица.— Да они сделаны в нынешнем году; посмотрите клеймо на подошве!

— Неужели вы не догадываетесь,— спросил Леон де Лора,— что туфли здесь всего только предисловие, хотя обычно домашние туфли означают конец романа?

— Мой друг, здесь присутствующий,— начал Бисиу, указывая на Газоналя,— желал бы по важным соображениям семейного свойства доподлинно узнать, не согрешила ли молодая особа из почтенного богатого дома, на которой он намерен жениться.

— Сколько он за это даст? — осведомилась г-жа Нуррисон, взглянув на Газоналя.

— Сто франков,— ответил южанин, ничему уже не удивлявшийся.

— Покорно вас благодарю,— отрезала старуха, подчеркнув свой отказ гримасой, которой мартышка и та позавидовала бы.

— Сколько же вы хотите, дражайшая госпожа Нуррисон? — спросил Бисиу, обнимая ее за талию.

— Прежде всего, дорогие мои, знайте: за все то время, что я работаю, я еще ни разу не видела, чтобы кто-нибудь, будь то мужчина или женщина, торговался, когда речь шла о его счастье. Ну-ка признайтесь! Вы все трое просто хотите подурачиться,— заявила перекупщица, выдавив на бескровных губах ехидную улыбку, казавшуюся еще более зловещей из-за ее взгляда, недоверчивого и ледяного, как взгляд кошки.— Если дело не касается вашего счастья, стало быть, оно связано с вашим благосостоянием; а когда живут так высоко, как вы, менее всего торгуются, справляясь о приданом. Итак,— закончила она, состроив умильную физиономию,— о ком же идет речь, мои ягнятки?

— О торговом доме Бенье и компания,— ответил Бисиу, очень довольный возможностью узнать всю подноготную одной особы, которая его интересовала.

— О! — воскликнула старуха.— За это одного луидора предостаточно...

— Как же обстоит дело?

— Все драгоценности мамаши — у меня; каждые три месяца (когда истекает срок заклада) она бегает высунувши язык, чтобы раздобыть деньжат и уплатить мне проценты. С этой семейкой вы хотите породниться, простачок? Дайте мне сорок франков, и я выложу вам больше чем на сто экю.

Газональ показал ей монету в сорок франков, и г-жа Нуррисон принялась рассказывать ужасающие вещи о тщательно скрываемой нищете некоторых женщин с безупречной репутацией. Беседа оживила перекупщицу, она разошлась вовсю; не выдавая ни одного имени, ни одной тайны, она привела обоих художников в содрогание, показав им, как редко в Париже встречается благополучие, не покоящееся на шатком фундамен-

те долгов. Она хранила в своих комодах фамильные драгоценности, принадлежавшие усопшим бабушкам, покойным мужьям, умершим внучкам, благополучно здравствующим детям. Она выпытывала у своих клиентов ужасающие истории, наводя их на разговоры друг о друге, вырывая у них сокровеннейшие признания в минуты страсти, размолвок, гнева и тех предварительных, мнимозадушевных бесед, которые обычно предшествуют заключению займа.

— Ради чего вы взялись за это ремесло? — спросил Газональ.

— Ради сына,— простосердечно ответила старуха.

Почти всегда перекупщицы-ростовщицы в оправдание своего занятия приводят благородные мотивы. Г-жа Нуррисон рассказала молодым людям, что она сначала лишилась нескольких претендентов на ее руку, затем— трех дочерей, пошедших по торной дорожке, и, наконец— всех своих жизненных иллюзий. Чтобы доказать, с каким неимоверным риском сопряжена ее профессия, она выложила на стол ворох ломбардных квитанций, уверяя, что они — самое ценное ее достояние. Она жаловалась, что в конце каждого месяца бьется, как рыба об лед, и плакалась на то, что ее нещадно *обирают*.

Услыхав это слово, несколько более выразительное, чем следовало, художники украдкой переглянулись.

— Послушайте, детки, я сейчас расскажу вам, как нас *околпачивают!* Речь идет не обо мне, а о моей соседке, тетушке Маюше; она дамская башмачница, живет напротив меня. Я ссудила деньгами одну графиню, у которой вкусы богатые, а средства мизерные. Мадам занимает роскошную квартиру, щеголяет дорогой мебелью, устраивает пышные приемы — словом, говоря по-нашему, так *форсит*, что только держись! Должна триста франков башмачнице, а не далее как третьего дня закатила званый обед, вечер. Башмачница, как прослышала об этом от графининой кухарки, так мигом примчалась ко мне; мы обе входим в раж, башмачница хочет устроить несусветный скандал; я ее все ж таки урезониваю, говорю: подумай, милочка, к чему это приведет? Только лишнего врага наживешь; лучше постарайся выцарапать у нее хороший заклад! Кто кого перехитрит! Тогда и расстраиваться по-пустому не будешь...

А она стоит на своем — пойду к графине, да и все! И просит, чтобы я ее поддержала. Идем. «Графини нет дома». Старый фокус! Тетушка Маюше сразу заявляет: «Мы ее будем ждать хоть до полуночи». Располагаемся в прихожей, толкуем о том, о сем. Чу! Двери открываются, закрываются, слышны легкие шаги, нежные голоса. Мне даже как-то не по себе стало. Это гости съезжались к обеду. Сами понимаете, как дело-то оборачивалось! Графиня посылает свою камеристку улестить тетушку Маюше. «Вам заплатят завтра, не беспокойтесь!» Словом, подъезжает и так и этак. Нас ничем не пронять! (Стреляные воробьи!) Наконец графиня, разряженная в пух и прах, выходит в столовую. Тетушке Маюше только это и было нужно; она распахивает дверь и пулей влетает туда же. Конечно, когда она увидела стол, сверкающий серебром (блюда, канделябры, все так и блестит, так и переливается), она зашипела, словно сифон сельтерской, и стала шпарить: «Уж если жить на чужие денежки, то хоть поскромнее, а не транжирить их на званые обеды! Называется графиней, а не отдает ста экю несчастной башмачнице, у которой семеро детей!» Чего-чего только эта деревенщина не наплела — сами можете представить! Графиня пробовала было отговориться тем, что у нее сейчас нет денег, но тетушка Маюше заорала: «Да вот же, сударыня, серебро! Извольте-ка заложить приборы и рассчитаться со мной!» Графиня в ответ: «Возьмите их сами!» Глядим, она тут же хватает полдюжины приборов и сует их башмачнице в руку. Мы кубарем с лестницы, радуемся, что наша взяла. А на улице у тетушки Маюше слезы так и полились из глаз: она ведь добрая женщина! Отнесла приборы обратно, извинилась; она поняла, что графиня совсем нищая: приборы-то ведь были накладного серебра.

— И башмачница осталась в накладе,— сострил Леон де Лора, в котором зачастую пробуждался прежний Мистигри.

— Ах! Дорогой сударь! — сказала г-жа Нурриссон, по этому каламбуру решившая, что видит перед собой некое весьма известное лицо.— Вы артист, вы пишете пьесы для театров, вы живете на улице Эльдер, и вы все еще содержите Антонию... у вас кое-какие привычки, которые мне известны... Признайтесь, вам охота подце-

пить какую-нибудь штучку высшего полета — Карабину или Мушкетон, Малагу или Женни Кадин?

— Малагу! Карабину! Да ведь известность им создали мы! — воскликнул Леон де Лора.

— Клянусь вам, дорогая мадам Нуррисон,— мы хотели только одного: иметь удовольствие познакомиться с вами и получить сведения о вашем прошлом, узнать, по какой наклонной плоскости вы докатились до вашего нынешнего занятия,— сказал Бисиу.

— Я служила экономкой у маршала Франции, князя Изенбургского,— начала старуха, приняв позу Дорины.— Однажды утром приезжает некая графиня, одна из самых блестящих дам императорского двора. Ей, изволите видеть, до зарезу нужно переговорить с маршалом, притом наедине. Я тотчас пристраиваюсь так, чтобы все слышать. Моя дамочка сразу в слезы и давай расписывать простаку маршалу (это князь Изенбургский, Конде республики, простак!), что ее муж — а муж в то время служил в Испании — не оставил ей и тысячи франков и что если она сейчас же не достанет тысчонку-другую,— ее дети будут сидеть без хлеба, ей завтра нечего есть. Мой маршал, в ту пору довольно щедрый, вынимает из своего бюро два тысячефранковых билета. Я скорей на лестницу; притаилась так, что красотка не могла меня видеть, и продолжала наблюдать; спускаясь с лестницы, она радостно смеялась, но эта радость так мало походила на материнскую, что я мигом проскользнула вслед за ней к подъезду; слышу, она шепчет своему выездному лакею: «К Леруа». Я — бегом за ней. Любящая мамаша входит в эту знаменитую модную мастерскую на улице Ришелье — ну, да вы знаете! — и тут же заказывает платье за полторы тысячи франков. Деньги выкладывает чистоганом — в те времена расплачивались, делая заказ. Через день она появляется на балу в посольстве, разодетая, как пристало женщине, которая хочет очаровать всех, чтобы тем вернее пленить одного... В этот день я сказала себе: «Я нашла подходящее занятие! Когда я войду в лета, я буду ссужать знатных дам деньгами под залог их финтифлюшек; ведь страсть не рассчитывает и платит не глядя... Если вы нуждаетесь в сюжетах для водевилей, я могу вам их продать целую кучу...»

Закончив этот рассказ — тусклое отражение превратностей ее прошлого,— старуха ушла, оставив Газоналя во власти ужаса, внушенного ему и этими признаниями и пятью желтыми зубами, которые она оскалила, изобразив подобие улыбки.

— Чем мы займемся сейчас? — спросил Газональ.

— Векселями,— объявил Бисиу, дернув шнур звонка, чтобы вызвать своего привратника.— Мне нужны деньги, и я сейчас покажу вам, для чего существуют привратники. Не только для того, чтобы вручать жильцам ключи и почту, как все вы воображаете. Нет, главное их назначение — выручать в затруднительных случаях повес вроде меня, художников, которых они берут под свое покровительство. Мой привратник, наверно, получит когда-нибудь премию имени Монтиона.

Тщетно силясь что-либо понять, Газональ по-бычьи округлил глаза.

На звонок явился человек средних лет, смахивавший не то на отставного солдата, не то на канцелярского служителя, только еще более засаленный и замасленный, в синей суконной куртке, тускло-серых панталонах и покромчатых туфлях. У него были жирные волосы, изрядное брюшко, лицо глянцевито-бледное, как у настоятельницы монастыря.

— Что вам угодно, сударь? — спросил он с видом покровительственным и в то же время подобострастным.

— Равенуйе, его зовут Равенуйе,— пояснил Бисиу, обращаясь к Газоналю,—при тебе записи наших расчетов?

Равенуйе вынул из бокового кармана самую замызганную записную книжку, какую Газональ когда-либо видал.

— Так вот, впиши в нее эти два векселя, по пятьсот франков каждый, сроком на три месяца; ты проставишь на них свою подпись.

И Бисиу вручил привратнику два заполненных по всей форме долговых обязательства, которые тот немедленно подписал, отметив их в обтрепанной книжке, куда его жена заносила долги жильцов.

— Благодарю тебя, Равенуйе,— сказал Бисиу.— Вот тебе ложа в театр «Водевиль».

— О! Значит, моя дочка повеселится сегодня вечером,— сказал Равенуйе, уходя.

— Всего в доме жильцов семьдесят один человек,— продолжал Бисиу свои объяснения,— каждый из нас в среднем занимает у Равенуйе шесть тысяч франков в месяц, восемнадцать тысяч франков за квартал; кто берет помногу сразу, а кто перехватывает по мелочам, не считая квартирной платы. Равенуйе — наше провидение... получающее тридцать процентов, которые мы ему даем; сам он никогда ничего не требует...

— О Париж! Париж! — воскликнул Газональ.

— По дороге,— продолжал Бисиу, сделав на векселях передаточную надпись,— ибо я поведу вас, кузен Газональ, посмотреть еще одного комедианта, который бесплатно разыграет перед вами премилую сценку...

— Куда это? — прервал Леон.

— К ростовщику. Итак, по дороге я расскажу вам о первых шагах нашего друга Равенуйе в Париже.

Проходя мимо каморки привратника, Газональ увидел мадемуазель Люсьену Равенуйе, упражнявшуюся в сольфеджиях; она училась пению в Консерватории; отец читал газету, г-жа Равенуйе разбирала письма, которые ей предстояло разнести жильцам.

— Благодарю вас, господин Бисиу,— сказала дочь.

— Это не крыса,— шепнул Леон Газоналю,— это личинка кузнечика.

— По-видимому,— заметил Газональ,—привратника, как и прочих парижан, легче всего расположить к себе билетами в ложу....

— Видите, в нашем обществе он уже приобретает лоск! — вскричал Леон, восхищенный остротой.

— История Равенуйе такова,— начал свой рассказ Бисиу, когда трое друзей вышли на бульвар.— В 1831 году Массоль, известный вам член Государственного совета, был адвокатом-журналистом, в ту пору метившим еще только в министры юстиции,— Луи-Филиппа он великодушно соглашался оставить на троне. Нужно простить ему его притязания, он родом из Каркасонны. Однажды утром к нему является некий молодой земляк и говорит: «Вы меня хорошо знаете, господин Массоль, я сын вашего соседа, бакалейщика, при-

ехал сюда, потому что у нас прошел слух, что здесь для каждого находится местечко». У Массоля мурашки забегали по телу, когда он это услышал; он тотчас сообразил, что стоит ему только помочь этому соотечественнику, которого он, к слову сказать, совершенно не помнил,— и к нему нагрянет вся его родная провинция; все шнурки от звонков, счетом одиннадцать, будут оборваны, ковры истоптаны, единственный его слуга сбежит, начнутся недоразумения с домовладельцем из-за лестницы, другие жильцы будут жаловаться, что в доме запахло чесноком и дилижансом. Поэтому он смотрел на просителя, как мясник смотрит на барана, прежде чем его зарезать. Но хотя земляк отлично понял этот взгляд, или этот удар кинжалом, он, по словам Массоля, нимало не смущаясь, продолжал: «Я честолюбив, как все мы, и я вернусь домой не иначе, как богачом, если вообще вернусь туда; ведь Париж — преддверие рая. Говорят, вы человек, который пишет в газетах, вы делаете здесь погоду, вам стоит только попросить правительство о чем-нибудь — и любая ваша просьба тотчас исполняется. Но если у меня, как у всех нас, есть способности, то я все же отлично знаю: я человек необразованный; у меня неплохие задатки, но я не умею писать, и это несчастье, так как мысли у меня водятся. Поэтому я не думаю соперничать с вами; я трезво оцениваю себя: это мне не по силам. Но раз вы все можете и мы вроде как братья, в детстве играли вместе, значит, я рассчитываю, что вы меня выведете в люди, окажете мне покровительство. Так вот, я должен получить, я хочу получить место, которое соответствовало бы моим возможностям, тому, что я собой представляю, место, где я мог бы составить себе состояние...» Массоль хотел было без долгих проволочек крепко обругать своего земляка и выставить его, но тот неожиданно закончил свою речь следующими словами: «Поэтому я не прошу у вас должности чиновника: там продвигаются черепашьим шагом, ваш кузен уже двадцать лет прозябает в разъездных контролерах; нет, я хотел бы попробовать свои силы в качестве...» «Актера?» — спросил Массоль, обрадованный такой развязкой. «Нет; у меня сценичная внешность, хорошая память, выразительная жестикуляция, но в театре слишком много трудностей. Я хотел бы попробовать свои силы...

в качестве привратника». Массоль с невозмутимым видом ответил: «Там трудностей еще больше, но по крайней мере вы увидите, что логова привратников, не в пример ложам, никогда не пустуют»,— и, по словам Равенуйе, выхлопотал «земляку» место привратника.

— Я первый,— сказал Леон,— заинтересовался этой курьезной разновидностью человека — привратником. На свете существуют плуты, разглагольствующие о нравственности, фигляры тщеславия, современные сикофанты, рьяные поборники спасительных крутых мер, изобретатели животрепещущих проблем, ломающие копья за освобождение негров, за исправление малолетних воришек, за помощь отбывшим срок наказания каторжникам— а их привратники живут хуже ирландцев, живут в тюрьмах более ужасных, чем одиночные камеры, и на содержание привратника эти люди за год тратят меньше, чем государство на прокормление каторжника. За всю свою жизнь я, пожалуй, сделал одно-единственное доброе дело: исхлопотал своему привратнику приличное помещение.

— Если бы,— подхватил Бисиу,— человек, понаторив огромные клетки, разгороженные, подобно пчелиным сотам или стойлам зверинца, на тысячи крохотных клетушек, в которых живут люди самого различного склада и звания; если бы этот скот в образе домовладельца пришел к ученому и сказал ему: «Я хочу завести двурукое существо, которое могло бы жить в конуре не более десяти футов в квадрате, заваленной старой обувью и вонючим хламом; хочу, чтобы это существо прожило там всю свою жизнь, спало бы там, было бы счастливо, производило бы детей, прелестных, как амуры; хочу, чтобы оно там работало, стряпало, сновало взад и вперед, выращивало цветы, распевало песни и никуда оттуда не отлучалось; прозябало бы в полумраке и в то же время следило бы за всем, что происходит вне этой смрадной клетушки»,— бесспорно, ученый не сумел бы выдумать привратника. Чтобы создать его, требовался Париж, или, если хотите, сам дьявол.

— Парижская промышленность шагнула еще дальше за грань невозможного,— вставил Газональ.— Ведь есть еще и рабочие... Вы выставляете изделия нашей промышленности, но вы знаете далеко не все то, что

она порождает... Наша промышленность борется с промышленностью других стран материка, без счета жертвуя рабочими, как Наполеон боролся с Европой, жертвуя целыми полками.

— Вот мы и пришли к моему другу Вовине, процентщику,— объявил Бисиу.— Одна из самых грубых ошибок, совершаемых теми, кто описывает наши нравы, заключается в том, что эти люди рабски копируют старинные портреты. В наше время во всех профессиях наблюдаются разительные перемены. Бакалейщики становятся пэрами Франции, художники сколачивают крупные состояния, авторы водевилей живут на доходы со своих пьес. Если отдельные, весьма немногие личности остаются тем, чем они были в старину, то в основном любая профессия утратила и отличавшее ее некогда одеяние и свои стародавние нравы. Если раньше у нас были Гобсек, Жигонне, Шабуассо, Саманон — последние римляне,— то теперь мы имеем удовольствие вести дела с Вовине, покладистым на вид заимодавцем-щеголем, который вхож за кулисы, бывает у лореток, разъезжает в изящной одноконной коляске... Понаблюдайте его внимательно, дружище Газональ, и вы увидите комедию денег: человека холодного, не желающего давать зря ни гроша и вместе с тем одержимого страстями, падкого до наживы. А главное — послушайте его!

Все трое поднялись на третий этаж очень красивого дома, выходившего на Итальянский бульвар, и вошли в комнату, роскошно обставленную в модном тогда вкусе. Молодой человек лет двадцати восьми приветствовал их с видом почти что радостным, так как первым вошел Леон де Лора. Затем Вовине — это был он — весьма дружески пожал руку Бисиу, холодно поклонился Газоналю и пригласил их в кабинет, где вкус мещанина сказывался во всем, несмотря на художественное убранство, на модные статуэтки и на все те безделушки, которые современное искусство, измельчавшее так же, как и его потребитель, создало для наших тесных квартир.

Как все молодые дельцы, Вовине был одет с тем изысканным щегольством, которое для многих из них служит известного рода рекламой.

— Я пришел к тебе за деньжатами,— смеясь, объявил Бисиу, протягивая Вовине свои векселя.

Вовине сделал серьезную мину, рассмешившую Газоналя,—настолько лицо ростовщика, мигом насторожившегося, было непохоже на прежнюю приветливую физиономию.

— Милый мой,— сказал Вовине, глядя на Бисиу,— я с превеликим удовольствием выручил бы тебя, но у меня сейчас совершенно нет денег.

— Вот как!

— Да, я все отдал. Знаешь, кому? Бедняга Лусто задумал стать директором театра совместно с Ридалем — старым водевилистом, которому очень покровительствует министерство... Вчера им понадобилось тридцать тысяч франков... Я на мели, настолько на мели, что сейчас пошлю за деньгами к Серизе, чтобы заплатить сто луидоров, которые сегодня утром проиграл в ландскнехт у Женни Кадин...

— Видно, вам очень туго приходится, раз вы не хотите выручить беднягу Бисиу,— вставил Леон де Лора,— ведь у него очень злой язык, когда он прогорает.

— Нет,— возразил Бисиу,— я ничего не могу сказать о Вовине, кроме доброго; у него столько добра...

— Дорогой мой,— прервал его Вовине,— будь я при деньгах, я все равно не смог бы, хотя бы даже из пятидесяти процентов учесть векселя, выданные твоим привратником. Равенуйе не в спросе. Это не Ротшильд. Предупреждаю тебя, эта фирма лишилась кредита, ты должен подыскать себе другую. Найди себе какого-нибудь дядюшку. Друзья, подписывающие векселя, теперь уже не котируются; трезвый дух нашего времени распространяется с ужасающей быстротой.

— Я могу...— заявил Бисиу,— я могу представить подпись вот этого господина, одного из крупнейших фабрикантов сукна Южной Франции... Его фамилия — Газональ. Он не очень хорошо причесан,— продолжал карикатурист, мельком взглянув на пышную, всклокоченную шевелюру провинциала,— но я сведу его к Мариусу, который избавит его от этого сходства с пуделем, столь же неблагоприятного для его достоинства, как и для нашего.

— Я и в мыслях не имею оскорбить господина Газоналя, но должен сказать, я не верю в кредитоспособность юга,— сказал Вовине.

Газональ остался так доволен этим ответом, что нисколько не рассердился на Вовине за дерзость.

Газональ, мнивший себя весьма проницательным, предположил, что Леон де Лора и Бисиу, решив показать ему Париж без прикрас, хотят заставить его поплатиться тысячей франков за угощение в «Кафе де Пари». Уроженец Русильона еще не утратил неимоверной подозрительности, которую провинциалы считают своим надежнейшим оплотом в Париже.

— Подумай сам, разве я могу завязать деловые сношения в Пиренеях, в двухстах пятидесяти лье от Парижа? — прибавил Вовине.

— Это твое последнее слово? — спросил Бисиу.

— У меня ровным счетом двадцать франков,— ответил молодой ростовщик.

— Глубоко огорчен за тебя,— не унимался шутник и сухо прибавил:— Я полагал, что, как-никак, стою тысячу франков.

— Ты стоишь сто тысяч франков,— возразил Вовине,—иногда тебе даже цены нет, но... у меня полное безденежье.

— Ну что ж,— сказал Бисиу,— довольно об этом... Сегодня вечером у Карабины я хотел устроить тебе самое выгодное дельце, о каком ты только мог мечтать. Ты сам знаешь, какое.

Вовине взглянул на Бисиу, сощурив один глаз, как делают барышники, будто говоря: «Свой своего не проведет».

— Неужели ты не помнишь,— продолжал Бисиу,— как, обняв меня за талию, словно хорошенькую женщину, лаская меня взглядом и речами, ты говорил мне: «Я все сделаю для тебя, если ты сможешь достать мне по нарицательной стоимости акции железной дороги, подряд на постройку которой берут дю Тийе и Нусинген». Так вот, мой дорогой, Максим и Нусинген часто посещают Карабину; сегодня вечером у нее большой прием, будет много видных политических деятелей. Ты упускаешь редкостный случай, старина! Ну, что ж, прощай, обманщик!

Бисиу встал. Вовине по виду был спокоен, но в душе он досадовал, как всякий человек, понявший, что сделал глупость.

— Постой, мой милый,— сказал он,— у меня нет денег, но есть кредит... Хотя твои векселя ничего не стоят, я могу оставить их у себя и взамен дать тебе биржевые ценности... Наконец, мы могли бы столковаться насчет этих железнодорожных акций... Мы делились бы, в известном соотношении, прибылями от этой операции, и я в счет этих барышей скостил бы тебе все то, что ты...

— Нет, нет,— перебил его Бисиу,— мне нужны наличные деньги, я должен реализовать Равенуйе...

— Ну что ж, Равенуйе — солидная марка,— согласился Вовине.— У него есть вклад в сберегательной кассе, он надежен...

— Он надежнее тебя,— заявил Бисиу.— Он не содержит лоретку, квартира ему ничего не стоит, он не пускается в спекуляции, рискуя всего лишиться из-за повышения или понижения биржевых курсов...

— Маститый деятель, вам кажется, что вы балагурите,— возразил Вовине, снова взяв добродушный, веселый тон,— а ведь, в сущности, вы переложили на свой лад басню Лафонтена «*Дуб и трость*». Послушай «*Гюбетта, испытанный сообщник*»,— продолжал ростовщик, обняв Бисиу,— тебе нужны деньги, ну, что ж, я могу занять у Серизе вместо двух тысяч три... И... «*друзьями, Цинна, будем!*» Дай мне обе твои дрянные бумажонки. Если я сначала отказал тебе, то лишь потому, что человеку, который может кое-как перебиваться, только учитывая свои векселя во Французском банке, очень трудно хранить твоего Равенуйе в недрах своего письменного стола... Ох, как трудно...

— Сколько процентов ты возьмешь за учет? — спросил Бисиу.

— Сущий пустяк; за три месяца это тебе обойдется в каких-нибудь пятьдесят франков.

— Как говаривал некогда Эмиль Блонде, ты будешь моим благодетелем...

— Значит, двадцать процентов вычета при оплате векселя,— шепнул Газональ, наклонясь к Бисиу, который вместо ответа пребольно толкнул его локтем в грудь.

— Смотри-ка, милейший,— воскликнул Вовине, открыв ящик своего бюро,— мне попался билет в пятьсот франков, прилипший к бандероли! Мне и не снилось, что я так богат; а я искал для тебя векселек, по которому ты

мог бы в конце будущего месяца получить четыреста пятьдесят франков. Серизе учтет тебе его досрочно из небольшого процента, вот у тебя и составится нужная сумма. Но без фокусов, Бисиу, слышишь? Итак, сегодня вечером я иду к Карабине. Поклянись мне, что...

— Разве мы не *перезаключили* наш союз? — сказал Бисиу, взяв билет в пятьсот франков и вексель на четыреста пятьдесят.— Даю тебе слово, что сегодня вечером ты встретишься с дю Тийе и другими тузами, которые решили соорудить железную дорогу... стараниями Карабины.

Вовине проводил трех друзей до самой двери, продолжая любезничать с Бисиу. Пока они спускались по лестнице, Бисиу с серьезным видом слушал Газоналя, старавшегося объяснить карикатуристу заключенную им сделку и доказать ему, что если Серизе, компаньон Вовине, возьмет с него за досрочный учет векселя двадцать франков с четырехсот пятидесяти, это составит сорок процентов годовых. Но как только они вышли на улицу, Бисиу привел Газоналя в ужас, рассмеявшись смехом видавшего виды парижанина, беззвучным и холодным, словно дуновение ледяного ветерка.

— Нам точно известно,— сказал он,— что в палате вопрос о сдаче подряда с торгов будет отложен; это мы узнали вчера от той корифейки, с которой обменялись улыбкой. А если я сегодня вечером выиграю пять-шесть тысяч франков в ландскнехт, то какое значение имеет убыток в семьдесят франков, раз благодаря этой сделке *есть что ставить!*

— Ландскнехт,— пояснил Леон,— еще одно из бесчисленных, искусно граненных стекол, в которых преломляется парижская жизнь. Поэтому, кузен, мы решили повести тебя к некоей герцогине, проживающей на улице Сен-Жорж; у нее ты увидишь цвет парижских лореток и там же сможешь выиграть свой процесс. Но тебе никак нельзя показаться там с твоей пиренейской шевелюрой, ты похож на ежа; мы сведем тебя на площадь Биржи, неподалеку отсюда, к Мариусу, тоже одному из наших комедиантов...

— Это что еще за комедиант?

— Вот вкратце его история,— начал свой рассказ Бисиу.— В 1800 году некий Кабо, уроженец Тулузы, моло-

дой парикмахер, снедаемый честолюбием, приехал в Париж и там *завел лавочку* (пользуясь вашим южным жаргоном). Этот гениальный человек (сейчас он проживает свои двадцать четыре тысячи франков ежегодной ренты в Либурне, где поселился, уйдя на покой) быстро сообразил, что с такой мещанской, пошлой фамилией ему не достичь славы. Поэт Парни, которого он причесывал, дал ему имя Мариус, несравненно более изысканное, нежели Ипполит и Арман, обычно избираемые теми, кого судьба наделила убогими фамилиями вроде Кабо. Один за другим все преемники Кабо именовали себя Мариусами. Ныне здравствующий Мариус—это Мариус Пятый, его настоящая фамилия — Мужен. То же самое произошло со многими другими фирмами: с элексиром Бото, с чернилами Петит-Вертю. В Париже имя, значащееся на вывеске, превращается в торговую марку и в конце концов становится как бы дворянским титулом коммерсанта. Впрочем, у Мариуса есть ученики, и он уверяет, что создал первую в мире школу парикмахерского искусства.

— Проезжая по Франции,— сказал Газональ,— я много раз видал вывески. Такой-то *ученик Мариуса.*

— Его ученикам вменяется в обязанность мыть руки после каждой прически,— продолжал Бисиу,— но Мариус берет учеников с большим разбором: у них должны быть красивые руки и приятная наружность. Самых обходительных, самых изящных он посылает причесывать на дом, они возвращаются очень усталыми. Сам Мариус выезжает только к титулованным дамам; он держит кабриолет и грума.

— Но ведь он всего-навсего *брадобрей!* — с возмущением воскликнул Газональ.

— Брадобрей? — переспросил Бисиу.— Примите во внимание, что он капитан национальной гвардии и награжден орденом за то, что в 1832 году первым ринулся на баррикаду.

— Выражайся осторожно: он не брадобрей и не цирюльник, а директор салона причесок,— молвил Леон, когда они поднимались по устланной пышным ковром лестнице с перилами красного дерева и хрустальными балясинами.

— Да, вот еще: не поставьте нас в неловкое положение,— предупредил Газоналя Бисиу.— В прихожей кто-

нибудь из постоянно находящихся там лакеев снимет с вас верхнее платье и шляпу, чтобы почистить их; затем он проводит вас в один из салонов, распахнет перед вами двери и закроет их за вами. Я считаю нужным предупредить вас об этом, друг мой Газональ,— не без ехидства прибавил Бисиу,— а то вы еще, чего доброго, завопите: «На помощь! Караул!»

— Эти салоны,— пояснил Леон де Лора,— представляют собой анфиладу комнат, обставленных владельцем с самой утонченной роскошью, какая только мыслима в наши дни. На окнах портьеры, всюду жардиньерки, мягкие диваны, расположась на которых можно, если все мастера заняты, дожидаться своей очереди за чтением газет. Входя, ты, пожалуй, невольно пощупаешь свой кошелек, опасаясь, что с тебя потребуют пять франков; но какой бы у клиента ни был карман, из него извлекают за прическу всего десять су, а за прическу со стрижкой— двадцать. Среди жардиньерок расставлены изящные столики парикмахеров. К каждому столику проведена вода. Всюду огромные зеркала, можно любоваться своим отражением во весь рост. Итак, не выказывай удивления! Когда *клиент* (этим изящным словцом Мариус заменил грубое слово *«патлатый»*), когда клиент переступает порог, Мариус бросает на него беглый взгляд—и он оценен; для Мариуса клиент только «голова», более или менее способная его заинтересовать. Для него люди не существуют, он признает одни только головы.

— Если вы сумеете войти в нашу игру, мы заставим Мариуса пропеть нам свою арию на все лады,— посулил Бисиу.

Когда Газональ появился в салоне, Мариус, окинув его взглядом, по-видимому, дал ему благоприятную оценку и тотчас крикнул:

— Регул! Эта голова для вас! Сперва обработайте ее маленькими ножницами!

— Простите,— сказал Газональ ученику, уловив выразительный жест карикатуриста,— я хотел бы, чтобы меня причесал сам господин Мариус.

Весьма польщенный этим желанием, Мариус оставил голову, над которою трудился, и подошел к южанину.

— Я к вашим услугам, сейчас кончаю. Не беспокой-

тесь, мой ученик вас подготовит, а уж стиль прически определю я.

Затем, узнав Бисиу, Мариус, человек небольшого роста, рябоватый, с черными, как смоль, волосами, завитыми а ля Рубини, весь в черном, с белоснежными манжетами и жабо, украшенным крупным бриллиантом, поздоровался с карикатуристом, как с лицом, чье могущество отнюдь не уступает его собственному.

— Это заурядная голова,— шепнул Мариус Леону, указывая на господина, которого он причесывал,— бакалейщик. Что поделаешь! Вздумай я всецело отдаться искусству, мне пришлось бы умереть в Бисетре умалишенным! — И, сделав неподражаемый жест, он вернулся к своему клиенту, сказав Регулу: — Постарайся для этого господина: судя по всему, он артист.

— Журналист! — разъяснил Бисиу.

Услышав это, Мариус двумя-тремя взмахами гребенки справился с заурядной головой, бросился к Газоналю и схватил Регула за локоть в ту минуту, когда юноша собирался защелкать маленькими ножницами.

— Я сам займусь этим господином!

— Взгляните на себя, сударь, — обратился Мариус к бакалейщику,— посмотритесь в большое зеркало, если зеркалу угодно будет... Оссиан!

Слуга тотчас явился и помог бакалейщику одеться.

— Заплатите в кассу, сударь,— сказал Мариус растерявшемуся клиенту, который уже вынул было кошелек.

— Разве предварительная обработка маленькими ножницами так уж необходима, любезнейший?—спросил Бисиу.

— Как правило, головы поступают ко мне уже подчищенными,— заявил знаменитый парикмахер,— но из уважения к вам я голову этого господина обработаю целиком. Мои ученики обычно делают головы вчерне, иначе мне бы не управиться. Ведь все твердят, как вы: «Я хочу, чтобы меня причесал сам Мариус». Моего времени хватает только на последние мазки. В какой газете вы изволите сотрудничать, сударь?

— На вашем месте я завел бы трех, а то и четырех Мариусов,— сказал Газональ.

— А, сударь, да вы, я вижу, фельетонист! — воскликнул Мариус.— К сожалению, в нашем деле это не-

возможно! В прическе должна чувствоваться рука ее творца... Минутку!

Он отошел от Газоналя, чтобы присмотреть за Регулом, который тем временем взялся за чью-то только что появившуюся голову. Прищелкнув языком, Мариус издал неодобрительный звук, нечто вроде «тц-тц-тц».

— Да что это, боже милостивый! Что за изломанные линии! Вы не подравниваете волосы, а кромсаете их! Смотрите! Вот так надо! Ведь вы не пуделей стрижете, а людей! Каждый человек чем-нибудь да отличается от всех других, и если вы, вместо того, чтобы делить свое внимание между зеркалом и лицом клиента, будете смотреть в потолок, вы опозорите *мою фирму!*

— Вы очень строги, господин Мариус...

— Мой долг — передать им тайны моего искусства.

— А разве это искусство? — опрометчиво спросил южанин.

Возмущенный Мариус взглянул на Газоналя в зеркало и застыл, держа в одной руке гребенку, в другой — ножницы.

— Сударь... вы рассуждаете, как... как ребенок. Но ведь, судя по вашему произношению, вы южанин, а юг дает гениальных людей!

— Да, я знаю, что это занятие требует особой склонности...— поправился Газональ.

— Замолчите, сударь! От кого-кого, а от вас я этого никак не ожидал! Знайте же, что парикмахера — я не скажу хорошего, я, не обинуясь, скажу: парикмахера по призванию, ибо это дело требует врожденного таланта,— такого парикмахера труднее найти, чем... Ну какое бы подобрать сравнение? Право, не знаю... чем министра! *Не двигайтесь!* Нет, и этого мало! О даровании министров трудно судить; улицы кишат ими. Надо быть Паганини... Нет, и это сравнение слишком слабо. Парикмахер, милостивый государь,— это человек, который разгадывает вашу душу, ваши привычки; чтобы причесать вас сообразно выражению вашего лица, он должен обладать философским умом. А уж что касается женщин... Знайте, сударь, женщины дорожат нами, они ценят нас... ценят столь же высоко, как ту победу, которую они намерены одержать в тот день, когда причесываются, чтобы добиться триумфа! Словом, парикмахер — ни-

кому не дано понять, что это такое. Возьмите хотя бы меня, я едва ли не лучший представитель того, что... Скажу не хвалясь — все меня знают, и все же я считаю, что можно достичь еще большего совершенства... Выполнение — в этом все! Ах, если бы женщины предоставляли мне свободу действий, если бы я мог осуществлять все свои идеи!.. У меня, видите ли, дьявольская фантазия, да женщинам не угнаться за ней: у них свои соображения. Не успеешь откланяться, как они уже пальцем или гребнем уродуют наши чудесные сооружения, которые следовало бы срисовывать, гравировать и сохранять, ибо, сударь, то, что создали мы, живет всего лишь несколько часов... Великий парикмахер... О, ведь это то же, что Карем и Вестрис в своей области! *Будьте любезны, поверните голову — вот так; я отделываю височки.* Отлично! Нашу профессию принижают неучи, которые не понимают ни своей эпохи, ни своего искусства... Немало есть торговцев париками и жидкостями для ращения волос... У них только одно на уме: как бы продать вам склянку-другую своих снадобий... Жалкое зрелище! Они торгаши. Эти презренные пачкуны стригут и причесывают, как умеют... Когда я приехал сюда из Тулузы, я стремился к одному — стать преемником великого Мариуса, настоящим Мариусом, работать так, чтобы я один прославил его имя больше, чем четверо моих предшественников. Я сказал себе: победить — или умереть! *Держитесь прямо, сейчас кончаю.* Я первый ввел изящную обстановку, сумел привлечь к моему салону всеобщее внимание. Я пренебрегаю рекламой; то, что стоила бы реклама, я, сударь, предпочитаю тратить на усовершенствования, на изысканность... В будущем году в маленьком салоне у меня будет играть квартет; там будут исполняться лучшие музыкальные произведения. Да, клиенту нельзя давать скучать в то время, когда его причесывают. Я не обольщаю себя — клиенту это дело в тягость. *Посмотритесь в зеркало.* Стричься, завиваться, пожалуй, столь же утомительно, как позировать для своего портрета. Быть может, вам, сударь, известно, что знаменитый господин фон Гумбольдт — я сумел искусно расположить редкие волосы, оставшиеся у него после Америки; ведь наука, подобно дикарю, превосходно скальпирует тех, кем она

завладела,— что этот прославленный ученый говорил: «Быть вздернутым на виселицу — крайне мучительно, а позировать для портрета — немногим лучше». Но, по словам некоторых женщин, причесываться еще большая мука, чем позировать. А я, сударь, хочу, чтобы ко мне приходили причесываться ради удовольствия. *У вас непокорная прядь, нужно ее пригладить.* Один еврей предлагал мне итальянских певиц, которые в антрактах выщипывали бы седые волосы молодым людям сорокалетнего возраста; но эти певицы на поверку оказались ученицами консерватории, преподавательницами музыки с бульвара Монмартр. Вот теперь, сударь, у вас прическа под стать талантливому человеку. Оссиан! — крикнул Мариус слуге в ливрее.— Почистите и проводите! Чья очередь? — спросил он затем, окинув клиентов надменным взглядом.

— Не смейся, Газональ,— сказал Леон своему кузену, сойдя с лестницы и обведя глазами площадь Биржи.— Я вижу там одного из наших великих людей, ты сможешь сравнить его разговоры с излияниями сего коммерсанта; послушав эту вторую знаменитость, ты скажешь мне, кто из них, по-твоему, больший чудак.

— Не смейся, Газональ,— подхватил Бисиу, подражая интонациям Леона.— Как ты думаешь, чем занимается Мариус?

— Прическами.

— Он,— продолжал Бисиу,— монополизировал оптовую торговлю волосами, так же как крупный фабрикант паштетов, за экю продающий вам баночку этого лакомства, держит в своих руках продажу трюфелей. Он учитывает векселя, обращающиеся в этой отрасли торговли, под залог драгоценностей ссужает деньгами своих клиенток, когда у них нехватки, проделывает различные операции с пожизненной рентой, играет на бирже, состоит акционером всех журналов мод и, наконец, совместно с одним аптекарем и под его именем промышляет пресловутым снадобьем, приносящим ему тридцать тысяч франков ежегодной ренты; на рекламу этого зелья ежегодно уходит сто тысяч.

— Да полно, возможно ли это? — усомнился Газональ.

— Запомните раз навсегда, друг мой,— важно изрек

Бисиу,— в Париже нет мелкой торговли; здесь все, начиная с продажи тряпья и кончая продажей спичек, принимает крупные размеры. Продавец прохладительных напитков, встречающий вас с салфеткой под мышкой, возможно, имеет пятьдесят тысяч франков годового дохода; официант в ресторане может избирать депутатов и сам попасть в палату; человек, которого вы на улице примете за неимущего, носит в жилетном кармане горсть бриллиантов стоимостью в сто тысяч франков, и они не краденые!

Трое неразлучных — по крайней мере, так обстояло с ними в тот день — зашагали по указанию Леона навстречу человеку лет сорока, с орденской ленточкой, шедшему с бульвара по улице Нев-Вивьен.

— О чем ты замечтался, милый Дюбурдье? — спросил Леон, поравнявшись с ним.— Наверно, о какой-нибудь прекрасной символической группе? Любезный кузен, я имею удовольствие представить вас нашему великому художнику Дюбурдье, не менее знаменитому своим талантом, чем своими гуманными убеждениями! Дюбурдье, мой кузен Палафокс!

Дюбурдье, человек невысокого роста, бледный, с грустными голубыми глазами, небрежно кивнул Газоналю, а тот почтительно поклонился гению.

— Итак, вы избрали Стидмана на место...

— Посуди сам, что же я мог сделать? Я был в отсутствии...— ответил прославленный пейзажист.

— Вы подрываете престиж Академии,— продолжал художник.— Избрать такого человека... Я не хочу сказать о нем ничего дурного, но ведь он ремесленник! Куда же вы приведете первое из всех искусств — то, чьи творения сохраняются дольше всех других; искусство, которое воскрешает народы после того, как в мире изгладилась самая память о них, которое увековечивает образы великих людей! Скульптура — ведь это служение святыне! Она обобщает великие идеи своей эпохи, а вы вознесли жалкого ремесленника, кропающего мещанские памятники и аляповатые камины, вы возвеличили поставщика безвкусной лепки, торгаша, которому не место в храме! Ах, недаром Шамфор говорил: «Чтобы выносить жизнь в Париже, нужно каждый день с утра проглатывать ядовитую змею!..» К счастью, у нас

остается искусство; никто не может воспретить нам служить ему...

— А кроме того, мой друг, у вас есть еще одно утешение, доступное лишь немногим художникам,— сказал Бисиу.— Будущее за вами! Когда весь мир примет ваше учение, тогда вы возглавите ваше искусство, потому что вы вкладываете в него идеи, которые станут понятными... после того, как они получат всемирное распространение! Через пятьдесят лет вы будете для всего мира тем, чем теперь являетесь только для нас,— великим человеком! Требуется лишь одно — неуклонно идти к цели!

— Совсем недавно,— начал Дюбурдье, блаженно улыбаясь, как улыбается человек, когда ему наконец дали сесть на своего конька,— совсем недавно я закончил аллегорическое изображение Гармонии, и если вы зайдете посмотреть, вам сразу станет понятно, что мне пришлось затратить на эту работу целых два года. Вы найдете там все! Стоит только взглянуть на мою картину, и вы постигнете судьбы вселенной. Повелительница в одной руке держит пастушеский жезл — символ размножения полезных для человечества пород животных. На голове у нее фригийский колпак, груди — с шестью сосцами, как она изображалась у египтян, ведь египтяне предвосхитили Фурье; ноги покоятся на двух скрещенных руках, охватывающих земной шар,— в знак братства всех племен человеческих; она попирает разбитые пушки — это символизирует прекращение войн, и, наконец, я старался выразить в ее образе величие восторжествовавшего земледелия... Кроме того, я поместил подле Гармонии исполинский кочан капусты, так как, по словам нашего учителя, капуста олицетворяет согласие. Одна из величайших заслуг Фурье в том, что он вновь признал за растениями способность мыслить, и в том, что, разгадав сокровенное значение всех существ и предметов и общий им всем язык природы, он тем самым раскрыл нити, связующие воедино все мироздание. Спустя сто лет мир будет несравненно более обширен, чем сейчас...

— Как же это будет достигнуто, сударь? — спросил Газональ, ошеломленный тем, что все эти мысли излагает человек, не находящийся в сумасшедшем доме.

— Путем расширения производства. Если решатся применить нашу систему, то, по всей вероятности, станет возможно влиять на звезды...

— А что тогда произойдет с живописью? — продолжал расспрашивать Газональ.

— Она станет еще более великой.

— А наши глаза тоже увеличатся? — спросил Газональ, выразительно взглянув на своих друзей.

— Человек станет таким, каким он был до измельчания рода людского; шесть футов будут считаться карликовым ростом...

— А что,— спросил Леон,— твоя работа закончена?

— Совершенно,— ответил Дюбурдье.— Я добился встречи с Гикларом и просил его написать симфонию на эту тему; мне хочется, чтобы люди, созерцая мое творение, в то же время слушали музыку в духе Бетховена, которая развивала бы те же мысли, что и моя Гармония, и тогда они внедрялись бы в умы двояким способом. Ах! Если бы правительство согласилось предоставить мне один из залов Лувра...

— Что ж, я могу поговорить об этом! Если хочешь поразить умы, нельзя пренебрегать ничем.

— О! Мои друзья уже готовят статьи, боюсь только, как бы они не зашли слишком далеко...

— Бросьте! — ответил Бисиу.— Они все же зайдут не так далеко, как будущее.

Дюбурдье исподлобья взглянул на Бисиу и пошел дальше.

— Да ведь это сумасшедший!—вскричал Газональ.— Над ним властвуют фазы луны!

— У него,— пояснил Леон,— есть способности, есть умение... но фурьеризм погубил его. Вот тебе, кузен, живой пример того, как честолюбие действует на художников. Мы в Париже зачастую наблюдаем, как художник или скульптор, жаждущий быстрее, чем это возможно естественным путем, достичь славы, а тем самым богатства, начинает вдохновляться веяниями времени; эти люди хотят возвеличиться, примкнув к какому-нибудь модному движению, служа за плату какой-нибудь «Системе», и надеются, что тесный кружок приверженцев превратится в широкую публику. Один из них — республиканец, другой — сен-симонист, третий — ари-

стократ, четвертый — католик, кое-кто придерживается «Золотой середины», иные предвзято восхваляют средневековые и немецкие идеи. Но если никакая доктрина не может наделить художника талантом, то погубить талант она вполне способна. Наглядный тому пример — бедняга, которого вы только что видели. Вера в свое творчество — вот что должно быть убеждением художника, и единственный путь к успеху — труд, если природа вдохнула в его душу священный огонь.

— Бежим! — вскричал Бисиу.— Леон проповедует мораль.

— И этот человек действительно верит в то, что говорит? — спросил все еще охваченный смятением Газональ.

— Искренне верит,— ответил Бисиу.— Так же искренне, как верит в свои бредни наш король брадобреев.

— Он безумец! — воскликнул Газональ.

— А ведь он не единственный, кого идеи Фурье свели с ума,— заметил Бисиу.— Вы совершенно не знаете Париж. Просите здесь сто тысяч франков, чтобы претворить в жизнь идею, сулящую человечеству неисчислимую пользу, чтобы создать нечто не менее значительное, чем паровая машина, и вы умрете, как Соломон де Ко, в Бисетре. Но если дело касается какого-нибудь парадокса, люди с радостью приносят в жертву и себя и свое состояние. Знайте: с убеждениями в Париже дело обстоит совершенно так же, как со всем остальным. За последние пятнадцать лет газеты, распространяющие самые невероятные учения, поглотили здесь миллионы. Выиграть ваш процесс вам так трудно по той причине, что ваши доводы разумны, а префект нажимает тайные пружины, чтобы добиться неразумного решения.

— Теперь ты понял,— обратился Леон к своему кузену,— что, постигнув нравственную природу Парижа, умный человек уже не может жить ни в каком другом месте?

— А не свезти ли нам кузена Газоналя к старухе Фонтэн? — предложил Бисиу, знаком подзывая наемную карету.— Это сразу перенесет его из суровой действительности в мир фантастики. Кучер! На улицу Вьей-дю-Тампль!

Они втроем покатили в квартал Марэ.

— Что вы мне покажете сейчас? — полюбопытствовал Газональ.

— Доказательство того, что тебе говорил Бисиу,— ответил Леон.— Женщину, которая добывает двадцать тысяч франков в год, умело пользуясь некой идеей.

— Женщину, которая гадает на картах,— пояснил Бисиу, истолковав недоуменный взгляд южанина, как вопрос.— Среди тех, кто жаждет узнать будущее, госпожа Фонтэн слывет гораздо более прозорливой, нежели покойная госпожа Ленорман.

— Должно быть, она очень богата! — воскликнул Газональ.

— Пока существовала лотерея,— сказал Бисиу,—она была жертвой своей идеи; ведь в Париже крупным доходам всегда соответствуют крупные расходы. Здесь в каждой умной голове непременно заводится какая-нибудь блажь, которая служит как бы предохранительным клапаном для избытка фантазии. Здесь у всех тех, кто загребает большие деньги, всегда налицо либо пороки, либо причуды; наверно, это нужно для равновесия.

— А сейчас, когда лотерея упразднена? — спросил Газональ.

— Ну и что ж? У нее есть племянник, она для него копит деньги.

Друзья подъехали к одному из самых старых домов улицы Вьей-дю-Тампль; по лестнице с расшатанными ступеньками и липкими от наслоившейся грязи перилами, в полумраке и удушливой вони, обычной в домах со сквозным проходом, они поднялись в четвертый этаж и остановились у двери, изобразить которую можно только рисунком, так как писателю пришлось бы потратить слишком много ночей, чтобы надлежаще описать ее словами.

Старуха, вполне соответствовавшая этой двери,— возможно, то была одна из тех дверей, которые обрели жизнь,— провела трех друзей в комнату, видимо, служившую прихожей, где, хотя на улицах Парижа в тот день было жарко, их сразу охватил ледяной холод могильного склепа. В комнату проникал мозглый воздух внутреннего двора, похожего на огромную отдушину; подоконник был уставлен чахлыми растениями. В этой

клетушке с осклизлыми, покрытыми жирной копотью стенами все — стол, стулья — имело нищенский вид. Стекла, пропускавшие тусклый свет, запотели, как охладительные сосуды. Словом, все до последней мелочи было под стать отвратительной, одетой в заплатанные отрепья старухе с бледным лицом и крючковатым носом. Предложив посетителям присесть, она предупредила их, что к *мадам* входят только поодиночке.

Прикинувшись смельчаком, Газональ отважно вошел первым и увидел перед собой одну из тех женщин, которых Смерть щадит словно ради того, чтобы оставить среди живых несколько слепков с самой себя. На иссохшем лице старухи сверкали серые глаза, утомлявшие своей неподвижностью; приплюснутый нос был испачкан табаком; костяшки, исправно приводимые в движение бугристыми мускулами, изображали руки; они тасовали карты, но так вяло, что казалось, перед вами машина, которая вот-вот остановится. Туловище, похожее на помело, приличия ради прикрытое платьем, обладало преимуществом неорганической природы: оно не шевелилось. Голову старухи венчал черный бархатный чепец. Справа от г-жи Фонтэн — это существо было женщиной — сидела черная курица, слева — огромная, звавшаяся Астартой, жаба, которую Газональ сперва не заметил. Жаба пугала не столько своим видом, сколько глазами: два топаза, величиной с монету в пятьдесят сантимов каждый, светились словно две ярко горящие лампы. Этот взгляд был непереносим. Как говорил несчастный Ласайи, который, умирая в глуши, до последнего издыхания боролся с жабой, опутавшей его колдовскими чарами, жаба — неразгаданное существо. Быть может, она суммирует собой все живое в природе, включая человека, ибо, утверждал тот же Ласайи, жаба живет бесконечно долго. Известно, что брачный период у нее более длителен, чем у всей прочей твари.

Клетка черной курицы помещалась на расстоянии двух футов от стола, покрытого зеленой скатертью; курица расхаживала по дощечке, служившей как бы подъемным мостом между столом и клеткой.

Когда старуха, наименее реальное из всех существ, находившихся в этой, словно созданной фантазией Гофмана, трущобе, сказала Газоналю: «Снимайте»,—почтен-

ного фабриканта проняла дрожь, как он ни храбрился. Тайна грозной силы таких созданий в значительности того, что мы хотим узнать от них. К ним приходят за надеждой, и они это отлично знают.

Пещера Сивиллы была еще сумрачнее прихожей, даже нельзя было различить цвет обоев. Закопченный потолок не только не отражал скудный свет, падавший в окно, заставленное хилыми, бледными растениями, а поглощал бо́льшую часть его; но в этом полумраке отчетливо был виден стол, за которым сидела ворожея. Стол, кресло старухи и кресло, на котором сидел Газональ, составляли всю меблировку комнаты, разделенной пополам антресолью, где г-жа Фонтэн, вероятно, ютилась ночью. Из-за низенькой приоткрытой двери слышалось бульканье кипевшей на огне похлебки. Этот связанный с кухней звук, густой запах еды и зловоние сточного желоба совсем некстати пробуждали в уме, сосредоточенном на явлениях сверхъестественного, мысль о потребностях реальной жизни. К любопытству примешивалось отвращение. Газональ заметил ступеньку некрашеного дерева, по-видимому, последнюю ступеньку внутренней лестницы, которая вела на антресоли. Он одним взглядом подметил все эти мелочи, и его начало мутить. Все это было несравненно страшнее, чем вымыслы романистов и сцены из немецких драм; эта картина дышала ужасающей правдой. Спертый воздух вызывал головокружение, темнота болезненно раздражала нервы. Когда южанин, движимый своего рода фатовством, взглянул на жабу, он ощутил под ложечкой жжение, предвещающее рвоту, и вдобавок тот мучительный страх, который охватывает преступника при виде жандарма. Он пытался ободрить себя, всматриваясь в г-жу Фонтэн, но не смог выдержать устремленного на него взгляда белесых глаз с неподвижными, ледяными зрачками. Тогда молчание стало страшным.

— Что вам угодно, сударь? — спросила г-жа Фонтэн.— Гаданье за пять франков, за десять франков или большое гаданье?

— За пять франков — и это уж очень дорого,— ответил Газональ, делая над собой нечеловеческое усилие, чтобы не поддаться воздействию окружающей обстановки.

В ту минуту, когда он попытался сосредоточиться, какие-то дьявольские звуки заставили его испуганно подскочить на кресле: это закудахтала черная курица.

— Уйди, доченька, уйди, этот господин хочет истратить только пять франков.— Казалось, курица поняла хозяйку: она уже подошла было совсем близко к картам — и степенно вернулась на свое место.

— Какой ваш любимый цветок? — спросила старуха голосом, в котором клокотала мокрота, непрерывно душившая ее.

— Роза.

— Какой цвет вам наиболее приятен?

— Голубой.

— Какое животное вы предпочитаете всем другим?

— Лошадь. Но к чему все эти вопросы? — спросил, в свою очередь, Газональ.

— Те состояния человека, которые предшествовали нынешнему его бытию, связывают его со всем живущим,— наставительно изрекла старуха.— Здесь корень его инстинктов, а инстинкты определяют судьбу. Что вы едите охотнее всего: рыбу, дичь, мучное, говядину, сласти, овощи или фрукты?

— Дичь.

— В каком месяце вы родились?

— В сентябре.

— Покажите руку.

Госпожа Фонтэн очень внимательно рассмотрела линии протянутой Газоналем руки. Все это она проделывала серьезно, без колдовских ухищрений, столь же естественно, как нотариус, прежде чем составить деловую бумагу, расспрашивает своего клиента о его намерениях. Старуха долго тасовала карты; затем она предложила Газоналю снять и разделить их на три кучки; снова взяла карты, положила стопкою и рассмотрела так внимательно, как игрок разглядывает все тридцать шесть номеров рулетки, прежде чем поставить на один из них.

Газональ весь похолодел. Он уже не соображал, где находится, но его изумление достигло предела, когда страшная старуха в зеленом засаленном, мешковатом капоте, с накладными буклями, в которых было гораздо больше черных ленточек, чем волос, завивавшихся напо-

добие вопросительных знаков, стала сиплым от одышки голосом выкладывать ему все, даже тщательно скрываемые им события его прежней жизни; она точно определила его вкусы, характер, привычки, упомянула даже, о чем он мечтал в детстве, рассказала обо всем, что могло иметь на него влияние, о его несостоявшейся женитьбе и о том, почему так случилось; точно изобразила женщину, которую он некогда любил, и наконец сказала, откуда он приехал, из-за чего судится, и проч., и проч.

Газональ сперва подумал, что все это подстроенная кузеном Леоном мистификация; но едва ему явилась эта мысль, как он уже понял всю нелепость такого заговора и застыл в изумлении перед поистине дьявольской силой, воплощенной в существе, наделенном лишь теми чертами человеческого облика, которые воображение художников и поэтов во все времена считало самыми отталкивающими: перед уродливой, отпыхивающейся старушонкой, беззубой, с бескровными губами, приплюснутым носом, белесыми глазами. Теперь в зрачках госпожи Фонтэн горела жизнь, в них искрился луч света, пробившийся из глубин будущего или из преисподней.

Прервав старуху, Газональ, помимо своей воли, спросил ее, для чего ей нужны курица и жаба.

— Чтобы предсказывать будущее. Посетитель сам наудачу рассыпает зерна по картам. Клеопатра склевывает их; Астарта ползает по ним в поисках пищи, которую ей бросает посетитель, и оба эти поразительно умные существа никогда еще не ошибались. Не хотите ли убедиться, как они работают? Вы узнаете будущее. Цена — сто франков.

Газональ, устрашенный взглядом Астарты, наспех откланялся зловещей г-же Фонтэн и бросился в прихожую. Он был весь в поту; ему чудилось, что он побывал в когтях у самого дьявола.

— Уйдем скорей! — крикнул он обоим художникам.— А сами-то вы обращаетесь когда-нибудь к этой ведьме?

— Я не берусь ни за одно важное дело, не узнав предварительно мнения Астарты, и никогда еще в этом не раскаивался,— ответил Леон.

— А я жду приличного состояния, которое мне посулила Клеопатра,— подхватил Бисиу.

— Меня бросает то в жар, то в холод! — вскричал южанин.— Если вы говорите всерьез, значит, я должен уверовать в колдовство, в сверхъестественную силу?

— Возможно, что она вполне естественна,— сказал Бисиу.— Среди лореток — каждая третья, среди политических деятелей — каждый четвертый плюс добрая половина художников советуются с госпожой Фонтэн. Известно даже, что она служит Эгерией одному из министров.

— Она предсказала тебе будущее? — спросил Леон.

— Нет, с меня хватит прошлого. Но если она способна с помощью своих страшных сотрудников предсказывать будущее,— продолжал Газональ, пораженный блеснувшей у него мыслью,— то как же она могла проигрывать в лотерее?

— А! Ты затронул одну из величайших загадок оккультных наук,— ответил Леон.— Стоит только тому внутреннему зеркалу, в котором для этих людей отражается будущее и прошлое, хоть слегка замутиться от дуновения личного чувства или от мысли, чуждой той силе, которую они приводят в действие,— и ворожей или ворожея теряют способность видеть сокрытое, так же как художник, привносящий в свое творчество политические или деловые соображения, теряет свой талант. Не так давно человек, обладавший даром предсказывать по картам, соперник старухи Фонтэн, занимавшийся преступными делами, не сумел верно погадать себе и заблаговременно узнать, что его арестуют, предадут суду присяжных и осудят. Госпожа Фонтэн, из десяти раз восемь правильно предсказывающая будущее, не смогла разгадать, что она в лотерее проиграется в пух и прах.

— Так же обстоит дело и с магнетизмом,— заметил Бисиу.— Невозможно замагнетизировать самого себя.

— Ну вот! Договорились до магнетизма! — вскричал Газональ.— Да что это! Вы, видно, знаете все на свете?..

— Друг мой Газональ,— с важным видом изрек Бисиу,— чтобы иметь право смеяться над всем, нужно все знать. Что касается меня, я живу в Париже с детства, и мой карандаш кормит меня здесь за счет смеш-

ного, на пять карикатур в месяц. Вот мне и приходится зачастую высмеивать многое, во что сам верю!

— Перейдем к иного рода упражнениям,— предложил Леон,— отправимся в палату, там мы устроим дело кузена.

— Вот это,— сказал Бисиу, подражая тону Одри и Гайяра,— это уж будет из области высокой комедии; первого же оратора, который встретится нам, мы заставим выступить в своем репертуаре, и вы убедитесь, что в палате, как и повсюду в этом городе, парижскому говору свойственны только два ритма: корысть и тщеславие.

Когда они снова усаживались в карету, Леон обратил внимание на проезжавший мимо кабриолет и знаком руки дал седоку понять, что хочет поговорить с ним.

— Это Публикола Массон,— сказал он Бисиу.— Я хочу попросить его прийти ко мне в пять часов, после заседания палаты. Таким образом, кузен увидит самого невероятного из всех чудаков...

— Кто это? — осведомился Газональ, пока Леон беседовал с Публиколой.

— Педикюрщик, автор сочинения об уходе за телом; вы можете абонироваться у него на удаление мозолей; если республиканцы будут у власти в течение хотя бы полугода, он, наверно, обессмертит себя.

— И он разъезжает в экипаже! — изумился Газональ.

— Знайте, друг мой: в Париже только у миллионеров хватает времени ходить пешком.

— В палату! — крикнул Леон кучеру.

— В какую, сударь?

— Депутатов,— пояснил Леон, обменявшись улыбкой с Бисиу.

— Париж начинает меня подавлять,— признался Газональ.

— Для того, чтобы вы постигли его грандиозность в смысле нравственном, политическом, литературном, мы теперь будем действовать, как римский чичероне, показывающий вам на крыше храма святого Петра палец статуи; [снизу] вам представлялось, что палец обыкновенных размеров, а вблизи он оказывается вели-

чиной в целый фут. Вы еще не измерили ни одного пальца Парижа! И заметьте, кузен Газональ, мы берем то, что попадается по пути, не выбирая!

— Сегодня вечером,— прибавил Леон де Лора,— ты будешь на Валтасаровом пиру и увидишь тот Париж, где вращаемся мы; тех, кто, играя в ландскнехт, ставит на карту, не моргнув глазом, сто тысяч франков.

Минут через пятнадцать карета остановилась перед широкой лестницей Палаты депутатов, у той стороны моста Согласия, которая ведет к Несогласию.

— А я-то думал, что в палату невозможно проникнуть,— сказал изумленный южанин, очутившись в большом зале, расположенном перед залом заседаний.

— Как сказать,— ответил Бисиу.— Чтобы побывать здесь, достаточно истратить тридцать су на кабриолет; чтобы заседать, требуются гораздо бо̀льшие издержки. По словам одного поэта, ласточки воображают, что Триумфальную арку на площади Этуаль воздвигли для них; мы, люди искусства, воображаем, что сие монументальное здание воздвигли для того, чтобы возместить нам бездарность театра Французской комедии и дать публике повод посмеяться вволю. Но эти комедианты обходятся намного дороже и не каждый день дают нам полноценные спектакли.

— Так вот она, палата! — повторял Газональ, расхаживая по залу, где в то время было с десяток посетителей, и разглядывая все с таким видом, что Бисиу запечатлел провинциала в своей памяти для одной из тех замечательных карикатур, которыми он соперничает с Гаварни.

Леон подошел к одному из служителей, беспрестанно снующих между этим залом и залом заседаний; эти помещения соединены кулуаром, где обычно находятся стенографы *«Монитера»* и некоторые лица, служащие в палате.

— Министр здесь,— ответил служитель Леону как раз в ту минуту, когда Газональ подошел к ним,— но я не уверен, здесь ли еще господин Жиро; пойду посмотрю...

Служитель открыл створку двери, через которую обычно входят только министры, депутаты или уполно-

моченные короля, и Газональ увидел мужчину, на вид еще молодого, хотя ему было сорок восемь лет. Служитель указал ему на Леона де Лора.

— А! Это вы! — сказал он, пожимая руку Леону и Бисиу.— Чудаки! Зачем это вы пожаловали в святилище законов?

— Затем, черт возьми, чтобы поупражняться в *пустословии*,— ответил Бисиу.— Без этого совсем заплесневеешь.

— Раз так, пройдем в сад,— предложил моложавый мужчина; он и не подозревал, что Газональ пришел вместе с художниками.

Разглядывая незнакомца, безукоризненно одетого во все черное, без единой орденской ленточки, Газональ недоуменно спрашивал себя, к какой политической группировке его следует причислить; все же он пошел следом за ним в сад, примыкающий к первому залу и тянущийся вдоль набережной, которая некогда именовалась набережной Наполеона.

Войдя в сад, моложавый человек дал волю смеху, который с трудом сдерживал, пока находился в зале.

— Что с тобой? — спросил Леон де Лора.

— Любезный друг, чтобы доказать искренность намерений конституционного правительства, нам приходится с невероятной бойкостью лгать самым наглым образом. Но ведь у меня переменчивый нрав. Бывают дни, когда я вру как по-писаному, зато в другие я не в состоянии изображать серьезность. Как раз сегодня на меня нашел веселый стих. Сейчас председатель совета министров, которого оппозиция принуждает раскрыть тайны дипломатии — разумеется, он этого не сделал бы, если б дипломатия действовала заодно с министерством,— так вот, председатель изворачивается на трибуне, как только может; но ведь он порядочный человек и в личных своих делах не привык лгать; поэтому прежде чем пойти на приступ, он растерянно шепнул мне: *«Я не знаю, чего им насочинить!»* Когда я после этого увидел, как он из кожи вон лезет на трибуне, меня стал душить смех, и я поспешил уйти: ведь не полагается смеяться на министерской скамье, а там ко мне иногда совсем некстати возвращается молодость!

— Наконец-то,— вскричал Газональ,— я встретил

в Париже порядочного человека! Вы, наверно, личность весьма выдающаяся,— добавил он, всматриваясь в незнакомца.

— Что это? Кто вы такой, сударь? — спросил моложавый мужчина, смерив Газоналя взглядом.

— Это мой кузен,— поспешил ответить Лора.— В отношении скрытности и честности я ручаюсь за него, как за самого себя. Мы пришли сюда из-за него, так как решение судебного дела, касающегося всего его состояния, зависит от твоего министерства. Префект Пиренеев хочет разорить его дотла, и мы надумали повидаться с тобой, чтобы помешать Государственному совету совершить несправедливость.

— Кто докладчик?

— Массоль.

— Ладно!

— И в той же секции наши друзья Жиро и Клод Виньон,— вставил Бисиу.

— Замолви им словечко, и пусть они сегодня вечером придут к Карабине; дю Тийе устраивает у нее блестящее празднество, чтобы разрекламировать постройку новой железной дороги, а известно: сейчас на больших дорогах грабят, как никогда.

— Постойте! Ведь этот городок в Пиренеях? — спохватился моложавый мужчина; его веселости как не бывало.

— Да,— подтвердил Газональ.

— И вы там не голосуете за нас на выборах? — продолжал государственный человек, в упор глядя на Газоналя.

— Нет, но то, что вы сейчас сказали при мне, подкупило меня; даю вам слово командира национальной гвардии: я проведу вашего кандидата...

— Ну как, ты и в этом ручаешься за своего кузена? — спросил моложавый мужчина, обращаясь к Леону.

— Мы его просвещаем,— с неподражаемым комизмом в голосе заверил Бисиу.

— Что ж, посмотрим,— сказал моложавый мужчина; он отошел от друзей и поспешно направился в зал заседаний.

— Кто это? — спросил Газональ.

— Граф де Растиньяк, министр; от него зависит исход твоего дела.

— Министр? Вот уж не подумал бы!

— Да ведь он наш старый приятель. У него триста тысяч ливров годового дохода, он пэр Франции, король пожаловал ему графский титул, он зять Нусингена, он один из двух-трех государственных деятелей, рожденных Июльской революцией; но власть иногда тяготит его, и он рад посмеяться с нами...

— Как же ты, кузен, не сказал нам, что там, в своем захолустье, принадлежишь к оппозиции? — спросил Леон, взяв Газоналя под руку.— Неужели ты так глуп? Одним депутатом больше, одним депутатом меньше у правых или у левых — ведь тебе от этого ни тепло, ни холодно...

— Мы за тех, прежних...

— Оставьте их в покое,— сказал Бисиу с комизмом, достойным Монроза,— за них провидение. Если ему угодно будет, оно вернет их без вас и наперекор им самим... Фабрикант должен быть фаталистом.

— Вот славно! Максим с Каналисом и Жиро! — воскликнул Леон.

— Скорее, друг мой Газональ! Обещанные актеры выходят на сцену! — возвестил Бисиу.

Трое друзей подошли к тем, кого издали узнал Леон де Лора. Эти люди шли с видом фланеров.

— Вот сюрприз! Что вы тут прогуливаетесь? Уж не выставили ли вас? — спросил Бисиу, обращаясь к Жиро.

— Нет, мы вышли подышать чистым воздухом, пока заканчивается тайное голосование,— ответил тот.

— Скажите, как выпутался председатель совета?

— Он был великолепен! — сказал Каналис.

— Великолепен! — подхватил Жиро.

— Великолепен! — как эхо, повторил Максим де Трай.

— Вот как! Значит, все вы: правая, левая, центр — одного мнения?

— Да, но мерила у нас разные,— объяснил Максим де Трай; он принадлежал к правительственной партии.

— Да,— смеясь, подтвердил Каналис, депутат, од-

нажды уже бывший министром, но в то время заигрывавший с правыми.

— О, сейчас вы одержали блестящую победу! — сказал Максим Каналису.— Ведь это вы принудили министра подняться на трибуну!..

— И врать так, как врут грубые шарлатаны,— ответил Каналис.

— Хороша победа! — возразил прямодушный Жиро.— А что бы вы сделали на его месте?

— Я бы искусно лгал.

— Это не называется лгать,— поправил его Максим де Трай,— это называется «прикрывать корону».

Он отвел Каналиса в сторону.

— Вот великий оратор! — сказал Леон, указывая Жиро на Каналиса.

— И да и нет,— ответил член Государственного совета,— он пустозвон, фразер, у него больше искусной декламации, чем подлинного красноречия; бесспорно, это прекрасный инструмент, но музыки не получается; поэтому он не владеет и никогда не будет владеть *вниманием палаты;* он считает себя нужным для Франции, но ни при какой ситуации не окажется *тем, без кого нельзя обойтись.*

Каналис и Максим вернулись к беседовавшим как раз тогда, когда Жиро, депутат левого центра, досказывал это суждение. Максим взял Жиро под руку и увел его довольно далеко, возможно, чтобы секретно сообщить ему то же, что он доверил Каналису.

— Какой порядочный, достойный человек! — сказал Леон, указывая Каналису на Жиро.

— Это та честность, которая свергает правительства,— ответил Каналис.

— По-вашему, он хороший оратор?

— И да и нет; он многословен, расплывчат; он превосходно обосновывает свои рассуждения, у него крепкая логика, но великая логика событий и дел выше его понимания. Поэтому он не владеет и никогда не будет владеть *вниманием палаты.*

В ту минуту, когда Каналис выносил это суждение о Жиро, тот вместе с Максимом вернулся к беседовавшим; забыв, что с ними посторонний и что неизвестно, способен ли этот человек так же беречь чужую тайну,

как Леон и Бисиу, Жиро со значительным видом взял Каналиса за руку и заявил:

— Ну, что ж, я согласен на то, что предлагает граф де Трай; я внесу запрос, но в очень резкой форме...

— Тогда палата в этом деле будет на нашей стороне,— сказал Каналис.— Ведь человек столь влиятельный и столь красноречивый, как вы, всегда *владеет ее вниманием.* Я отвечу... но яростно, сокрушительно.

— Вы сможете вызвать смену кабинета, ибо в этом вопросе вы добьетесь от палаты всего, чего только захотите; и тогда вы окажетесь тем, *без кого нельзя обойтись.*

— Максим провел их обоих,— шепнул Леон своему кузену.— В интригах палаты этот молодчик чувствует себя, как рыба в воде.

— Кто он такой? — спросил Газональ.

— В прошлом мошенник, имеющий теперь все шансы стать посланником,— ответил Бисиу.

Леон обратился к члену Государственного совета:

— Жиро, прежде чем уйти домой, напомните Растиньяку, что он обещал мне поговорить с вами относительно тяжбы, которую вы будете разбирать послезавтра; эта тяжба касается моего кузена. Вот он. Завтра утром я зайду к вам поговорить об этом.

И трое друзей, держась на некотором расстоянии от трех политических деятелей, проследовали за ними в первый зал.

— Взгляни-ка на этих двух людей, кузен,— шепнул Леон Газоналю, указывая ему на бывшего министра, пользовавшегося широкой известностью, и на главу левого центра.— Эти два оратора всегда *владеют вниманием палаты;* их остроумно прозвали министрами по ведомству оппозиции. Каждое их слово палата ловит, навострив уши, и они нередко пользуются этим, чтобы больно их потеребить.

— Уже четыре часа, пора вернуться на улицу Берлина,— напомнил Бисиу.

— Ну вот, кузен, ты видел сердце правительства; теперь мы должны показать тебе его глистов, аскарид, солитера-республиканца. Ведь нужно называть вещи своими именами,— пояснил Леон своему кузену.

Как только трое друзей уселись все в ту же наемную

карету, Газональ взглянул на своего кузена и на Бисиу; насмешка, сверкавшая в этом взгляде, предвещала поток желчного южного красноречия.

— Я и прежде не доверял этой развратной столице — Парижу, но с сегодняшнего утра я ее презираю! Бедная, жалкая провинция — честная девушка, а Париж — продажная женщина, алчная, лживая, разыгрывающая комедию, и я счастлив, что не оставил здесь ни клочка своей шерсти.

— Ну, день еще не кончился,— наставительно вернул Бисиу, подмигнув Леону.

— Какой смысл,— спросил Леон,— жаловаться на мнимую продажность, если благодаря ей ты выиграешь свой процесс? Неужели ты считаешь себя более добродетельным, чем мы, и в меньшей мере комедиантом, менее алчным, менее подверженным соблазну скользить по наклонной плоскости, менее тщеславным, чем все те, кем мы сегодня забавлялись, словно картонными паяцами?

— Попробуй-ка меня переубедить...

— Бедняга! — сказал Леон, пожав плечами.— Разве не обещал ты уже Растиньяку использовать твое влияние при выборах?

— Да, потому что он единственный, кто смеялся над самим собой...

— Бедняга!..— протянул Бисиу.— Вы бросаете вызов мне, а я ведь только и делаю, что насмехаюсь... Вы напоминаете мне моську, дразнящую тигра. Ах, если б вы только видели, как мы умеем потешаться над людьми!.. Да знаете ли вы, что мы можем свести с ума вполне уравновешенного человека?

В пылу спора Газональ и не заметил, как очутился в особняке Леона, обставленном с такой роскошью, что южанин онемел от изумления и перестал препираться. Лишь позднее он догадался, что Бисиу уже успел сыграть с ним шутку.

В половине шестого, когда Леон одевался к вечеру, в присутствии Газоналя, пораженного сложностью этих суетных приготовлений и робевшего перед исполненным важности камердинером, доложили о педикюрщике.

Публикола Массон, коротенький человечек лет пятидесяти, лицом похожий на Марата, раскланялся с Газона-

лем и Бисиу, положил ящичек с инструментами на пол и уселся на низенький стул, против Леона.

— Как дела? — спросил Леон, протягивая ему ногу, предварительно вымытую лакеем.

— Мне пришлось взять двух учеников, двух молодых людей, которые, изверившись в своей будущности, изменили медицине ради науки ухода за телом; оба умирали с голоду, хотя они и талантливы.

— Э! Я спрашиваю не о мозольных делишках; меня интересует положение ваших политических дел...

Массон метнул в сторону Газоналя взгляд, более красноречивый, чем любой вопрос.

— Ну, вы можете говорить свободно, это мой кузен, он почти что ваш единомышленник; он считает себя легитимистом.

— Ах, так! Ну что ж, мы движемся! Мы шагаем вперед! Еще пять лет — и вся Европа будет нашей! Италия и Швейцария подвергаются энергичной обработке, и при первом же благоприятном случае мы выступим. Здесь у нас пятьдесят тысяч вооруженных людей, не считая тех двухсот тысяч граждан, у которых нет ни гроша за душой...

— Постойте,— прервал его Леон,— а наши укрепления?

— Они слеплены из теста, их мигом проглотят,— ответил Массон.— Во-первых, мы не допустим, чтобы были пущены в ход пушки; а во-вторых, у нас есть небольшая машинка, более мощная, чем все укрепления в мире,— машинка, изобретенная неким врачом, который ею излечил больше людей, чем все врачи, вместе взятые, доконали в те времена, когда она действовала вовсю.

— Как вы решительны! — воскликнул Газональ; у него холодок пробежал по телу, когда он увидел выражение лица Публиколы.

— Что поделаешь! Иначе нельзя! Мы пришли после Робеспьера и Сен-Жюста, и мы должны их превзойти. Они были недостаточно смелы — вы видите, что из этого получилось. Император, старшая династия, младшая династия, монтаньяры недостаточно обкорнали социальное дерево.

— Вот что,— вмешался Бисиу,— по слухам, вы будете консулом, или чем-то вроде трибуна — так не за-

будьте, что я уже целых двенадцать лет домогаюсь вашего покровительства.

— С вами ничего не случится; нам понадобятся шутники, и вы сможете занять место Барера,— ответил педикюрщик.

— А я-то? — вмешался Леон.

— А вы мой клиент, это вас спасет; но вообще говоря, даровитость — возмутительная привилегия, которая во Франции простирается слишком далеко, и нам придется убрать кое-кого из наших великих людей, чтобы научить остальных быть обыкновенными гражданами.

Полусерьезный-полушутливый тон педикюрщика привел Газоналя в содрогание.

— Значит,— спросил он,— религии не будет?

— Не будет религии государственной,— ответил Массон, делая ударение на последнем слове,— у каждого будет своя религия. Очень хорошо, что в последнее время покровительствуют монастырям; это подготовит финансовые ресурсы для нашего правительства. Все втайне работает на нас. Все те, кто жалеет народ, кто надсаживает голос по поводу пролетариата и оплаты труда, кто пишет сочинения против иезуитов, кто исследует вопросы усовершенствования чего бы то ни было... *социалисты*, гуманисты, филантропы — все они, вы понимаете, все составляют наш передовой отряд. Мы накопляем порох, а они тем временем плетут фитиль, который вспыхнет от искры, зароненной тем или иным событием.

— Чего же вы все-таки хотите во имя счастья Франции? — спросил Газональ.

— Мы хотим равенства всех граждан, дешевизны всех съестных припасов... хотим, чтобы не было ни бедняков, лишенных всего, ни миллионеров, ни кровопийц, ни жертв.

— Понимаю! Прежний *максимум* и *минимум*,— сказал Газональ.

— Совершенно верно,— ответил педикюрщик.

— И фабрикантов больше не будет? — полюбопытствовал Газональ.

— Все будут производить для всех, мы все будем жить на счет Франции. Каждый будет получать свой

рацион, как матросы на корабле, и работать в меру своих способностей.

— Ладно,— молвил Газональ,— а покамест, в ожидании того дня, когда вы сможете резать аристократам головы...

— Я обрезаю им ногти,— договорил за него левый республиканец, на лету перехватив каламбур.

Он уложил свои инструменты и вышел, учтиво раскланявшись.

— Возможно ли такое? В 1845 году? — вскричал Газональ.

— Будь у нас больше времени,— ответил пейзажист,— мы бы показали тебе одного за другим всех деятелей 1793 года. Ты только что видел Марата, а мы знаем еще Фукье-Тенвиля, Колло д'Эрбуа, Робеспьера, Шабо, Фуше, Барраса, есть даже изумительная госпожа Ролан.

— Согласитесь, в этом представлении была изрядная доля трагизма,— заметил южанин.

— Уже шесть часов; прежде чем мы поведем тебя на *Паяцев* (сегодня играет Одри),— сказал Леон своему кузену,— необходимо сделать визит госпоже Кадин, актрисе, к которой очень благоволит докладчик по твоему делу, Массоль. Сегодня вечером ты должен как можно усерднее ухаживать за ней.

— Старайтесь расположить в свою пользу эту влиятельную особу,— прибавил Бисиу.— Для этого я дам вам кое-какие указания. Применяете ли вы на своей фабрике женский труд?

— Разумеется,— ответил Газональ.

— Это все, что я хотел знать; вы не женаты, вы мужчина в соку...

— Верно! — закричал Газональ.— Вы угадали, в чем я мастак; женщины...

— Так вот, если вы захотите пустить в ход маленькую хитрость, которую я вам укажу, вы, не истратив ни гроша, изведаете всю прелесть близости с актрисой...

По дороге на улицу Виктуар, где жила знаменитая Женни Кадин, Бисиу, задумавший сыграть с недоверчивым провинциалом презабавную штуку, едва успел объяснить ему, в какой роли он должен выступить; но южанин понял его с полуслова, как покажет дальнейшее.

Трое друзей поднялись на третий этаж довольно красивого дома и застали Женни Кадин за обедом — она должна была играть в театре «Жимназ» во второй пьесе. Представив Газоналя этой могущественной особе, Леон и Бисиу под предлогом осмотра недавно купленного ею бюро оставили их вдвоем, но, выходя, Бисиу шепнул ей:

— Это кузен Леона, фабрикант, миллионер. Чтобы выиграть свою тяжбу в Государственном совете — его противник префект,— он счел нужным очаровать вас и этим привлечь на свою сторону Массоля.

Весь Париж знает, как очаровательна эта молодая актриса; понятно, что южанин, увидев ее, обомлел. Вначале она обошлась с ним довольно холодно, но затем, в течение немногих минут, которые они провели наедине, была очень любезна.

— Как можно,— спросил Газональ, презрительно оглядывая мебель соседней гостиной, дверь которой его сообщники оставили полуоткрытой, и в то же время мысленно подсчитывая стоимость обстановки столовой,— как можно держать такую женщину, как вы, в этой собачьей конуре?

— Ах! Что поделаешь! Массоль небогат, я жду, пока он станет министром...

— Счастливец! — воскликнул Газональ, вздохнув так, как вздыхают влюбленные провинциалы.

«Отлично! — подумала про себя актриса.— Я заново обставлю квартиру и тогда смогу соперничать с Карабиной».

— Ну как,— спросил Леон, возвратясь в столовую,— вы приедете сегодня вечером к Карабине? Будут ужинать, играть в ландскнехт.

— А вы будете там, сударь? — с простодушной робостью спросила Женни Кадин у Газоналя.

— Да, сударыня,— ответил провинциал, ошеломленный быстрым успехом.

— Но там будет Массоль,— предостерегающе сказал Бисиу.

— Что же из этого? — возразила Женни.— Идемте, милашки, мне пора в театр.

Газональ предложил Женни руку и довел ее до наемной кареты, ожидавшей у подъезда; на прощание он так

страстно сжал актрисе пальцы, что она воскликнула, тряся рукой:

— Осторожно! Запасных у меня нет!

Друзья сели в другую карету. Не успела она тронуться, как Газональ порывисто обнял Бисиу, вопя:

— Клюнуло! Какой вы злодей!

— Женщины тоже так считают,— ответил Бисиу.

В половине двенадцатого, после театра, друзья приехали к Серафиме Сине, более известной под кличкой Карабина. Это было одно из тех прозвищ, которые знаменитые лоретки придумывают сами или получают от своих приятелей. Возможно, это прозвище объяснялось тем, что жертв Карабины всегда постигала гибель.

Когда знаменитый банкир дю Тийе, депутат левого центра, стал почти неразлучен с Карабиной, она поселилась в прелестном особнячке на улице Сен-Жорж. В Париже встречаются дома, словно предназначенные для жильцов одного пошиба. В этом доме подряд обитали семь куртизанок. Около 1827 года некий биржевой маклер снял его для Сюзанны дю Валь-Нобль (ставшей впоследствии г-жой Гайяр). Ее сменила знаменитая Эстер, из-за которой барон Нусинген совершил, один-единственный раз в жизни, ряд безумств. Позднее там блистали сначала Флорина, затем та, которую в шутку называли «покойная госпожа Шонтц», и наконец дю Тийе, которому прискучила жена, купил этот небольшой, построенный в современном вкусе особняк для пресловутой Карабины, чей живой ум, лихие манеры, смелый разврат составляют противовес однообразию семейной жизни дю Тийе, его финансовым и политическим заботам. Бывали дю Тийе и Карабина дома или нет — стол все равно что ни день накрывался, притом роскошнейшим образом, на десять приборов. Там кормились актеры, писатели, журналисты, все завсегдатаи этого дома. По вечерам там играли в карты. Не один член той и другой палаты приходил туда в поисках того, что в Париже оплачивается на вес золота,— наслаждений. Кометы парижского небосвода, эксцентричные женщины, которых так трудно распределить по категориям, ослепляли в этом салоне великолепием своих нарядов. Там блистали остроумием, потому что там можно было говорить обо всем и все договаривать до конца. Карабина, соперница не ме-

нее знаменитой Малаги, была наконец признана преемницей салона Флорины, ставшей г-жой Натан, салона Туллии, ставшей г-жой дю Брюэль, салона г-жи Шонтц, ставшей женой председателя суда де Ронсере. Войдя в салон, Газональ сказал лишь несколько слов, выразив ими мысль, столь же правильную, сколь и легитимистскую: «Здесь куда красивее, чем в Тюильри». Шелк, бархат, парча, позолота, размещенные повсюду предметы искусства так поразили внимание провинциала, что он не заметил Женни Кадин в сногсшибательном туалете. Заслоненная Карабиной, с которой она беседовала, актриса следила глазами за южанином с первой минуты его появления в салоне.

— Милочка,— сказал Леон Карабине,— этот господин — мой кузен, он свалился на меня сегодня утром прямо с гребня Пиренеев; он в Париже как в лесу; ему нужна поддержка Массоля в тяжбе, решающейся в Государственном совете. Вот мы и позволили себе привезти к вам моего Газоналя на ужин, но просим вас не сводить его с ума...

— Как вам будет угодно, сударь; вино нынче дорогое,— сказала Карабина, смерив Газоналя взглядом и не найдя в нем ничего примечательного.

Газональ, пораженный туалетами, ярким освещением, позолотой, жужжанием голосов,— ему казалось, что все говорят о нем,— с трудом пролепетал:

— Сударыня... сударыня, вы так добры...

— Что выделывают на вашей фабрике? — спросила, улыбаясь, хозяйка дома.

— Кружева. Предложи ей гипюр,— шепнул Бисиу на ухо Газоналю.

— Ги... ги... ги...

— Гири! Ну знаешь, Кадин! Гири! Ты просчиталась, малютка.

— Гипюр,— снова начал Газональ, смекнув, что ужин придется оплатить.— Я сочту за величайшее удовольствие предложить вам платье, шарф... мантилью с моей фабрики.

— О! Целых три подарка! Ну что ж! Вы любезнее, чем можно было думать,— ответила Карабина.

«Париж завладел мною»,— сказал себе Газональ, заметив Женни Кадин и приветствуя ее.

— А мне что же достанется? — спросила его актриса.

— Да... все мое состояние,— ответил Газональ, решив, что все обещать — значит ничего не дать.

Вошли Массоль, Клод Виньон, дю Тийе, Максим де Трай, Нусинген, дю Брюэль, Малага, супруги Гайяр, Вовине — толпа гостей. Обстоятельно поговорив с фабрикантом о его тяжбе, Массоль, ничего не обещая, сказал ему, что заключение еще не готово и что граждане всегда могут полагаться на обширные знания членов Государственного совета и на их независимость. Придя в отчаяние от этого холодного, надменного ответа, Газональ счел необходимым обольстить прелестную Женни Кадин, в которую уже успел без памяти влюбиться. Леон де Лора и Бисиу отдали свою жертву во власть самой проказливой из женщин этого странного общества, ведь Женни Кадин — единственная соперница знаменитой Дежазе. За столом, где Газоналя привело в восхищение чеканное серебро работы современного Бенвенуто Челлини, Фроман-Мериса, причем то, что подавалось, стоило немного меньше того, в чем оно подавалось, оба заговорщика постарались сесть подальше от южанина; но они исподтишка следили за успехом уловок лукавой актрисы, которая, прельстясь необдуманным обещанием преподнести ей новую обстановку, решила непременно увезти Газоналя к себе. Агнец Иоанна Крестителя, и тот вряд ли следовал за ним более покорно, чем Газональ за этой сиреной.

Три дня спустя Леон и Бисиу, не видавшие Газоналя с того вечера, отправились часа в два пополудни к нему в меблированные комнаты.

— Ну вот, кузен! Государственный совет вынес решение в твою пользу.

— Увы! Это бесполезно, кузен,— ответил Газональ, уныло взглянув на своих друзей.— Я стал республиканцем.

— Как же так? — спросил Леон.

— У меня нет больше ничего, нечем даже заплатить адвокату. Госпожа Женни Кадин получила с меня векселей на сумму, превосходящую все мое состояние.

— Действительно, Женни Кадин обходится недешево, зато...

— О! За мои деньги я изведал бесконечно многое,—

ПРИМЕЧАНИЯ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИКИ

Кузен Понс

Бальзак начал работать над романом «Кузен Понс» в июне 1846 года. В письме к Э. Ганской от 28/VI он сообщает, что закончил первый эпизод «Бедных родственников» — повесть о старом музыканте. «Это одно из самых прекрасных, как мне кажется, моих творений, до крайности простых и заключающих в себе все человеческое сердце, это не менее значительно. но более ясно, чем «Турский священник», и столь же хватает за душу». Стремясь глубже вскрыть и объяснить прнчины трагической судьбы одинокого коллекционера, Бальзак в дальнейшем значительно перерабатывает произведение, связывая повествование о жизни Понса с изображением общества Июльской монархии.

Писатель несколько раз менял заглавие романа, называя его последовательно: «Добряк Понс», «Старый музыкант», «Приживальщик», «Нахлебник», «Два музыканта». В письме от 25/IX 1846 года впервые появляется название «Кузен Понс», которое и осталось за романом.

«Кузен Понс» печатался в газете «Конституционель» с 18/III по 10/V 1847 года. Роман был разделен на тридцать одну главу.

«Кузен Понс» вместе с романом «Кузина Бетта» вышел в 1847 году отдельным изданием.

В 1848 году Бальзак включает «Кузена Понса» как второй эпизод «Бедных родственников» в XVII том первого издания «Человеческой комедии» («Сцены парижской жизни») и уничтожает деление на главы.

На страницах романа «Кузен Понс», действие которого происходит в 1844—1845 гг., читатель встречает вновь многих персонажей, присутствовавших на балу у Цезаря Бирото («Величие и

падение Цезаря Бирото», 1837). В судьбе своих героев Бальзак раскрывает сущность происшедших за это время во Франции исторических перемен, вызванных Июльской революцией 1830 года. «Кузен Понс» как бы заканчивает историю возвышения ряда буржуазных семейств. Некогда скромный приказчик парфюмера Цезаря Бирото Ансельм Попино выступает в романе «Кузен Понс» как влиятельный депутат, граф и пэр Франции, дважды побывавший министром. Ловкий коммивояжер Годиссар рассчитывает в скором времени попасть в Государственный совет. Бывший судебный следователь Камюзо, знакомый по произведениям «Дело об опеке», «Музей древностей», «Блеск и нищета куртизанок» и др., в 40-х годах уже председатель палаты королевского суда, носит титул барона Камюзо де Марвиль, его жена бывает на королевских приемах в Тюильри, их дочь — виконтесса де Попино.

В произведениях 40-х годов Бальзак со все более нескрываемым осуждением и неприязнью говорит о буржуазии, дорвавшейся до денег и до власти. Он особенно подробно останавливается на духовном убожестве буржуа, на его ненависти и презрении ко всему, что стоит вне интересов чистогана, что принадлежит к подлинным ценностям культуры. Семейства, в которых бывал Понс, отмечает писатель, не уважали искусства, «преклонялись перед успехом, ценя лишь то, что сами приобрели после 1830 года: богатство или завидное положение». Искусство непонятно им, если только оно не служит средством обогащения, как театр для Годиссара, или средством удовлетворения тщеславия, как картины для Ансельма Попино.

На фоне жизни преуспевающих, невежественных и тщеславных буржуа разыгрывается трагическая история одинокого ценителя искусства Понса, сделавшегося жертвой алчности окружающих его людей. Продолжая тему романа «Кузина Бетта», Бальзак подробно раскрывает унизительное положение бедного родственника, который служит объектом оскорблений и издевательств и для богатых хозяев и для их слуг. Забитый и приниженный, Понс лишь изредка осмеливался заявить о своем человеческом достоинстве.

Понсу доступно истинное понимание искусства, величия человеческого гения. Его страсть к коллекционированию картин бескорыстна: он никогда даже не задумывался о материальной ценности своей коллекции. Именно в нем, в Понсе, живущем вне корыстных интересов буржуазного общества, подчеркивает писатель, несмотря на его внешнюю чудаковатость, истинную человечность.

Трагическая судьба Понса в мире, где все подчинено стремлению к обогащению, закономерна. Обладатель прекрасных картин становится жертвою самых грязных махинаций и подлых преступлений.

Буржуазия не только сама преступна, она развращает и своих прислужников. Врач Пулен и стряпчий Фрезье готовы пойти на любое преступление, лишь бы не было улик. В первом издании «Кузена Понса», где было деление на главы и части, вторая часть романа называлась «Преступление в верхах и преступление в низах общества». Алчность привратницы Сибо дополняется жадностью Амели Камюзо де Марвиль — жены председателя королев-

ского суда. «Иметь или не иметь ренту»,— так с горькой иронией перефразирует Бальзак слова Гамлета, раскрывая побудительные причины поступков персонажей романа, противопоставленных Понсу и Шмуке.

Роман «Кузен Понс» очень прост по своему сюжету, в основном действие сконцентрировано на истории Понса, сравнительно с другими произведениями Бальзака здесь немного действующих лиц. Отличительная черта романа — теплота, с которой Бальзак раскрывает внутренний мир Понса, рассказывает о его трогательной дружбе со старым Шмуке, о душевном благородстве бедного театрального служителя Топинара.

Стр. 6. *...напоминал эпоху Империи...*— то есть время Империи Наполеона I (1804—1814).

Спенсер — длинный облегающий пиджак.

Амьенский мир.— В 1802 году между Англией и Францией был заключен мир, положивший конец второй антифранцузской коалиции, созданной Англией в 1798 году.

Каррик — пальто широкого покроя с воротником в виде пелерины.

Алкивиад (ок. 451—404) — афинский политический деятель и полководец, отличался беспринципностью. Здесь имеется в виду любовь Алкивиада к роскоши и изящной одежде, его постоянное стремление обращать на себя внимание.

Стр. 8. *...пять жилетов Гара.*— Гара Пьер-Жан — французский певец начала XIX века, славился щегольством, ввел моду носить одновременно несколько жилетов разного цвета.

...кокетства щеголей времен Директории.— Директория (1795—1799) — контрреволюционное правительство крупной буржуазии. «Золотая молодежь» времен Директории отличалась вычурностью одежды, языка и манер.

Школа Давида, ...мебель Жакоб.— *Давид* Жак Луи (1748—1825) — французский художник, глава революционного классицизма во французской живописи; для его картин характерны героичность сюжета, строгость рисунка. *Мебель Жакоб* — особый стиль мебели времен Империи, отличавшийся изяществом линий.

Стр. 9. *Чичисбей* (итал.) — постоянный спутник замужней знатной женщины в Италии в XVI—XVIII веках.

Стр. 10. *Эвтерпа* — в древнегреческой мифологии одна из девяти муз, покровительница музыки и лирической поэзии.

Стр. 12. *Крейслер* — герой ряда произведений немецкого романтика Гофмана (1776—1822). Крейслер обожает музыку, он пытается уйти от убожества и пошлости окружающей его действительности в иллюзорный мир мечты и искусства.

Териакии — люди, употребляющие териак — один из препаратов опия, сильное наркотическое средство.

Герольд Луи-Жозеф (1791—1833) — французский композитор, автор комических опер.

Стр. 13. *Севрский мягкий фарфор*—особый сорт французского старинного фарфора, тонкий и полупрозрачный, без примеси каолина.

Стр. 15. *Николо, Паэр, Бертон.*— *Николо* — прозвище Никола Изуара (1775—1818), автора многочисленных комических опер. *Паэр* (1771—1839) — директор Итальянского театра в Париже, затем руководитель придворной капеллы Луи-Филиппа. *Бертон* — псевдоним Анри Монтана (1767—1844) — хормейстер Парижской оперы, автор нескольких комических опер.

Амфитрион — герой одноименной комедии Мольера (1668), написанной на мифологический сюжет, заимствованный у древнеримского драматурга Плавта. Имя Амфитриона стало нарицательным для обозначения гостеприимного хозяина.

Коалиция.— Здесь речь идет о шестой антифранцузской коалиции 1813 года, ставившей своей целью свержение Наполеона. В сражении под Лейпцигом 16—19 октября 1813 года французские войска были наголову разбиты силами союзников.

Куплеты Элианты.— Элианта — персонаж комедии Мольера «Мизантроп»; во II д. 4 явл. Элианта говорит:

Любовь всегда склонна бывает к ослепленью,
Она любой порок за качество сочтет
И в добродетели его произведет...

Стр. 18. *...наводящий тоску Грандисон...*— добродетельный герой романа английского писателя Сэмюэля Ричардсона (1689—1761) «История сэра Чарльза Грандисона» (1754).

Брийя-Саварен — автор книги «Физиология вкуса», очень популярной во времена Бальзака.

Стр. 19. *«Два друга»* — басня знаменитого французского поэта Жана Лафонтена (1621 — 1695); в ней рассказывается о верной и трогательной дружбе.

Стр. 21. *...туманные произведения Жан-Поль Рихтера...*— Рихтер Жан-Поль (1763—1825) — немецкий писатель; для его творчества наряду с романтическими элементами характерно ироническое изображение жизни и быта мещанства.

Стр. 24. *...герой Июльской революции...*—то есть герой буржуазной революции 1830 года, давшей власть главным образом финансовой буржуазии.

«Прославленный Годиссар» — речь идет об одноименном рассказе Бальзака, героем которого является Годиссар.

Король-гражданин — прозвище французского короля Луи-Филиппа (1830—1848), данное ему буржуазией.

Коммандитное товарищество — особый вид промышленного или торгового предприятия, в котором одни пайщики принимают участие в делах предприятия и отвечают всем своим имуществом за его долги, другие же отвечают только своими взносами, пользуются прибылью на вложенный капитал без права участия в делах.

Стр. 25. *...изобретения Сакса.*—Сакс Антуан-Жозеф (1814—1894) — создатель ряда духовых инструментов, организовал класс духовых инструментов при Парижской консерватории.

Стр. 26. *Лоретка* — женщина легкого поведения, содержанка.

...бракам, заключенным в тринадцатом округе...— Во времена Бальзака Париж делился на двенадцать округов, поэтому ирони-

ческое выражение «брак в тринадцатом округе» означало любовную связь.

Первые сюжеты — то есть театральное амплуа «первых любовников».

Стр. 30. *Ломбардский квартал* — то есть квартал, населенный преимущественно финансистами. Ломбардами во Франции называли ростовщиков.

Младшая ветвь Бурбонов.— После Июльской революции 1830 года к власти пришел представитель младшей ветви Бурбонов — герцог Луи-Филипп Орлеанский.

Стр. 31. *Дидона* — по преданию, основательница и царица Карфагена; персонаж поэмы древнеримского поэта Вергилия «Энеида» (I в. до н. э.). Дидона влюбляется в Энея, бежавшего из Трои, и всячески пытается его удержать в Карфагене.

Стр. 33. *Ланкре, Патер, Ватто, Грёз* — имена французских художников XVIII века.

Стр. 46. *Беллона* — богиня войны в древнеримской мифологии.

Стр. 49. *Король французов* — один из титулов короля Луи-Филиппа.

Стр. 57. *Монтионовская премия.*— Монтион разбогател на поставках для армии во время Империи. На его средства была учреждена литературная премия и особая премия «за добродетельную жизнь».

«Кэнонгейтские хроники» — цикл произведений известного английского писателя Вальтера Скотта (1771—1832). Здесь имеется в виду его рассказ «Вдова горца».

Стр. 58. *Август Лафонтен* (1759—1831) — немецкий писатель, автор многочисленных сентиментальных семейных романов.

Вертер — герой романа Гете «Страдания юного Вертера» (1774), покончивший жизнь самоубийством. Бальзак справедливо отмечает, что причиной самоубийства Вертера была не только его несчастная любовь к Шарлотте, но главным образом его глубокое разочарование в немецкой действительности.

Стр. 61. *Лефран де Помпиньян* — французский поэт XVIII века, автор посредственных трагедий и напыщенных, риторических од на библейские темы. Бездарность Помпиньяна была остроумно высмеяна Вольтером.

Стр. 62. *Пиндар* (V в. до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик, известен своими торжественными одами.

Друзья из Мономотапы.— Действие басни Лафонтена «Два друга» (см. прим. к стр. 19) происходит в Мономотапе — области Восточной Африки.

Стр. 63. *Капитан старинных комедий* — один из персонажей итальянской комедии масок, самоуверенный хвастун на словах и трус на деле. В XVI и XVII веках итальянские комедии пользовались большим успехом во Франции.

Стр. 64. *Фея Уржела* — персонаж сказки Вольтера «Что нравится дамам». Старая и уродливая, фея Уржела добивается согласия рыцаря Роберта жениться на ней. После свадьбы Уржела превращается в очаровательную девушку; фея Уржела встречается также в произведениях Гюго, Нодье и в одноименной комической опере Фавара.

Стр. 65. *Авентинский холм* — один из семи холмов, на которых построен Рим. Согласно рассказу римского историка Тита Ливия, в 494 г. до н. э. римские плебеи удалились на Авентинский холм в знак протеста против политики патрициев.

Стр. 67. *Сервен*—персонаж произведений Бальзака, художник-живописец, в мастерской которого девушки обучались живописи (см. рассказ «Вендетта»).

Стр. 76. *Монтионовская премия.* — См. примеч. к стр. 57.

Стр. 79. *Грамота о натурализации* — приобретение прав гражданства в чужой стране с предоставлением права участия в законодательных органах.

Стр. 97. *Аристид* (около 540—467 гг. до н. э.) — афинский политический деятель, получил прозвище «Справедливого». *Альцест*—герой комедии Мольера «Мизантроп» (1666), непримиримый ко всякой лжи и притворству.

Неистовство Роланда.— Имеется в виду эпизод из поэмы итальянского поэта XVI в. Ариосто «Неистовый Роланд». Роланд впал в неистовство, узнав об измене своей возлюбленной.

Стр. 102. *Мадам Эврар* — персонаж комедии Колена д'Арлевиля «Старый холостяк» (1792), экономка, женившая на себе своего хозяина.

Стр. 104. *Фарсы Николе.*— Николе Жан-Батист — содержатель ярмарочного балагана, затем директор театра «Гэте» (XVIII в.). Он был известен тем, что постоянно обновлял и улучшал свои спектакли, повторяя: «Чем дальше, тем лучше».

Стр. 105. *Протей* — по греческой мифологии, морское божество, способное менять свой внешний облик. *Жокрис* и *Жано*— персонажи старинных французских фарсов, типы простаков. *Мондор* — комический фарсовый актер XVII века, владелец популярного балагана. *Гарпагон* — персонаж комедии Мольера «Скупой» (1668), нарицательное имя скупца. *Никодем*, очевидно, *Никомед* — герой одноименной трагедии Корнеля (1651), отличавшийся величавым спокойствием и доброжелательностью.

Стр. 107. *...уловки... достойные Скапена, Сганареля или Дорины...*— персонажи комедий Мольера; нарицательные имена хитрых, ловких людей.

Стр. 110. *Мафусаил.*— Согласно библейской легенде, патриарх Мафусаил прожил 969 лет.

Стр. 113. *Ленорман* — гадалка, пользовавшаяся большим влиянием на Жозефину Богарне, впоследствии жену Наполеона I.

Стр. 114. *Оккультные науки* — общее название лженаук о различных «таинственных силах» и «сверхъестественных свойствах» природы. К оккультизму относятся разные формы магии, гадания, спиритизм. Бальзак одно время увлекался оккультизмом.

Стр. 115. *Ришелье поместил в Бисетр Соломона де Ко...* — Бисетр — дом для умалишенных, куда по распоряжению кардинала Ришелье был помещен изобретатель Соломон де Ко (около 1576—1626).

Дагерр Луи-Жак (1789—1851) — французский художник-декоратор и изобретатель. Практически осуществил первый распространенный способ фотографирования — дагерротипию.

Стр. 117. *Сведенборг Эммануил* — реакционный шведский философ-мистик XVIII века.

...способность к дедукции, прославившая Кювье... — *Дедукция* — метод рассуждения, идущий от общих положений к частным выводам. *Кювье Жорж* (1769—1832) — известный французский ученый-естествоиспытатель, отстаивал метафизическую теорию о неизменности видов. На основании выведенного им общего «закона соотношения частей» организма животного Кювье по отдельным костям восстановил строение скелета ряда ископаемых существ.

Астрология — лженаука, якобы предсказывавшая судьбу человека по положению звезд. Была распространена в средние века.

Стр. 118. *Краниология* — отдел антропологии и зоологии, изучающий строение черепов людей и животных. *Физиогномика* — псевдонаука, доказывающая, что будто бы существует соответствие между чертами лица и определенными свойствами человеческого характера. *Неврология* — наука о нервной системе и ее болезнях.

Каббалистика — суеверное религиозно-мистическое учение, основанное на толковании Ветхого завета.

Стр. 119. *«...землепашец Мартэн, который поверг в трепет Людовика XVIII...»*.— Мартэн — шарлатан, шантажировавший Людовика XVIII своими «видениями» о появлении Людовика XVII. Имеется в виду ложная версия о том, что Людовик XVII не умер в тюрьме в 1795 году, а был из нее похищен.

Стр. 120. *Парка* — в древнеримской мифологии богиня человеческой судьбы (их было три).

Стр. 121. *Иметь или не иметь ренту, вот в чем вопрос, как сказал Шекспир.*— Бальзак иронически перефразирует начало известного монолога Гамлета «Быть или не быть» из трагедии Шекспира «Гамлет» (д. III, явл. I).

Стр. 123. *Ла Пальферин.*— См. рассказ Бальзака «Принц богемы».

Стр. 125. *...походил на второго прусского короля...*— то есть на Фридриха-Вильгельма I (1713—1740), известного своим солдафонством. Он не жалел денег для вербовки солдат высокого роста, которых его агенты разыскивали в различных государствах Европы.

Стр. 127. *Сражение при Маренго.*— 14 июня 1800 года при Маренго Наполеон наголову разбил австрийские войска, что решило исход борьбы Франции со второй коалицией. Здесь упоминается в смысле решающей битвы.

Стр. 146. *Гризайль* — живопись, выполненная оттенками одного цвета, чаще всего серого. Гризайль создает впечатление рельефности.

Стр. 155. *In anima vili* (лат.) — на низших существах.— Выражение восходит к средневековой медицине, когда анатомировать разрешалось только животных.

Стр. 156. *Консьержери* — старинная парижская тюрьма.

Стр. 160. *Леди Макбет* — честолюбивая, властная, жестокая

женщина, совершившая преступления для достижения престола, героиня трагедии Шекспира «Макбет».

Стр. 164. *...в конце месяца из него деньги за письма клещами не вытащишь.*— До введения во Франции почтовых марок (1849) плата за пересылку почтовых отправлений взималась с адресата при получении каждого письма или же в конце месяца.

Стр. 177. *Маркиз д'Эспар* — персонаж повести Бальзака «Дело об опеке».

Маркиз д'Эгриньон — персонаж романа Бальзака «Музей древностей».

Люсьен де Рюбампре — персонаж романа Бальзака «Блеск и нищета куртизанок».

Стр. 183. *Мондор.*— См. примеч. к стр. 105.

Божон — банкир и откупщик, живший в XVIII веке, старался приобрести репутацию благотворителя и мецената.

Тюркаре — герой одноименной комедии Лесажа (1709), нажил богатство плутнями и ростовщичеством.

Стр. 187. *«Будем друзьями, Цинна!»* — вошедшая в поговорку фраза из трагедии Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа» (1640).

Стр. 194. *Aurea mediocritas* — золотая середина *(лат.)*—принцип политики, провозглашенный королем Луи-Филиппом, отражал идеалы и стремления французской буржуазии.

Июльские ордонансы — реакционные законы 1830 года, введенные по приказу Карла X, послужили причиной начавшихся в июле 1830 года революционных событий.

Стр. 201. *...повестушек, приписываемых Людовику XI...*— Имеется в виду сборник новелл XV века «Сто новых новелл»; с бо́льшим основанием авторство сборника приписывается писателю XV века Антуану де Ла Саль.

Стр. 204. *Гуморальная система* — то есть система, связанная с жидкостями организма — кровью, лимфой.

Стр. 219. *Шарлатон* — искаженное название Шарантона — больницы для умалишенных.

Стр. 220. *Pieta* (итал.) — горе, страдание. Так называются скульптурные и живописные изображения богоматери, оплакивающей Христа. Наиболее известна Pietà Микеланджело.

Стр. 223. *Апокалипсис* — одна из книг христианского Нового завета, содержащая мистические «пророчества», рисующая страшные бедствия, якобы предстоящие миру.

Стр. 228. *...так в свое время старалась, вероятно, обворожить Жака Клемана герцогиня де Монпансье...*— Герцогиня де Монпансье представилась влюбленной в монаха-доминиканца Клемана, чтобы уговорить его совершить убийство французского короля Генриха III (XVI в.).

Стр. 230. *Ремизы.*— Здесь — кустарники. перелески.

Стр. 232. *Г-жа де Морсоф* — персонаж романа Бальзака «Лилия долины».

Стр. 233. *Катон.*— Здесь имеется в виду Катон Марк Порций Старший (234—149 гг. до н. э.) — римский государственный деятель, известен скромным образом жизни.

Стр. 268. *Иеремия* — библейский пророк, ему приписываются «Плачи о разрушении Иерусалима».

Стр. 274. *Гревская площадь* — площадь в Париже, которая с XIV века до Июльской революции 1830 года служила местом публичных казней.

Стр. 276. *Клиши* — парижская долговая тюрьма во времена Бальзака.

Стр. 294. *Сарданапал* (IX в. до н. э.) — последний царь Ассирии, славился богатством и роскошью.

Стр. 295. *Робер Макэр* — действующее лицо мелодрамы «Адретская гостиница» (1823) Антье, Сент-Амана и Полианта. Робер Макэр стал нарицательным именем для обозначения авантюриста и проходимца.

...подобно стакану воды Боссюэ... — Боссюэ Жак-Бенинь (1627—1704) — французский епископ, автор ряда сочинений на богословские темы. Здесь имеется в виду место из «Надгробного слова принцу Конде», в котором Боссюэ говорит, что стакан воды, поданный бедному, ценнее, чем победы завоевателей.

Стр. 303. *...предыдущая повесть — ее родная сестра...* — то есть «Кузина Бетта», объединенная с «Кузеном Понсом» одним общим заглавием «Бедные родственники».

КОМЕДИАНТЫ НЕВЕДОМО ДЛЯ СЕБЯ

Повесть «Комедианты неведомо для себя» впервые печаталась в газете «Курье франсе» с 14 по 24 апреля 1846 года; она была тогда разделена на 29 небольших глав. В том же году Бальзак поместил это произведение в двенадцатом томе первого издания «Человеческой комедии» (в «Сценах парижской жизни»).

Бальзак частично включил в повесть три очерка, опубликованные им в 1845 году: «Парижский сыщик папаша Фроманто, правая рука пристава коммерческого суда», «Лютер шляпочников» и «Торговка подержанным платьем, или Госпожа Ресурс в 1844 году».

Эта повесть принадлежит к числу произведений, написанных Бальзаком в последние годы творчества; в ней изображена жизнь Парижа в 1845 году.

Предлагая вниманию читателя своеобразную хронику парижской жизни, писатель подчеркивает процесс интенсивного проникновения буржуазии во все области политической и культурной жизни Франции, процесс все большего подчинения политики, литературы и искусства интересам и влиянию буржуа.

Зло высмеивая пошлость и ограниченность представителей буржуазии, смехотворность и нелепость их притязаний на значительность, обличая продажность и беспринципность, свойственные в собственническом обществе всем, начиная от сыщика и кончая министром, Бальзак широко пользуется в этом произведении средствами иронии, сатиры и гротеска.

В повести «Комедианты неведомо для себя», как в рассказах «Пьер Грассу» и «Принц богемы», действие которых также относится к периоду Июльской монархии, Бальзак отмечает усиление реакционных и охранительных тенденций буржуазии. Не случайно действующие в них буржуа — Пьер Грассу, дю Брюэль и Ма-

риус — являются офицерами национальной гвардии и награждены орденами Почетного легиона за участие в подавлении восстаний республиканцев против монархии Луи-Филиппа.

Стр. 311. *...трестальоны моего префекта.*— Трестальон — глава бандитской шайки, действовавшей на юге Франции в 1815 году.

Стр. 318. *Видок* (1775—1858) — уголовный преступник, поздиее ставший полицейским сыщиком во Франции.

Стр. 323. *Жаккар* Жозеф-Мари (1752—1834)—французский ткач и механик, внесший усовершенствование в ткацкий станок.

Стр. 331. *Дорина* — веселая и ловкая субретка, действующее лицо комедии Мольера «Тартюф».

...князь Изенбургский, Конде Республики...—Конде Луи (1621—1686) — известный французский полководец.

Стр. 332. *...получит... премию имени Монтиона.*— См. примеч. к стр. 57.

Стр. 339. *Гюбетта* — персонаж драмы В. Гюго «Лукреция Борджа», соучастник всех интриг и преступлений Лукреции Борджа.

Стр. 341. *...в 1832 году первым ринулся на баррикаду* — то есть принял участие в разгроме республиканского восстания в Париже в июне 1832 года.

Стр. 343. *Рубини Джованни Баттиста* (1795—1854)—итальянский певец, тенор.

Стр. 345. *Гумбольдт*, Александр (1769—1859) — немецкий ученый-натуралист и путешественник.

Стр. 347. *Шамфор* — псевдоним французского писателя Никола-Себастьяна Рока (1741 — 1794), который приобрел известность главным образом своей книгой «Мысли, максимы и анекдоты», изданной посмертно (1803).

Стр. 348. *Фурье* Шарль (1772—1837) — французский социалист-утопист, утверждал, что человечество должно прийти к всеобщей гармонии в результате мирной пропаганды идей социального равенства.

Стр. 350. *Соломон де Ко.*— См. примеч. к стр. 115.

Стр. 353. *Савилла* — у древних греков и римлян прорицательница.

Стр. 356. *Эгерия* — нимфа-прорицательница, с которой, по преданию, советовался римский царь Нума Помпилий.

Стр. 371. *Бенвенуто Челлини* (1500—1571) — итальянский скульптор и ювелир.

СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

ЭТЮДЫ О НРАВАХ

Сцены парижской жизни

Бедные родственники

Кузен Понс. *Перевод И. С. Татариновой* 5
Комедианты неведомо для себя. *Перевод А. С. Кулишер* 307

Примечания 373

БАЛЬЗАК.
Собрание сочинений
в 24 томах. Том XIV.

Редактор тома
И. А. Лилеева.

Оформление художника
А. А. Васина.

Технический редактор
А. Ефимова.

Подп. к печ. 1/VII 1960 г.
Тираж 350 000 экз. Изд. № 1168.
Заказ 1306. Форм. бум. 84×108¹/₃₂.
Бум. л. 6. Печ. л. 19,68. Уч.-изд. л. 21,04.

Ордена Ленина типография
газеты «Правда» имени И. В. Сталина,
Москва, улица «Правды», 24.